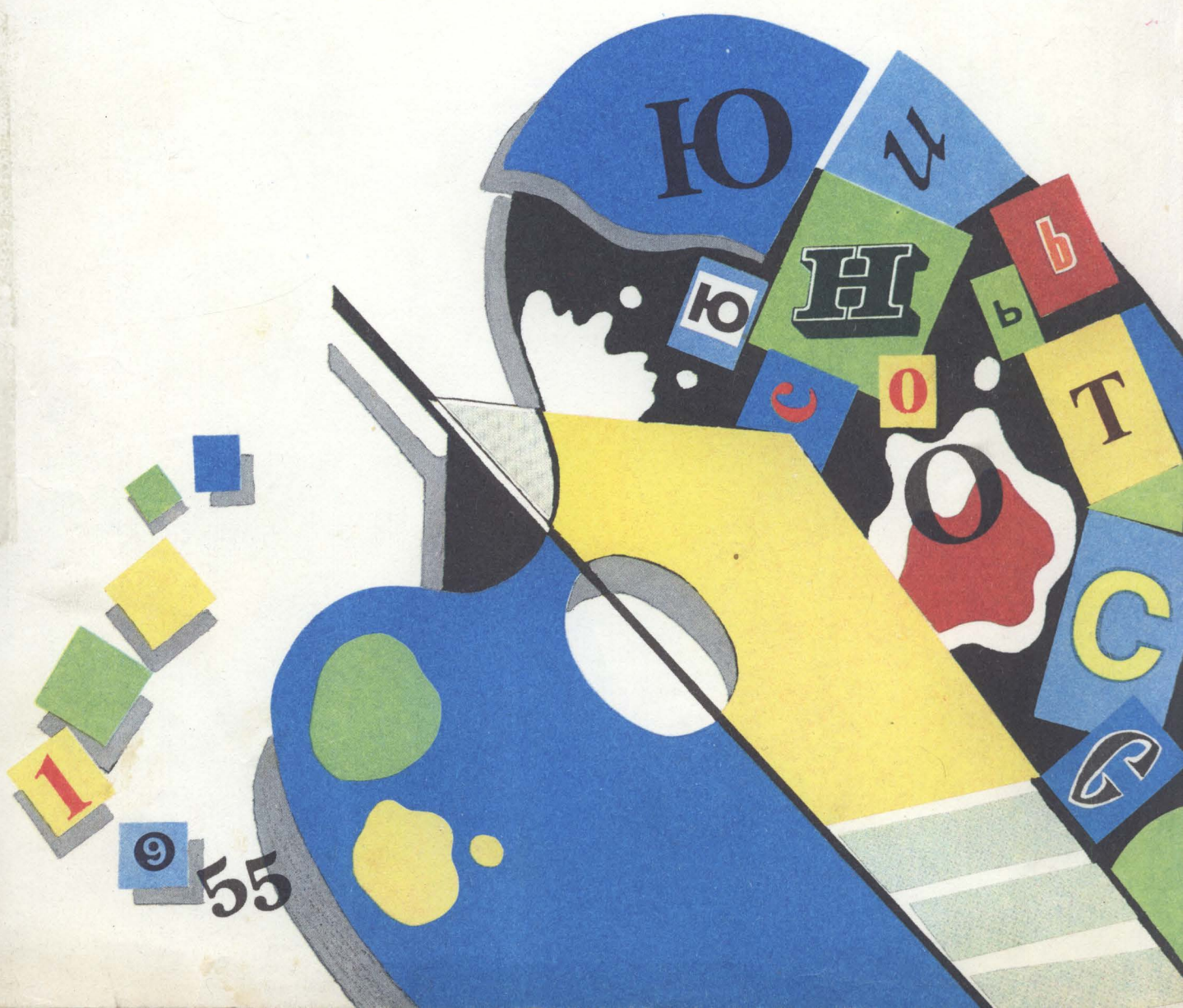


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

6 '90



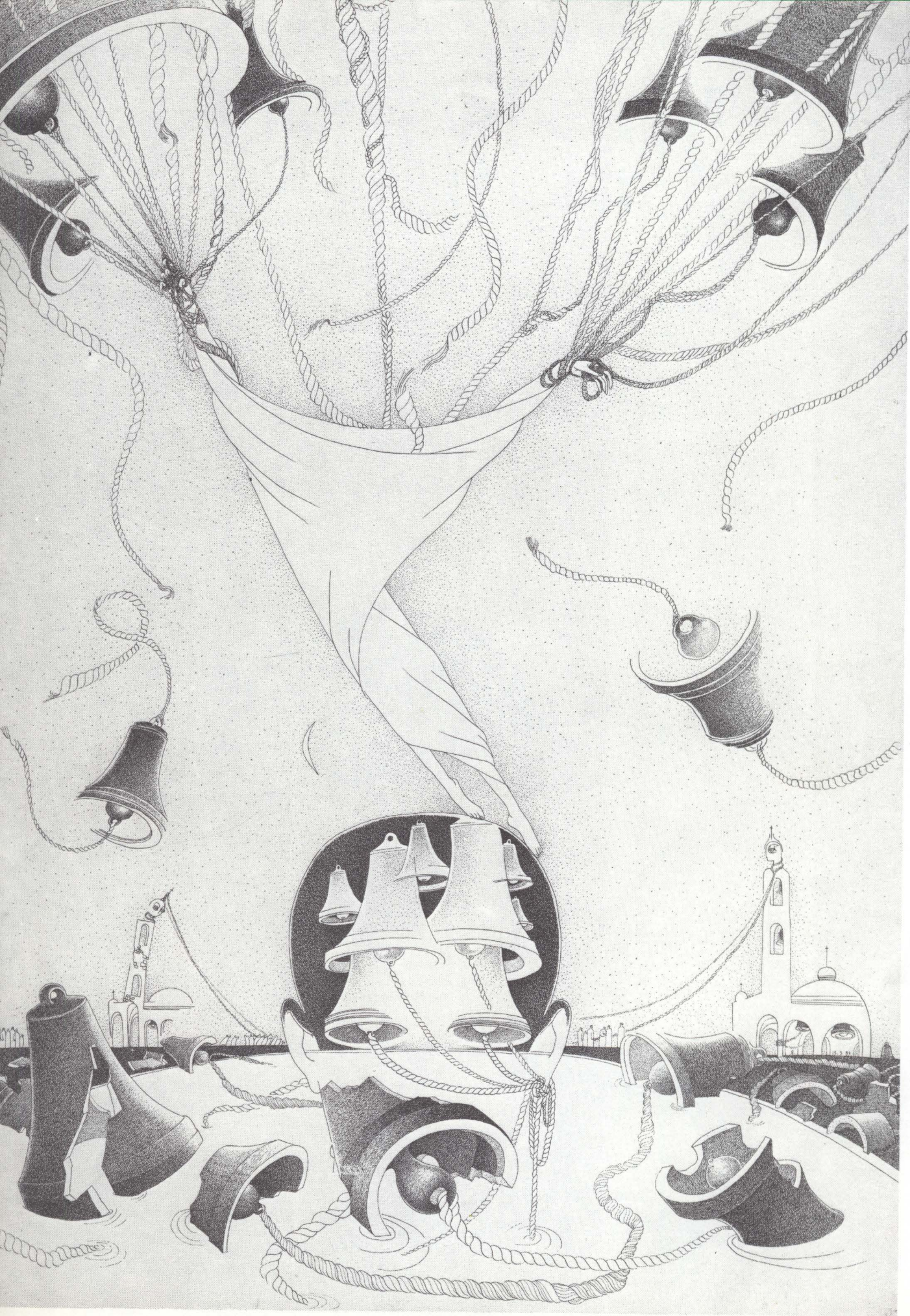


Рисунок Любви ЯМСКОЙ.

ЮНОСТЬ

6 (421)

'90



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

У НАС ДВА ВОПРОСА

В этом номере журнала, четыреста двадцать первом со дня его основания — а с того дня минуло ровно 35 лет, — мы проводим небольшую анкету, которая сводится к двум вопросам:

1. Что для Вас последние пять лет жизни?

2. Как Вы видите нашу страну в двухтысячном году?

Отвечают на эти вопросы и авторы «Юности», имена которых неотделимы от истории журнала и его сегодняшнего дня, и представители многообразных общественных формирований и социальных групп, решительно утверждающихся в нашей действительности, а также те, кто уже снискал признание своим талантом и профессиональным мастерством, гражданственностью и духовностью.

Мы надеемся, читатель, что наша анкета найдет у тебя отклик, что ты тоже захочешь ответить на эти вопросы и ответы твои «Юность» непременно опубликует. История нашей Родины сегодня творится заново, и от каждого из нас зависит, будем ли мы жить наконец в свободной, процветающей стране или будем прокляты потомками.

Леонид БОРОДИН,

1. Прошедшие пять лет не видятся мне одним числом, но распадаются на два. Два года в тюрьме и три на свободе. И такой биографический факт едва ли нуждается в комментариях.

О двух первых годах прошедшего пятилетия говорить не стоит, и потому остаются последние три. И они, как момент пережитого, для меня далеко не однозначны.

С одной стороны, публикации уже состоявшиеся и предстоящие, поездки за границу, литературные премии, внешняя и подчас конъюнктурная известность, — как говорится, грех жаловаться. Ведь всего лишь три года назад я был «особо опасным государственным преступником», с тремя судимостями, и выходящих со свидания мою жену и дочь обыскивали так, как будто они могли быть причастны к преступлению века.

Но перевернулся мир, и судьба исполнила невообразимый кулбит.

Однако прошедшие три года — это не только годы удачи. Это и годы обидных ошибок и разочарований. Ошибочной оказалась моя оценка происходящих в стране событий, и не является смягчающим обстоятельством тот факт, что давалась она еще там, за каменными стенами.

Виделся процесс исцеления, а то, что нынче происходит вокруг, скорее похоже на агонию, и не режима, как это хочется кому-то понимать, но самой российской государственности, и личный успех смотрится на этом фоне черным юмором судьбы.

2. Будущее? Каким я хотел бы его видеть — это одно. Каким оно мне видится — здесь может быть совершенно иное. И величайший соблазн — совместить желаемое с возможным. А возможно многое, как говорят социологи, — дискретный набор альтернатив, чем, собственно, и характеризуется историческое явление, именуемое «смутным временем». Допускаю, что мы пребываем в самом начале такого периода, и тогда только национальным гениям, каковым был в годы смуты начала XVII века мужественный и неукротимый патриарх Гермоген, доступно предвидение будущего. Ведь история, в сущности, есть актуализация желаний, и если я, если многие, если большинство хотят, чтобы Россия была, — она будет, и лишь перед одним вопросом должен содрогнуться каждый, кто вступает на стезю гражданской активности: «Во что это нам может обойтись?!»

Сергей СТАНКЕВИЧ,

народный депутат СССР, зампред Моссовета

1. Для меня лично эти пять лет стали этапом постепенного освобождения от догм. Я человек, профессионально занимающийся историей, политологией, и имею возможность сравнивать ход событий у нас в стране и за рубежом. Поэтому для меня и пять лет назад был очевиден кризис. Но сейчас понимание некоторых базовых понятий изменилось. Например, что такое социализм? Каковы составляющие этого понятия? Насколько он реален? Каковы пути его достижения? Мне было трудно ответить себе на эти вопросы. И понадобилось время на размышления, чтобы не шарахаться из стороны в сторону по принципу «я сжег все, чему поклонялся, и поклонился всему, что сжигал». Теперь я глубоко убежден, что социализм — это не строй, это тенденция развития общества, в основе которого лежат принципы самоуправления.

2. 2000-й год — это не так далеко. Поэтому видеть нашу страну процветающей, полностью свободной от наследия прошлого я бы не рискнул. Но думаю, что к 2000-му году у нас будет достаточно эффективная работоспособная экономика, в которой на равных будут состязаться все формы собственности. Будет развита парламентская демократия, мы избавимся от политики непримиримости, которая захлестывает нас сейчас. Мы выработаем и утвердим в нашей политической жизни такие ценности, как взаимоуважение между социальными группами и личностью; милосердие; умение накапливать и хранить традиции, тщательно оберегать их от нигилистического отрицания и в то же время сочетать их с открытостью для новых идей, со способностью воспринимать сколько-нибудь серьезные достижения мировой цивилизации.

Ну и, конечно, я вижу к 2000-му году новые возможности для Российской республики, которая обретет и экономический, и политический, и культурный статус, достойный ее исторического величия. Я приверженец идеи московского возрождения. Считаю, что Москва, Ленинград, несколько других крупных городов, но прежде всего все-таки Москва, могут стать своеобразной моделью для новой России. Здесь сконцентрирован гигантский интеллектуальный потенциал. Нужно организовать работу этих людей, не находивших себе применение раньше, и это может дать реальные перемены в жизни и этих городов, и всей России.

Себя лично я вижу профессиональным политиком, который действует и в представительных политических учреждениях, а может, и в исполнительных органах власти. Политиком, выступающим организатором общественно-политических движений, которые способствуют тому, чтобы развитие России, развитие Союза республик прошло — что очень важно! — при условии приоритета культуры над экономикой, над политикой, над идеологией.

Елена ЯКОВЛЕВА,

актриса театра «Современник»

1. Наше славное пятилетие — время моей театральной и кинематографической карьеры. Вот и два приза — Токийского и Тверского кинофестивалей — за «Интердевочку». Порок надо показывать, но делать это следует на «хорошо» и «отлично». Я рада, если мне удалось это. Вот только жаль, что еще десять моих киноролей, начиная от «Плюмбума», замечены меньше. Моя ли вина? Примета ли времени?

Мы, конечно, по-прежнему несвободны. И не только потому, что нельзя быть свободным до конца, но и потому, что свобода невозможна без элементарных условий существования. Меня, как и всех, унижает борьба с отсутствием продуктов, распределительная система, когда на женскую часть коллектива выделяют через театр сапоги. Можно, конечно, плюнуть и не обращать внимания, но это будет свобода без сапог.

Ужасно, когда и зритель, и артист в равной мере не свободны от подобных забот. Когда в зрительском буфете (не в нашем театре) продают копченую колбасу навынос, и с этой колбасой, торчащей из пакетов, публика идет в зал. А потом — всем ехать в свое Орехово-Борисово и в шесть утра уже вставать. Я, может быть, слишком приземленные вещи говорю; но на самом деле это и вопрос

творческой свободы на сцене, душевного состояния актера. «Мне тяжело». — «И мне тяжело». — «И тебе? Тогда мне легче!» Такие мы.

Так что, наверное, мы продолжаем жить лишь предощущением свободы. Но и — предощущением новой трагедии. И это затянувшееся двоичное состояние особенно мучительно. Об этом и наша премьера — «Мурлин Мурло» Николая Коляды в постановке Галины Борисовны Волчек. Приходите! Может быть, наша игра будет более удачным ответом на первый вопрос.

Сейчас кризис надежд. Такого чувства, как бывало года два назад, когда открывали запретные вещи в журналах, уже нет: то же самое покупаешь в красном переплете или видишь в пяти постановках. И ни во что эта энергия открытий не выливается, все провисло...

В апреле в доме напротив — окна в окна — сгорела молодая женщина. Я звонила по 01 — в пять утра. Но улица была так перекопана — как всегда у нас, — что пожарная машина потеряла минут восемь. Пожарный, уже поднявшись по лестнице на нужную высоту, вдруг от напора воды уронил шланг — и все сначала... С того дня я много раз мысленно эвакуировалась со своего третьего этажа: вот я бросаю вниз мягкие вещи и прыгаю на них в обнимку с собакой. И все думала, не разорвется ли у собаки сердце в полете? Ведь она единственное живое существо, которое **полностью** зависит от меня. Умрет — ничего не скажет. Я думаю: если бы те, от кого мы зависим, видели в нас не только зависимых и безгласных, но и **живых**, может, все было бы иначе?

2. Надежда — свободная Россия, и я — свободная — в ней. Обе свободны прежде всего в том «низком» смысле, о котором я все время говорю. Например. Есть надежда, что к 2000-му году мне будет где жить по-человечески. Президент обещал! Только бы враждебные элементы ему не помешали.

Если же говорить о высоком... Я всю жизнь мечтала стать актрисой. Казалось бы, стала. Теперь мечтаю о том, чтобы продолжать **быть** ею.

Сергей БАРАНОВ,

студент МГУ, народный депутат Моссовета

1. Сегодня я депутат. Я считаю, что молодой человек европейского склада должен повариться в политическом котле, иначе это не будет полноценный человек. Собственно, это античная традиция — времени рождения европейцев. И в Древней Индии было традицией: человек занимался философией, уже сделав что-то в гражданской жизни.

Для философа — а я считаю себя философом и по призванию, и по темпераменту, и по жизненному пути, что бы ни случилось, — важно внутреннее раскрепощение, но оно связано с внешним. Можно сесть на трое суток за участие в манифестации или назваться членом какой-либо политической организации: это помогает. Включение в подобную деятельность я называю социализацией, и это главное, что дали мне последние пять лет. Здесь человек узнает цену двух вещей: политической конъюнктуры и общения с вечностью. И — теряет одномерность. Социализация — это обретение полноты, ощущение того, что ни к одной из сторон ты не свелся. Но если знать, что в любой момент тебя могут к любой из сторон против воли свести, — значит быть вечно трясушимся существом. Я полагаю, что у меня нет будущего как у политика; но я хочу иметь **возможность** заниматься всем, и политикой в том числе.

Что же еще? Так случилось, что с детства я был приучен к марксистско-ленинской догматике и пытался в ней работать. Ценность пятилетия — и в том, что догма разрушилась, и в том, что сохранилось ядро. Сохранилась преемственность ценностей, я не бросился с головой в другую догму, оставшись и по роду общественной деятельности, и по роду мыслей, научных занятий марксистом. Ядро, о котором я говорю, — вера (как ни странно звучит это слово из уст человека, считающего себя марксистом) в человека деятельного, в его способность найти свою дорогу среди навязываемых извне отношений и догм. Вера в то, что творческое начало в человеке первично или должно быть первично. В то, что интернациональное, если угодно, космополитическое родство людей — изначальная данность, что бы ни говорили.

Я оставляю за собой право самых невероятных превращений в будущем, но это же право позволяет мне быть тем, что я есть сегодня.

2. Все зависит от того, будет ли это Россия на грани постиндустриального общества или Россия, уже вошедшая в него. Если второе (основная масса населения в таком обществе занята в сфере производства информации), то это будет Россия, демократическая по определению. Россия со справедливыми социальными отношениями и высоким уровнем защищенности человека — не ниже, чем на Западе, Россия со своим лицом — не слабая копия Запада, но страна, сохраняющая в новой своей культуре специфические традиции духовности. Россия социалистическая, с человеком, имеющим будущее. Можно назвать все это моей мечтой.

Возможно и другая Россия — с остатками русской культуры, внешне, по технической атрибутике, похожая на Запад, но стоящая гораздо ниже его по существу. Россия с гигантскими социальными контрастами. Россия в экологическом кризисе.

Невозможно лишь, чтобы Россия вновь стала тоталитарным государством. Она останется, даже находясь на низкой ступени развития, в русле западной цивилизации.

Себя мне хотелось бы видеть человеком, не только вырабатывающим идеалы для общего употребления, но и живущим по ним. Поскольку же реальность оставляет для осуществления моих идеалов мало места, моя жизнь так или иначе будет связана с политическими силами левосоциалистического спектра. Но не с теми, кто повторяет уроки большевистской демагогии, а с теми, которых в Европе принято называть новыми левыми.

Василий ХУДАН,

секретарь парткома завода «Омега», г. Уральск

1. Работая эти пять лет в партийных органах, я убедился в потере нашим обществом самого, на мой взгляд, сокровенного — уважения к человеку, любви друг к другу. Именно перестройка дала мне это прозрение (могла и не дать!), и это очень важно. Благодаря ей, анализируя свою жизнь сегодня, — почему, скажем, я был пионером, комсомольским вожаком заводской молодежи, затем коммунистом, — я убедился в мудрости народной пословицы: «Что посеешь, то и пожнешь!» Правда, селили одни, пожинали досталось нам... Никакой особенной свободы — ни внешней, ни внутренней — я пока не чувствую. Для меня эти пять лет — годы разочарований, развенчания лжеидеалов, утвержденных десятилетиями.

С позиции рабочего и с позиции коммуниста скажу: людям многого не нужно. Им нужна правда. Но сегодня столько «правд», что невозможно понять — так где же она на самом деле?! От такого обилия «правд» у всех голова кругом пошла. Ведь в результате получается — кругом неправда. Люди, особенно рабочие, потеряли веру в будущее, я уже не говорю о вере в партию.

2. Моя бабушка расписывалась «крестиком». Я запомнил ее пророчество насчет 2000-го года: наступит страшный суд, и всех грешников ожидает ад, а людей честных, справедливых — рай. К сожалению, мы — партийные работники — сегодня увлеклись экономикой, борьбой за возвращение престижа, забыв о Человеке. Поэтому в 2000-м году я вижу себя коммунистом в самом полном смысле этого слова и звания. Уверен, наша партия придет в себя после шока, справедливо нанесенного народом, очистится от грязи — мародеров и чинуш. Лично я сделаю все от меня зависящее, чтобы она стала партией действительно трудящихся, а не аппаратных работников.

Андрей ИСАЕВ,

Конфедерация анархо-синдикалистов

1. Если бы пять лет назад мне кто-нибудь сказал, что я буду состоять в организации со столь страшным названием, я отошел бы от того человека в сторону. Именно из-за названия, потому что к идее я уже присматривался.

Ненормальность отношений, в которых мы существуем, я ощущал со школы. В одном со мной классе учился Миша

Иванов, племянник Владимира Константиновича Буковского, так что разъяснительная работа проводилась. Книга «Меняется ветер» произвела сильное впечатление, и я благодарен Буковскому за важную науку: он убедил меня, что оппонент может быть порядочным человеком, а не обязательно — по-совдеповски — козел.

После армии — сего Эдема — я вступил в московский подпольный кружок «Оргкомитет всесоюзной революционной марксистской партии». С печатным органом «Буревестник» в одном экземпляре. В честь Буревестника революции. А надо знать, что еще в армии я завел нечто подобное. Написали правила конспирации, их, согласно правилам же, надо было спрятать, спрятали в клетку самой агрессивной овчарки в части, сержант нашел: «Что это за ерунда?» — и вернул мне. Вышло глупо и смешно. Вот и в Москве: ходили одну остановку пешком, от «хвоста»; не знали настоящих имен друг друга... И тут — январский 87-го года пленум, доклад Горбачева. Первое ощущение — проспали революцию. Решено было заняться действительной политической деятельностью, отказавшись от двойной жизни подпольщиков.

Тут оказалось, что, и будучи анархистом, я продолжал мыслить по-марксистски — с точки зрения целесообразности и экономической необходимости. Сейчас мне важнее мое ощущение правоты и человечности, понимание того, что нецелесообразно может быть человечным.

Момент внутреннего раскрепощения пришел, когда мы приняли нынешнее название, после долгих поисков более объективного. Наше название вовсе не добрая провокация, просто оно точно отражает суть наших взглядов. Это был момент преодоления в себе привычки двойного стандарта. До конца свободным лично себя не чувствую, но ощущаю, как идет процесс освобождения.

И как параллельно идет мировоззренческая эволюция. Я, например, считал себя атеистом, а сейчас считаю агностиком. То есть человек не может рационально ответить на вопрос, есть ли Бог. И это нормально — сомневаться. Иначе убеждения переходят в маниакально-депрессивный синдром.

2. 2000-й год вижу так. Империя развалена. Республики и целые регионы независимы от центра. Полупартийная система, когда одна партия — видимо, подобие румынского фронта спасения — у власти, а полсотни мелких гавкают на нее. Кто не смог добиться независимости, имеет у себя сильные антисепаратистские режимы. «Количество» демократии вырастает по мере приближения к Москве. Сильный бюрократизм в экономике. Силен и иностранный капитал, бюрократия им в значительной степени куплена. Полуколония. Экологическая свалка. Шансы нашего идеала — преобладание коллективной собственности над частной — невелики.

Мы в 2000-м году будем частью независимого профсоюзного движения, влиятельной в отдельных регионах, но не располагающей силой составить реальную оппозицию. И однако, среди анархистов мира мы будем в привилегированном положении, уступая по численности лишь испанским. Будем поддерживать самиздат, например, маленький, из-под полы изданий бюллетень компартии «Правда», потому что мы против запретов и на стороне преследуемых. Будут развиты толстовские коммуны, у нас будут маленькие театры, магазины, идеал коллективной собственности олицетворяют три-четыре анархистские прачечные.

Для себя я желаю бы самого простого — быть живым, здоровым, оставаясь на свободе, не утрачивать чувство юмора. Участвовать в «Общине» — уважаемом журнале, таком, чтоб все говорили: «Это, конечно, анархисты, но все же...» — и покупали. «Юность» с ним сольется или войдет в союз. Во всяком случае, не уйдет из наших железных лап!

Булат ОКУДЖАВА

1. До 1985 года я тихо умирал. Не было никаких надежд на перемены. А за эти 5 лет я ожил, у меня появились надежды. Я понял, что это последний шанс не только для нашей страны, но и для меня тоже.

2. Мне очень трудно быть пророком и предсказателем, но очень бы хотелось, чтобы наша страна после всего

кошмара, который с ней произошел, хотя бы немного приблизилась к человеческому идеалу.

Лариса ПИЯШЕВА,

кандидат экономических наук

1. Конечно, есть, наверное, группа людей, у которых наступает раскрепощение личности, когда они получают на это разрешение. Разрешили, например, гласность, и люди начали свободно говорить. Это не свобода изначально, а именно раскрепощение.

Что касается меня лично, то, как мне кажется, я никогда не была закрепощена. В 70-е годы, когда я занялась наукой, по убеждениям была социал-демократкой. Тогда я полностью отвергла для себя марксизм и в коммунистическую партию вступать не собиралась. И моя эволюция произошла в совершенно другой плоскости. Я отказалась от «присутствия» в социал-демократической «партии» и стала убежденным либералом. То есть для меня это была какая-то духовная эволюция на пути постоянного отрицания каждого отдельного элемента марксистской идеологии и социализма. Поэтому с началом перестройки мне очень легко было включиться в этот процесс и выступать с критикой социал-реформизма и смешанного «третьего пути», по которому сейчас идет наше общество, с некоторым пониманием того, что этот путь ведет в никуда. И новым в перестройке для меня было только то, что я получила возможность открыто говорить как публицист о том, о чем я раньше писала как ученый.

2. Все зависит от того, какой выбор будет сделан в этом году. Если выберем, так сказать, социал-демократию, то есть пойдем по третьему пути, то, мне кажется, ни к чему, кроме глубочайшего кризиса и полного развала, мы не приходим. И до 2000-го года нам бы дожить, не перестреляв друг друга, не разорвавшись в противоречиях и в разногласиях между совершенно различными силами.

А поскольку для той группы людей, которые в таком случае придут к власти, мои либеральные убеждения будут, как красная тряпка для быка, то скорее всего я окажусь в роли диссидента, как были диссидентами наши социал-демократы для КПСС.

Но я предполагаю эволюцию взглядов общества. Я сейчас выступаю довольно активно с концепцией перехода к либеральной модели — экономической и соответственно политической, и хотя отовсюду мне говорят, что общество наше не готово к этому, есть пример послевоенной Германии. Тогда тоже всем казалось, что страна, прошедшая через тоталитаризм, не сможет быстро восстановиться. Моя программа состоит в том, чтобы через «экономическое чудо», через переход на рельсы рыночного либерализма очень быстро достичь качественно эффекта. У нас есть возможность в течение, скажем, двух-трех лет полностью отказаться от марксистско-ленинского догматизма, от идеологии вообще и пойти по пути социально-рыночного хозяйства. Экономический бросок через всякое стимулирование и поощрение бизнеса, через развитие предпринимательства, причем, что бедные, неимущие должны быть социально защищены так же, как и безработные, а их будет довольно много при этой системе. Тогда представляется возможным, что к 2000-му году мы уже осуществим нашу большую структурную перестройку, и хотя жизнь наша будет и не такая сытная и благоустроенная, как в Европе или Японии, но мы впишемся в мировой хозяйственный процесс.

Алексей КАЗАННИК,

народный депутат СССР

1. Последние годы мы готовились к тому, чтобы приступить к созданию гражданского общества, и результатами я разочарован: гора родила мышь. Я имею в виду Закон о собственности и Основы законодательства о земле, которые принял Верховный Совет СССР. Дело в том, что здесь не закреплено право частной собственности, а многовековой опыт нашей цивилизации показывает, что только частная собственность — гарантия всех прав и свобод личности.

Но тем не менее я в какой-то степени удовлетворен результатами демократизации общества. Я работник высшей школы, и когда раньше читал лекции на юридическом факультете Омского госуниверситета, то, по существу, не было ни одной недели, чтобы не присылали какую-нибудь «авторитетную» комиссию для выяснения, почему это ты высказал такую мысль, почему употребил то или иное понятие, или употребил его в другом контексте... А вот уже четыре года меня никто не беспокоит.

2. В 2000-м году наша страна будет демократической, у нас будет цивилизованное общество. Почему я так уверен в этом? Если не произойдут решительные преобразования сверху, то не исключена возможность румынского варианта. Я за то, чтобы у нас не погиб ни один человек, но народ уже больше терпеть не может. Так что в любом случае наша страна должна превратиться в демократическую.

Как я себя вижу в этом процессе? Знаете, я раньше любил заниматься наукой, подготовкой студентов. Для меня чтение лекций всегда было праздником. Теперь же меня больше привлекает занятие политикой. Я думаю, что у нас в ближайшее время установится многопартийная система и будет возможность проявить себя в той или иной партии. Я, допустим, сразу же вступлю в партию «зеленых». У нас в стране в целом, и особенно в отдельных регионах, экологическая ситуация обострилась настолько, что, думаю, — я не преувеличиваю — мы могли бы реально бороться и с коммунистической и с любой другой парламентской партией за большинство в Верховном Совете СССР. А если будут демократические, прямые народные выборы президента, то я не исключаю возможности выставить и свою кандидатуру на этот пост. Нам надо всем «позеленеть», иначе все погибнет. Такой партии принадлежало бы большое будущее, я в этом нисколько не сомневаюсь. Мы свою природу привели на грань краха. А в случае победы «зеленых» в парламенте мы могли бы гарантировать людям зеленые поля, леса, богатые дичью, чистую воду и свежий воздух. А что прежде всего нужно человеку?

Василий МАРЧЕНКО,

тульский фермер, член Совета Ассоциации
крестьянских хозяйств
и с/х кооперативов России

1. Я не менялся, какой был, такой и есть. Всегда видел, что рабочего человека, особенно крестьянина, прижимают и что вся система построена на том, чтобы его к ногтю, а тем, кто наверху, над ним, — денег и побрякушек побольше. Я и раньше знал, что кулак никакой не преступник, для меня в этом не было никакого открытия, потому что родился я на Западной Украине и видел, что такое крестьянин без колхоза: это настоящий хозяин. Вот и я, став фермером, чувствую себя хозяином. Живу естественной жизнью, меньше стал читать, правда, но опыт дает больше, чем книжки. Если имеется в виду отношение к партии, то и оно не менялось. Я в партию никогда и не собирался вступать: она — корень нашей несправедливой системы. Церковь уважаю и уважал, очень рад, что с перестройкой началось ее восстановление. Религия дает народу духовную основу. Куда лучше в церковь ходить, чем скучать в сельском клубе, где пустота и грязь. На пасху бываю в церкви каждый год, как последние пять лет, так и раньше. Так что мне меняться нечего, я только благодарен Горбачеву за то, что он дал людям возможность раскрыться и осуществить самые заветные мечты. Я всегда жил в деревне и всегда мечтал иметь собственную землю и каждый день работать на ней. Раскрепощение, конечно, лишь началось.

2. Я не астролог, хотя астрологов уважаю. Знаю одно. Возврата к старой системе уже не будет. Если снимут Горбачева, начнется просто гражданская война. Если ему удастся довести дело до конца, то, думаю, коммунизма по всей стране, конечно, не будет, но у каждого будет свой коммунизм. На моей ферме коммунизм, другого коммунизма мне не надо. Будет федерация свободных республик, наподобие Соединенных Штатов: один президент, все управление в каждом штате свое. К 2000-му году, я считаю, потребность в колхозах и совхозах отомрет, будет частная

собственность, а я к тому времени буду уже на пенсии, правда, никакой государственной пенсии задаром не возьму. Мне с моей фермы хватит до самой смерти, если, конечно, все наладится. А нет, так пойду в кустари. Будут все работать — и Россия возродится. Хватит трепаться, надо просто работать. В крестьянине то здоровое начало, что он мало интересуется политическими интригами, он работает, главное, чтобы его не трогали. Если все будут по-настоящему знать свое дело и по-настоящему делать его, и Россия, и все государство, и я к 2000-му году — да что там, раньше! — будем процветать. Нужна только хорошая голова, вроде Горбачева. Он, правда, во многом ошибается, но его винить нельзя. Пока ему сильно мешает мафия. Если тело государства больно, воспалено, надо лечить тело, а не рубить голову.

Валерия НАРБИКОВА

1. Пять лет для истории очень небольшой срок, а для человека тоже срок не такой большой, но для всех людей вместе этот срок оказался большим, потому что все изменилось, иногда это даже смешно, но в то же время и не смешно. Смешно то, что вместо Храма — по-прежнему бассейн, но как можно за пять лет спустить воду и построить Храм, и смешно, когда нельзя вычислить то, что исчезнет из жизни завтра: молоко или мыло, сахар или вода. Это одновременно и не смешно. Что-то происходит с человеческой энергией, энергия есть, она бушует, как страсть, и при такой общечеловеческой энергии уже давно можно все озеленить, посадить, вычистить, привезти и съест, но почему-то так мало того, что можно съест, и так много того, что можно выбросить, а правда, почему? Все-таки недосказанность хороша в тексте, а не в жизни. Плохо, когда текст кончается моралью, которую вполне можно вывести из текста. Прекрасно, когда текст можно прочитать и так, и так, и чем шире его прочтение, тем текст глубже, а чем уже, тем мельче, но если закон может быть прочитан и так, и так, то можно утонуть от такого закона. Вот это совсем не смешно. Все-таки что-то не так, если за пять лет все дорожает и ничего не дешевеет, и законы отстают от экономики, а экономика от человека. Не надо быть большим политиком, чтобы из окна, с восьмого этажа, с птичьего полета, в дождь, при отсутствии видимости вполне разглядеть, что тот, кто обязан за что-то отвечать, не имеет власти, а тот, кто имеет власть, уже не обязан. И модель страны — это даже не поединок сомневающегося Гамлета и бескорыстного Дон-Кихота, а нечто невообразимое: бескорыстный Гамлет и сомневающийся Дон-Кихот. Нет ничего ужасней диктатуры, и нет ничего прекраснее свободы. Посмотрев Съезд, у телевизора распадается семья, в новых политических партиях находят друг друга женихи и невесты. Страсть охватила всех, как политика, и политика охватила всех, как страсть. Хорошо, что в Англии есть консерваторы, потому что им есть что сохранять, но когда наши консерваторы берут в новую жизнь хорошо разложившуюся старую — это совсем не хорошо.

2. Мне хочется, чтобы страна повзрослела, а не постарела, а до сих пор она все время молодела, все в ней до сих пор все время обновлялось, и при таком омолаживании к 2000-му году она может впасть в детство. Странно, все время изобретать колеса, когда есть мировой опыт и в конце концов общечеловеческий опыт. И не надо никаких новых экспериментов. За это десятилетие еще нужно убедить человека, что сегодняшняя демократия — это не эксперимент, а уже жизнь.

Продолжение на стр. 24.

Татьяна ТАЙГАНОВА
**КРАСНОЕ
САФАРИ
НА ЖЕЛТОГО
ЛЬВА**

Истории из мусорного ящика



Татьяна ТАЙГАНОВА родилась в г. Орле.
Окончила профессионально-техническое училище
по специальности художник-оформитель.
Живет в городе Челябинске.
Печаталась в журналах «Литературная учеба»
и «Урал». Член СП СССР.

Рисунки автора

...он горячим прыжком лег посреди и грива слилась с иссушенной травой а спина с солнцем и мир желт и желты глаза даже если закрыть и это саванна и он будет ждать там тысячу и тысячу лет пока навстречу не взлетит такая же как он желтая молния и одиночество кончится...

Лев услышал, как пуста под ним мгла, и понял, что подобных ему больше нет.

Он оглянулся, чтобы увидеть, кто так бездонно молчит позади.

Позади высыхал отставший след.

Лапы затосковали по шорохам, и Лев обрадовался своей тоске:

— Меня еще много. На мне живут Лапы, Грива и Хвост. И Кисточка на конце меня. Я буду им себя говорить и не стану один.

И Лев объяснил своим Лапам:

— Надо идти.

Лапы промолчали. Он понял тяжкую в них усталость.

— Надо,— попросил Лев, и Лапы взмахнули длинное тело в тьму без запахов, звуков и цвета.

...и если молния не вспыхнет в зрачках и не протянет рядом длинного безгривого тела и маленькие Желтые не продолжат рода и вплотную подступит Никогда оставив ему лишь жарко пахнущий мир ветер трав и солнце льющее масло вдоль шкуры...

Позади, если бежать далеко-далеко в память, остались планеты, перенасыщенные прямыми углами. Кристаллизуясь ими в единое, там пытались быть люди. Но среди людей не нашлось Желтой Саванны для Желтого Льва.

— Я устал,— сказал себе Желтый Лев.— Но и для смерти не нашла опора. Здесь негде остановиться или упасть.

Тело отозвалось, согласно дрогнув Хвостом.

Но Лапы не согласились, что смерть правильнее пути. Даже если ищешь Саванну так долго, что помнишь о ней только желтое.

...он останется ждать посреди родившей его земли хотя бы для того чтобы в ней не закончилась вера...

— Я ищу желтое,— повторил себе Лев, чтобы не заблудиться в поисках родины.

Он искал так давно, что остался последним. Он шел из тьмы через тьму. Острая звездная пыль стирала с лап шорохи и шаги.

1.

Голос доброжелательного механизма: ОСТАТКИ-НО. КОНЕЧНАЯ.

Приезжий шагнул в рекламный пожар. На спину взбежали сполохи. Штормило рекламу:

«Все сущее и насущное — от Единой Теории Поля до полей теорий — приобретайте в ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННОЙ!»

«В Нуль-Т-Переходе возможно все — от бумажных трусиков до свежего пучка нейтрино! ЖДЕМ ТВОЮ ВАЛЮТУ, ПРОХОЖИЙ!»

В 1988 г. наш журнал объявлял конкурс на лучшее произведение в жанре фантастики. В адрес редакции пришло большое количество рукописей. Для публикации мы отобрали повесть Татьяны Тайгановой.

«ГРАЖДАНИН! И ты можешь управлять государством! КАРАТЭ-ДО, КУН-ФУ, У-КУ-ШУ обеспечат безопасность в Конгрессе! Ты научишься легко перекладывать на любую платформу!»

В Остаткине бывает стиральный порошок, напомнил себе Приезжий.

Про порошок небо умолчало.

СТОЙ!

Вздвогнув, Приезжий затонул испуганным взглядом в гигантском восклицательном знаке, предчувствуя, что точка обрушится на голову. Сверху разъяснили:

«На начальных ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КУРСАХ тебя научат отличать артишоки от антрекота и допустимо объяснят разницу между траверсом и каперсами. ШИРОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ — ПРИЗНАК ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»

— Спасибо,— пробормотал Приезжий.

Сквозь шрифтовые просветы обозначился шпиль — Пресс-Башня царапала лоб незримому солнцу.

Воды бы... Приезжий покосился вверх — возможно, за шрифтами толкутся дойные тучи, хлеща ливнем по хребтам букв, буквы шипят, испаряя; а над человечеством — многоцветная сушь, потому что и слово, и небо терзает жажда.

Реклама сдвинула полосы: КУПИ СМЫСЛ ЖИЗНИ!

Тучи устарели, понял человек.

Поперек СМЫСЛА промчались неровно рубленные черные буквы:

«СВЕРХРАЗУМНЫЕ! Млечный Путь засорен свалками! Русло продано за кордон для добычи нефти!» Воздух над Приезжим потемнел.

— Прорвались-таки! И в прессу! — удивились рядом громко, но безлико. Перед обменным киоском слиплась в монолит очередь. Приезжий придвинул себя к жаждущим. За спиной тут же жарко narosло. Голос без лица удовлетворенно хрипнул: — Сюда-то уж не проскочат!

— Кто? — не понял Приезжий, но небо торопилось высказаться:

«Голосуйте против проекта поворота Млечного Пути вспять! СПАСАЙТЕ ПРАМАТЕРЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ!»

Реклама, испепеляя незаконное, заморгала молниями, скрутив осколки гласных и несогласных в черный фейерверк.

Я не спрашивать, я — за порошком, одернул себя Приезжий.

— Обменять бы мне — здесь, сынок? — просительница заглянула снизу старушонка, готовая запричитать от усталости. Запахло потными неимущими медяками.

Он пропустил вперед, сдвинувшись в единственную около урны короткую тень — хотелось охладить хотя бы ботинки. По ботинкам мчались цветные тени неба. Наэлектризовавшиеся шнурки шевельнулись и, показавшись, встали дыбом.

Рядом замерла внезапная пара «саламандр». У «саламандр» не качалось. Он, удивляясь, медленно рассмотрел чужое качество.

— Отец,— определили ему статус,— чего ищем? Меняешь? Медяки или карточки? В чем потребность?

— Порошка бы,— поддался Приезжий.— Жене стирать нечем.

— Боны? Валюта? Покажь, что имеешь... Не-е, отец, потребности не по возможностям. Такое не беру, извиняй.— Прежде чем уйти в поиск, «саламандры» чуть помялись и предложили: — По дешевке могу Дыру. Черную.

— Своих хватает,— буркнули в ответ.

«Саламандры» сгнули, оставив потребности смотреть в то место, где только что стояло.

Досаду Приезжий сплюнул в урну. Вздохнув жерлом, та зачмокала и выплюнула. Пуговица. Уровень жизни озадачивал: на Окраинах такого не имелось. Урн не было вовсе, а мусор вышвыривался на орбиты и прессовался в спутники, из-за которых созвездия уже давно правильно не распознавались.

Хотелось пить.

Приезжий повертел еще теплую пуговицу и швырнул обратно в жерло, оттуда с готовностью плеснуло газировкой в лицо и с опозданием прохрипело стаканом.

Сервис, однако, удивился Приезжий.

Залыпанное, немытое стекло помедлило на краю и звякнуло назад, завершившись еще одной кривой пуговицей. Он насчитал семь дырок.

И тут барахлит, не без удовлетворения расстроился он.

Туго взвыло под ногами густое гудение, отзываясь в сердце микроскопической навязчивой вибрацией.

Что бы могло — так занудно?..

Он оглянулся — очередь массивной молчала. Из-за киоска вывернулся Проспект, просвистел над головой и запульсировал около. По обеим сторонам Проспекта двигались в противоположные бесконечности две толпы из безмолвных фигур впритирку. Меж потоков взвизгивали скоростями три транспортных яруса, трассируя в двенадцати временах и четырех измерениях. Среди фигур возвышались памятники. Каждый поток шагал в одну общую ногу, медленно сдвигая монументы в перспективу.

От выбрации заныло в ступнях. Шнурки обезумели. По коленям поползла внезапная тоска. Захотелось выброситься из обуви, чтобы бежать, а он смотрел и смотрел — на обессиленные общим движением плечи туда и плечи обратно.

Хлестнуло вдоль тела жесткое нечто, обменный киоск и очередь переполнило механическим грохотом. Проспект прогнулся, соединяясь дельтой с истоком. Ярусы смешались в дорожной катастрофе — техника глодала технику.

Человек окаменел от машинного воя.

Хочу домой. От меня скоро уйдет жена. На остаткинском рынке можно купить порошок.

Междоусобная схватка техники, времени и пространств казалась безлюдной. Потусторонние останки стремительно укатывались свеженарастающими ярусами.

Но там же были толпы! — очнулся человек.

Вниз хлынуло небо:

«В следующем квартале утвержден обмен ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТОЧЕК НА ЗРЕЛИЩНЫЕ».

В ноги заколотилось мощнее. Киоск с очередью запрыгал, ударяясь в зрачки. Проспект, как старую киноленту, дернуло в длину, в ширину, замедлив мерное продвижение памятников. Улицу выравнило и заполнило шагающей в ногу толпой.

Все в порядке, утешил себя Приезжий. Смерть техники больше не мучила.

Рядом материализовался, едва не совпав, улыбающийся внезапный субъект.

— Извини, друг,— обрадовался он и прицельно зыркнул в глубины очереди.— Стоим? Я миллион триста восемьдесят седьмой.

— Еще не светит,— отозвался Приезжий, слушая пятками глубинные подземные всхлипы.

— В самом деле! — весело согласился субъект.— Значит, успею отхватить лимоны в центре!

Он нацелился исчезнуть, но Приезжий, внимая пяткам, выдернул его из-под пространства:

— Послушайте... Что там шевелится?

— А? Ага. Насос. Качает. Из сопряженной Вселенной.

Приезжему показалось, что он стоит на жующих хищных губах. Под ногами противно вздохнуло.

— Зачем?..

— А уникально! Хотя некоторым — этим, чернобуквенным — не нравится. Говорят — колонизаторская политика. Где-то кризис перепроизводства, а излучают — нам. Тряпки и зрелища.

Зрелища. Приезжий вдруг почувствовал, сколько весит небо. Шнурки задержало в стороны.

— А если нейтрализовать?

— Купите антистатик. Во — последняя модель, оттуда. Пш-ш — и все вещи тихие, как под наркозом. Почти даром. Берете?

— Я про то — под ногами!

— А, насос! Пытались. Антистатик не помогает. Потому и уникально. Да и зачем? Цивилизация задаром, лимоны размножаются. Да и излучение, как никак. Тоже, говорят, чему-то способствует. Тепло вон, третий год без дождя. Может, карточки отменить!

Субъект растворился.

Приезжему захотелось поджечь чуткие, смертельно перепуганные пятки. Он проводил взглядом пластунски уползающие шнурки и беспомощно развернулся к Проспекту.

Над левым потоком одинаковых голов вдруг взвились транспаранты:

ДОРОГУ ТЕХНОКРАТИИ! УРБАКАПИТАЛУ — УРА!

В КОМФОРТНОМ ТЕЛЕ — КОМФОРТНЫЙ ДУХ!

Справа единодушно ответили:

ХОЧЕШЬ ВПЕРЕД — ШАГАЙ НАЗАД!

АСФАЛЬТ — КРЕСТЬЯНАМ!

— Надо же! И внизу заговорили! — удивился из очереди голос без лица. — Демократия!

В перспективе Правые и Левые сливались в общую точку. Проспект вдруг сменил течение, ткнулся ближним монументом в киоск, прятнул прочь и, свернувшись лентой Мебиуса, исчез.

Приезжий пнул урну. В ней булькнул хаос, крошево мелких карманных катастроф, сфонтанировал пробитый проездной билет. Билет успокоил — в конце концов можно жить и без шнурков. Мусор урны никогда не был живым и ничего не излучал. Или?..

Человеку захотелось зажмуриться и нырнуть в жерло.

Что оно выплюнет на мое место?

«Лучше бы я вышла замуж за вагон порошка!» — всплыло недавнее и тут же умолкло.

Спине стало мерзко и мокро. Приезжий почувствовал, как усталый пот медленно стекает в ботинки.

Уйдет, вдруг понял он, и вышел из животов и спин. Его место сразу безвозвратно спрессовалось. Я вернулся в пустоту.

Подскочила, узнав в нем провинциала, свежая пара кроссовок. «Адидас», прочел он интернациональное. Зачем мне «Адидас»? Моя немая галактика задыхается от грязи!

В душе пустело, как в комнате, в которой умерли любимые вещи. Рядом кокетливо переминались белоснежные адидасы с морально здоровыми шнурками. Приезжий тупо смотрел вниз, пытаясь объяснить себе эту стерильность в грохочущем глухотой мире.

Стерильное запищало:

— Меняю одного пекинеса на пять Мопассанов. Органика, экологически чисто. спасает от одиночества и самоубийств. Когда надоест, обменяетесь с сослуживцами. **ПЕКИНЕС — ЛУЧШИЙ ОБМЕН ЛУЧШЕМУ ДРУГУ!**

Он внезапно задохнулся, ослабел от отвращения

к миру и его зрелищам и опрокинулся в небо первобытным окраинным матом. Ему хотелось устроить конец света, но получились слова, краткие, из трех суставов, черные — через весь невидимый полдень и царапины на солнце; в Пресс-Башне оторвались от пультов остаткинские небожители, и вдоль длинного тела шпиля заныл аварийный сигнал — снижая опасность, с фантастической скоростью верстались новейшие и ярчайшие призывы потреблять дармовое изобилие.

— Чего это он? Чего? — волновались истерикой адидасы и пятились, пятились в глубину непотревоженной массы около киоска.

Приезжему прямо в лицо ударил внезапный Проспект, просквозил с неоновым треском, человек иссяк и ссутулился и швырнул в урну все, что у него было. Карманный мусор со скомканной фотографией жены звякнул необменной мелочью, и неприятзательное их качество не отозвалось ничем. А человек — сквозь «Адидас» — двинулся прямо в Проспект, в ярусы и времена, смешивая собой транспаранты и левые и правые плечи.

2.

Не всегда для сотворения мира требуется глина. Иногда достаточно выпавшего из кармана комка абонементов. Среди использованных обязательно окажется два-три непробитых, и на одном что-нибудь жизненно важное, например: «яйца, бут. сливок, 24-64-51, В. В.». С мусором в урну падает засохшая крошка сыра, прошлогодний талон на жизнь, ключ, двушка и фотокарточка, падают и падают сквозь не исправную бездну и никак не могут достичь дна, потому что дворник в запое.

То, что было когда-то в одном кармане, сначала стремится освоить вселенную порознь и разлететься к стенам черного жерла, падает поодиночке Вечность, пока не забывает собственное название и всякий смысл, и тогда, чтобы не превратиться в ничто, лучше снова спаяться в совместный ком. Элементарные частицы изрешетили бумажки в пыль, разбили в крошево ветхий ключ и согнули монету, а фото истончили до лица, унеся прочь основу.

Космос подступил прямо к глазам.

Увидев все свойства мрака вблизи, лицо тревожно сказало:

— Пусто, словно и нет ничего. — И зажмурилось, чтобы увидеть хоть что-то. Например, себя изнутри.

Внутри было ноль глубины. Как в точке.

— Так не бывает, — не согласилось лицо. — Что-нибудь должно быть всегда. Хотя бы три кита. Или точка опоры.

Слова вязли в пространстве, не мигая даже эхом.

Никто не ответил, но думать вслух не мешал.

От присутствия слов пустота чуть-чуть расширилась.

— Тогда, может быть, точка — я? А опора где-нибудь на дне урны?

Ниоткуда не спорили и ни о чем не спрашивали.

Это было неудобно и требовало объяснений.

— Пыль! — уверилось вдруг лицо, рассмотрев близко парящие остатки абонементов. Оно было женщиной и имело свою логику. — Пыль — поэтому и не видно.

Лицо посмотрело в Космос вперед и в Космос назад. Было одинаково никак. Хотя без бумажного затылка видимость оказалась лучше. Лицо вспомнило, что у его женщины всегда хватало всякой очищающей работы. И стирок. Но существовать вне человека или хотя бы картонной опоры стало печально.

Лицо представило себя женщиной и сказало ее деловым голосом:

— Нужно начать что-то. На что-то осядет пыль и можно будет сделать уборку.

Сразу понадобился стиральный порошок, но не было еще и воды, и не на что оказалось поставить ведро, и не нашлось тряпки.

Лицо со вздохом определило:

— Видимо, сегодня понедельник. Придется начать жить сначала.

И Женщине представилась горячая бесконечность, в которой кипело белье, бурлил, вращаясь вокруг многих осей, малиновый борщ, перед нескончаемой грудой белья накалялся стремительной яростью беспощадный уют, и урчали мармиты, на которых выпаривались рыхлые пятна сладких груш. Пыль вокруг сна раскалилась и вспыхнула, выплеснув новенький, только еще закипающий Млечный Путь. Белому в черном сразу стало тесно, и пена, медленно вздымаясь, начала вздыматься по жерлу и хлынула куда-то вовне.

Навстречу лицу грянуло внезапное дно, уют зашипел в эпицентре борща, белье осело хлопьями белой капусты, пыль сбилась в единство горячим паром, и схлынула Четвертая Вечность, и Пятая, и на исходе Девятой родилась Планета.

3.

Приезжий дышал в коридорном мраке.

Не надо было включать свет, чтобы понять пустоту и что он здесь дышит один.

Ушла.

Ойкнул телефон.

Он побоялся шевельнуть темноту и взять трубку.

Телефон подождал и, вздохнув детски и застенчиво, заверещал на междугородном наречии.

Нет. Там ушедший голос. Он не прикоснется к нему. Он будет терпеть Окраину один.

Рука схватила трубку.

Внутри шумел медленный джаз, похожий на дождь из прошлой жизни.

— И только-то... — опустел мужчина.

Джаз сменился радионовостями свежих перевыполнений. Эфир слегка шипел от всенародного напряжения. Новаторский голос, бодро повествующий о Тоннокилометрах, запнулся о невидимое и раздраженно потребовал:

— Перестаньте дышать мне в затылок.

Человек давно не дышал. Он ожидал продолжения дождя.

— Вы, именно вы! — возмутились Тоннокилометры.

Представился Город, переполненный неосвещенными коридорами, в каждом распахнутый телефон, и около множество мужчин, ожидающих по радио джазовый дождь, потому что ждать больше нечего. И все дышат в одном молчании.

Конечно, у Тоннокилометров начнется затылок.

— 24-64-51?! — крикнул издали раздраженный голос. Кто-то дополнительный уточнил фальцетом: — В. В.! — Именно! — ехидно удовлетворились Тоннокилометры и в прерванном оптимистическом темпе продолжили про перевыполнения.

Не может быть, вдруг страстно поверил человек в темноте. Не бывает.

В телефонных пространствах потусторонне потянулся сигнал, ушел в бесконечность и не вернулся.

К утру щелкнуло:

— Я нашла твой телефон.

Он долго молчал.

Он подумал, что, наверное, молчит очень однообразно, и медленно произнес:

— Я не привез стирального порошка.

Теперь молчала она. Потом вздохнула и объяснила:

— Двушка погнулась, пока падала.

Ее голос слегка раздваивался и утекать куда-то едва слышным эхом.

— Борщ остывает, — пожаловались из эха. — Ты скоро?

Он неожиданно взорвался:

— А как же стирать? И драить? И смог? И форточку не открыть? И дорогу сквозь стекло не видно?!

После молчания из эха обиделись:

— У меня чисто... — Потом простили: — А в окне все зеленое, и кругом дышит, и громадные ходят, медленно. Чавкают ужасно. Тебе слышно? А утром был океан. А еще раньше дождь. Обратный — с земли на небо.

Он задуманно промолчал.

Дождь. Джазовый дождь.

Из эха вздохнули:

— На кухне родился родник. Я все перестирала.

Он дернулся из темноты во вселенную, где все зеленое, и обратный дождь по утрам, и можно чем-то стирать, и вообще, по-видимому, хорошо, но не ему.

— Ой... Заглядывают прямо в окно, представляешь? Теперь уже не громадные, а просто пушистые. И без бородавок. Довольно миленькие! Рычат... Тебе слышно?

— Ты меня разве не бросила? — спросил он, остро сожалея, что спрашивает.

Там опять обиделись:

— Я твои рубашки перегладила... Так ты скоро? — Голос оборвался внезапным восклицанием. — Чш-ш... По-моему, тут кто-то есть.

Он, холодея спиной, и темнотой вокруг спины, и всем коридором, выслушал недлинную тишину до конца. Хотелось отчаянно заорать, напоминая о себе.

В трубку вторглось живое волнение:

— Слушай, они такие талантливые! Разрисовали обои... Ты не мог бы побыстрее?

И следом — пропадающий гул, будто соседи сдвигали допотопный шкаф на Северный полюс, и приглушенно засквозил дальний голос, которым женщины обычно сгоняют со стола любимых кошечек.

Он, предчувствуя, что, согнав, голос канет бесследно, был морально согласен на все.

— Ты где?!

Трубка, пробормотав сдавленные недоразумения, потребовала нервно и немедленно:

— Они строят АЭС, прямо на одеяле, возьми такси!

Щелчок. Мерный гул пустоты. Напряженное дыхание кого-то подслушивающего.

В коридоре слышно, как за горизонтом длится все тот же потусторонний сигнал.

— Ты где?... — слепо повторяет он, надеясь, что сигнал возвратит ему голос вспять. Чудес не бывает, еще думает он. И еще думает: тогда не бывает и самого страшного. — Ты где?..

— 24-64-51? — взвизгнул прямо в ухо бюрократический фальцет.

— Да!! — заорал он. — Нас разъединили!!!

— Ваше время истекло, — объяснили подчеркнuto равнодушно. Этот подслушивал, понял человек в коридоре. Фальцет, хихикнув, проявился снова, на этот раз в нем угадывалось довольство: — Четыре миллиарда лет две минуты. Оплата за счет абонента.

4.

Строить Человечеству понравилось. Когда одеяло оказалось усвоено до дыр и перекопано в прах, Человечество перебралось на стены, потолок и дальше. И последовательно все переработало. Осталась только горячая плита, охранявшая борщ. От борща разогнался теплый спиральный ветер.

Ощувив творческий подъем, Человечество произнесло хором:

— Да здравствует цивилизация!

И засеяло горизонты железобетоном.

Климат остался мягким.

Взломав землю, взросли Города, от них отпочковались Заводы. Планета съежилась и потянула почву от Городов прочь. Вместе с мягким одеялом уползли травы и деревья.

Поколения производств окольцовывали небо дымами, круги порождали круги, и из Космоса стало похоже, что Планета заросла пнями.

Что утвердилась последняя эра Углов, становилось понятно только вблизи.

5.

— Кажется, вижу! — обманулась однажды большая Семейная Птица. И, выбрав самый щербатый, высокий и острый пень, спикировала внутрь атмосферы.

Кольцо дыма захлестнуло горло петлей и кувыркнуло на крыши Города. Птица, ударившись о Город, упустила из цепких пальцев Яйцо.

Яйцо укатилось, чуть помедлило на краю и мягко съехало вниз, запищав из-под карниза:

— Ма-а! Я правильно лечу?

Но тут же оказалось поймано и положено в спокойное место.

— Я те полечу! — пообещала Птица. Осмотрелась и горько пожаловалась: — Везде одно и то же!

— Ма-а, а дальше мы полетим? — Яйцо подпрыгнуло на месте и затрещало изнутри: — Ма-а, тесно!

— Терпи! — сурово сказала Птица. Правым глазом она посмотрела в небо, а левым — вниз. Наверху собирались в грозу рекламные сполохи и носились стаи телепрограмм. В пропасти под крышей ровно цвели фонари. — Не думала, что когда-нибудь не отличу цивилизации от пня.

— Я ногу натер, мне тут мало! — захныкало Яйцо. — Давай лучше я здесь рожусь?

И оно затрещало скорлупой, пытаясь раздвинуться из пределов в пернатую жизнь, где летают не только в, но и над.

— Нет! — решительно пресекла Птица, прижимая Яйцо трехпалой лапой. — Ты родишься, как положено.

— А где положено?

Птица посмотрела грустно и бездомно.

— Ты было положено в дупле.

— Я тут. А где дупло?

— Нас выселили без предоставления жилплощади.

— А почему ты согласилась?

Птица покосилась в сторону. На крышах напряженно дрожал мир антенн. Антенны напоминали лес.

Ища приюта Яйцу, Семейная Птица придвинула его к своему телу.

— Ма-а, душно! — пожаловалось оно и вывернулось из конверта крыльев.

Весна фонарей на дне Города тоже напоминала ностальгическое. Птица, обреченно вздохнув, решила попробовать.

— Не скажи, — попросила она и пару раз тукнула звездным клювом в опору акселеративной антенны, пытаясь согнуть ее сучья в удобную развилку.

Антенна тряхнулась разрядом, включив под крышей здания ближайший телевизор. Ящик торопливо затранслировал итоги шоу-конкурса «Межгалактическая красавица». Человек перед ящиком ничего в межгалактическом не понял, обозлился, что аппарат снова вышел из строя, огрел в сердцах кулаком по полированной лысине и выдернул из сети.

На крыше, не надеясь уже ни на что, потыкали в железное еще. Антенна, оплавившись, слегка про-

гнулась, поглотила пришедшую энергию в глубину нижних этажей и погасила непробиваемым стволом клюв космической Птицы. Металл, отозвавшись в вечном теле тугим звоном, застыл вновь, сверхпроводяще и холодно.

Выключенный экран в жилье под крышей затосковал позывными далекого одиночества.

— Где ты... Где ты... — тосковал неизвестный Разум. — Где?

Сигнал засквозил по Городу. Макушки антенн качнулись внезапным ветром.

На крышах Города, нахохлившись, сидела Мать-Одиночка.

— Ма-а, у меня чешется! — Яйцо вращалось макушкой вдоль битумных потеков.

Птица остановила вращение лапой и почистила крылом макушечную точку скорлупы. На скорлупе проступили наливающиеся неоновое-рекламным цветом слова:

ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ ОТ СПИД — ПРЕЗЕРВАТИВ!

Семейная Птица сдавленно охнула, подхватила чешущееся Яйцо в охапку и нырнула с планеты прочь.

6.

Женщина под крышей прокричала через квартиру:

— Сейчас! Я не могу отойти от кофе!

Двадцать минут назад она пыталась убедить мужа Алика, что за семь лет супружества вполне логично было бы приобрести хотя бы одного ребенка. Два часа муж Алик умело, как на защите диссертации, доказывал, что за семь лет полезно существовал и вообще жил только во внесемейное время, когда изобретал Человечеству вместо морально устаревшего Кирпича — Шлакоблок, и признан везде, но только не дома, и очень хотел бы и впредь не отвлекать свой творческий потенциал.

Сейчас женщина смагивала на плиту слезы, а из комнаты нетерпеливо, но не слишком громко звали. Может, чтобы сказать то, от чего станет возможно прожить вместе еще хотя бы семь лет?

Она решительно высохла, разгребла для независимого шума кастрюли, убедительно что-то разбив, и вернулась в комнату.

— Ты звал?

В комнате было пусто, настойчиво и печально. Молчал даже телевизор.

— Алик? — встревожилась женщина. — Что случилось, Алик?

Она распахнула спальню.

Муж Алик спал, закрывшись от мира, как носовым платком, ватманом. Чертеж на ватмане бесцветно обозначил лицо.

— Не звал... — удивленно опустила женщина слова в тяжелый мужской сон.

Чертеж шевельнулся выдохом.

Лицо под бумагой спало навзничь, мучаясь во сне тупым напряжением.

— Алик! — испугалась будущего женщина и заглянула внутрь чертежа.

Победный Шлакоблок узнался без труда. «Странно, а я думала, что совсем дура», — удивилась женщина и поискала в чертеже мировое открытие.

Шлакоблок, перечеркнутый решеткой, остался позади взгляда, постепенно развиваясь в Домоблок, изначально заполненный мебелью, ее людьми и их жизнью. Из множества Домоблоков незатруднительно выросла вертикаль Города, переполненного Человечеством. Иногда вертикаль переламявалась на прямые углы, чтобы прихватить соседне-горизонтальное, и снова взрастала отвесно вверх и отвесно вниз. Наверное, это и было Творческим Потенциалом, не же-

давшим отвлекаться на бесполезные семейные мелочи.

Ребенок в женщине повернулся прочь от чертежа. Тогда она позвала негромко, робко и в последний раз:

— Алик...

Хотелось заплакать, но мгновения для этого не нашлось. Она шагнула в небо, где сквозь сполохи и смог политических фраз смутно просвечивало одно неубитое созвездие.

Из слепого экрана сочилось без голоса прежнее. Борщ приварился к кастрюле навсегда.

Где ты?..

7.

Падение было так бесконечно, что стало казаться полетом вверх. Время не приближало конца.

Минуты лениво стекали вдоль здания. Окна, мелькая цветным пунктиром, стремительно съезжались вверх в незримую точку.

Женщина отвернула от них падающее лицо и направила тело вниз. Волосы отстали назад опоздавшим взмахом. К городу подступила осень, скользнув по щеке памятью о горьком листе, летевшем к асфальту и вторник, и среду, и четверг. Недели кончались, лист падал и падал, пока снег не прижал его к земле.

«Это покой, и сейчас рассыплется холод и снег, и полет сожмется в последнюю точку. — Все понималось легко. — И точка окажется больше, чем вся жизнь до нее».

Но сосущая бездна под телом не кончалась ничем.

Что-то снова становилось неисправимо. Женщина поискала на дне планеты свою точку. Точка стремилась прочь с той же скоростью, с какой женщина опускалась к небытию. Пунктир окон не иссякал.

«Что-то успело переродиться, — осознала женщина новую неизбежность. — Я не достигну ни неба, ни земли, а пролечу все насквозь, и изнанка Планеты продолжится этим же домом».

И сразу стало понятно, что Здание, торопясь окнами вверх, стремительно достраивается Домоблоками к центру Земли.

Запыленное созвездие не приближалось. Полет становился бессмысленным.

«Я так никогда не прекращусь», — посожалела женщина и, зажмурившись, попыталась закончить себя, и в себе — безумный видимый мир.

В зажмуренных глазах Космос стал внезапен и близок, и увиделись чужие дальние крылья. Опираясь на пустоту, белая Птица медленно уносила Яйцо.

«Вот как надо!» — поняла женщина.

Но так, как надо, уже не успела, сознание раздвоилось, и она родила над Городом мальчика.

8.

Двое, чтобы поверить, что счастье — совместно, обняли друг друга. Замерев в неподвижном углу подоконника, они смотрели в бездонное небо, которое отражало столь же бездонно сияющий Город. Мужчина мечтал сказать девушке величественное, с чего стало бы сразу возможно объяснить любовь и семью.

Мужчина нашел:

— Мы отражаемся в мире.

И остался доволен — прозвучало величественно в достаточной степени.

Между верхом и низом уплывали в горизонт окна. В каждом ожидало счастья по два человека. Реклама, играя, множила миражи.

— Сейчас нас видит все Человечество, — продолжил мужчина. И, чтобы девушка не заскучала, вовремя добавил: — Как неоновы твои волосы!

Реклама остановилась напротив огненными нагими словами:

СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ

Через миг счастье рассыпалось в созвездия. Потом вспыхнуло новое:

ПЛАНЕТА — НАШЕ ОБЩЕЕ ЗДАНИЕ

Мужчина обрадовался знамению:

— Мир бесконечен, как Здание. И разумен, как Здание.

Девушка тоже хотела семью и если получится, то и любовь, и поэтому согласно кивнула вещам, столь очевидным. Она чуть отстранилась от лозунгов, обняв плечи оконным проемом.

Небо объявило:

ТРУД — МЕРА ВЕЩЕЙ

— Смотри, как прямо во все стороны и в угол комнаты легко входит угол стола, и на стул я тоже сажусь углом. Нам всегда удобно. — Он засмеялся словам в небе и девушке рядом. — Я тоже придумал, послушай: КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ КОМНАТУ, НО КАЖДОЙ КОМНАТЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА. Как думаешь, там, наверху, примут? — Неуверенная улыбка в ответ продолжила в нем фантазию: — У нас появится дополнительный Призовой Выходной Для Двоих. И абонемент в Комнату Развлечений.

Двое помолчали, наблюдая небесные слова.

— Ты меня любишь? — спросила девушка.

Мужчина обрадовался простому вопросу:

— А в углу поставим кульман. Я придумаю что-нибудь сверхчеловеческое, и мы уедем в Призовой Отпуск на Нижний Этаж.

— Кроватке в углу будет удобнее, — чтобы сообщить о главном, не согласилась девушка.

— Кровати, — поправил обещающий сверхчеловеческое.

Широкая кровать была бы кстати. Он даже согласен передвинуть будущий кульман в новое место. К окну, например.

— Кроватке, — мягко настояли рядом. — Мы положим туда своего Человечка.

Мужчина нахмурился. Он не предполагал Человечка. Лучше оставаться всегда одному вдвоем с женщиной. И с кульманом, если получится. От женщины возможно уйти. Третий рядом свяжет.

Но к нему прижались доверчиво, будто навсегда. Захотелось отстраниться, чтобы стало не так совместно, но девушка, украв от его тела ладонь, накрыла ею мягкое в своем животе.

Мужчина решил: пусть останется. Хотя бы сегодня. Нельзя всю правду про себя сказать сразу. Правильнее — постепенно. А мягкое тепло пусть ладонь не замечает. Он знает, что там — нет. Девушке кажется. Сегодня такой день, когда может казаться. Но мир обязательно изменяется в правду. Которая наступит завтра.

А сейчас она дышит им, как верой, и он чувствует, что жив не напрасно.

— Хочешь на Крыши? — предлагает он.

На Крышах шумят антенны. Скользит бледный туман. Стволы мерцают влажным металлом. Туман пахнет медленной тайной. Марево. Крыши испаряются в небо.

И она шагнула в туман, как в небо. Подставила руки под пыльный протуберанец. Протуберанец лизнул. Для человека позади — ее жест мучителен, от

него хочется пить, много, и не из клейких автопакетов. Внутри медленно разворачивается сосущая тревога.

Я люблю, падает внезапно сердце. Я боюсь.

Крыши — поэтому, утверждает в себя человек. Никто в Здании не хочет добровольно остаться один. И здесь пусто. Только влюбленные, а их всегда двое. Они здесь одни, но — временно, потому что друг для друга. Традиция Крыш сохраняется для каждого Двоих. Все в Здании знают — Антенны скрывают привидения. Но привидения не совершают зла над Двоими. Они мешают только тем из людей, которые живут не так. Навстречу Нетаким из теней проступает Что-то. Но это потому, что Нетакие живут в одиночку.

Нетаких — единицы, успокоил себя человек. И вечер не оставляет теней. И сомневаться неправильно. Он уже выходил на Крыши. Когда любил в первый раз. И приведенный не было.

Да, но та женщина шагнула от человека в окно. Она оказалась Нетакой, хотя не встретила привидений.

Двое идут по лесу. Антенн. Девушка перебирает попутные узкие прутья. Мужчина сзади тревожится, пытается понять, почему от подобных движений хочется плакать. Ниже, в Здании, от пальцев пробегают по телеэкранам помехи, но в волнах помех трагичного нет. Он это знает. Он — инженер, выращивающий Антенны. Уважаемая, хотя и распространенная профессия.

Узкие пальцы легко, невесомо прикасаются к железу. Инженер вычисляет их траектории, моменты касания, теплообмен металла и кожи — в чем же боль? Математику теснит острая тревога.

Завтра мир переменится, надеется он. Он перетерпит сегодняшние, сквозящие в душе Крыши.

Под устаревшей, но самой развесистой Антенной Двое сели на горячий, твердо-текучий гудрон.

— Чего тебе хочется? — Он расправил возникшие плечи. Сегодня возможно все. Сейчас она попросит, чтобы он стал близко, и тревога уйдет.

Девушка молча смотрит в квадратные уровни единственного леса. Из вершин, исказив миражи, дохнул горячий ветер. Запах лесного пожара. Где-то — далеко — искрит замыкание. Следует спуститься в рубку. Но это не его работа. Пожар далеко. Пусть успеет кто-нибудь другой.

— Чего тебе хочется? — заторопился он.

На его голос отозвались:

— Тебе не кажется, что эти углы множатся сами собой?

Мужчина вздрогнул. Он думал, что девушка рядом любит бликами реклам вдоль тумана. Или гадает по перевернутым миражам словам. Но у него спросили неожиданное, совсем не близкое к любви и семье.

— Ты веришь, что прямое приносит счастье? — Резонируя тревогой, она на чем-то настаивала.

Инженер покровительственно повторил школьное:

— Прямое легко и логично.

Зародилось молчание. Он деликатно напомнил о предстоящем общем:

— Почему ты о ненужном?

— Я никогда не видела, как растет Здание.

Женщина всматривалась в Крышу.

Мужчина вдруг осознал, что мир под ним подвергается сомнению. И постарался убедить:

— Но этого не знает никто.

— Оно растет само. Смотришь вверх, чтобы увидеть, что нового написано на небе, а над тобой увеличилось вдвое. Смотри — провалилось до самого скеле-

та земли. А может, земли никогда не было и оно стоит само на себе?

— Ну, это ересь, — пожал плечами в человеке инженер. В ответ глянули незнакомо, и он поторопился пообещать: — Мы построим кулман, и я изобрету лучший в Здании Угол. И назову твоим именем.

Будущая жена не обрадовалась. Будущее сжалось под его ладонью. У мужчины в ответ что-то снова потеснилось в груди.

От вопросов простое вырождается в сложное, и это плохо, потому что сложности уводят в мир, где не бывает углов и потому нет начала координат и линий опоры. Если она права и Здание было всегда и растет, не имея опоры, то он, инженер, не посмеет подобное объяснить. Такой мир страшен, и потому его нет.

Все просто: девушки до семьи другие, чем потом. Чтобы мужчина не ушел далеко — боятся чего-нибудь. Он услышал шорох в душе — тревогу сменила внезапная радость. Глупая, он же рядом, зачем бояться. Он инженер. Разберет, вычислит, отремонтирует в норму любое. А непонятное не стоит усилий.

Он погладил напряженное страхом плечо. Он любит и желает ей простоты. Он повторил терпеливо:

— Углы — это теплые стены. И горячая вода. И свет, когда захочется тебе или мне.

Он старше дважды и обязан объяснить все, во что верит.

Он объяснил:

— Угол — когда каждый близок каждому, и ты всегда не один, потому что за спиной через стену тоже спина, а когда хочешь лицо, можно оставить на плите закипающий кофе, шагнуть в соседний угол сквозь стену, где живут такие же, как ты, и потому там родное не меньше. И ты вернешься к плите раньше, чем кофе от тебя убежит.

Он обещал:

— У нас будет восемь восемь своих углов. Кулман, и кофе, и соседи за стенами. — Он вспомнил теплое под ладонью — в память руки толкнулось живое. — И Человечек, если ты захочешь.

Женщина развернула к нему ждущее лицо.

Значит, он говорит правильно, обрадовался он.

Но лицо смотрело словно из-за стены. Словно в кровати, отвернувшись от собственной женщины, он толкнулся взглядом в ту, которая за обоями. Которая не его, но смотрит от мужа прочь и потому видит другого.

И вдруг показалось, что объяснил страшную неправду за истину, и женщина — настоящая, рядом, — поверила. И это хуже всего.

Мужчина понял, что болен любовью больше, чем нужно для счастья, и отвернулся в сторону, взамен обняв крепче.

— Правда, что в Крышах живут привидения? — спросила она, ища в нем мучительно близким лицом.

Когда она так, в нем снова хорошо. Он больше не может смотреть в глубину себя. Зато может уберечь пиджаком.

— Здесь чистый лес, — соврал он, стараясь не ощущать далекого запаха замыкания. — И бродят только сигналы телепрограмм. Здесь не случается ничего.

— Не случается... — повторила она эхом в близкую точку.

Он проводил ее взгляд до конца. Там сидело.

Маленькое.

Маленькое увидело два взгляда сразу и заплакало навстречу, качаясь на узких ножках.

Кто из них Нетакой?!

Он вскочил, чтобы уничтожить привидение кулаком и сохранить рядом норму, но женщина, протянув к привидению руку, произнесла странное:

— Кис-кис...

— Не смей! — крикнул в мужчине ужас.

Но Кис-Кис, обрекая одного из Двоих, шагнуло ей прямо в пальцы и зашумело. Тихонько, как маленький приборчик. Женщина спрятала его под одежду, и мужчина видел, что Кис-Кис проползло сквозь слишком просторный лифчик к животу и там свернулось в тоненько тарахтящую кучку.

Осторожно придерживая свернувшееся у живота, она позвала:

— Пойдем? Ему тепло. И он будто внутри.

Двое шли молча. Мужчина надеялся, что это потеряется по дороге, и нарочно вел девушку по самому краю Крыш.

Не потерялось.

Значит, Нетакая — она, думал он, стараясь не смотреть ей в живот. Но около двери в жилой блок все же спросил:

— Зачем нам?

Девушка подумала и объяснила совсем другое:

— Когда я его назвала, мне показалось, что страшно уже не будет.

— А что это — то, как ты его назвала?

— Кис-Кис? Не знаю. Маленькое. Как Человек.

Он постарался, чтобы им было хорошо в углу, где завтра встанет кровать. Даже с Кис-Кис было хорошо. Кис-Кис почти не мешал, лежал где-то в ногах и все так же потрескивал.

Мужчина сделал вид, что привык, и сказал ему:

— Кис-Кис.

Ему затрещали громче. А рядом доверчиво улыбнулись.

Ничего. Будет завтра, уже скоро. Будет утро, и они Семейей шагнут из Блока на Завод, девушка и шум производства поглотят друг друга навсегда, и Завод возвратит ее нормальной уставшей Женой, такой, как должно, — женщиной для порядка и покоя. Чтобы оставаться Семейей, они станут возвращаться в покой и порядок, но главное будет там, на Заводе. Там — во имя будущего — все Человечество, там язык единого, пригнанного к частицам людей труда, и все друг друга видят легко и прямо.

Без слов.

Без вопросов.

Она шагнула к окну. На уставшем и чуть опустевшем лице мелькали блики утренних лозунгов:

БЛАГО ОБЩЕСТВА — БЛАГО КАЖДОГО

Мужчина следил, неловко поджав ноги, чтобы не коснуться голым Кис-Кис. Сверху обозначили каждодневное:

ТРУД — МЕРА ВЕЩЕЙ

— Человек... — позвала женщина тихо и куда-то. И сделала резкое движение, будто решила взлететь.

— Только не так! — замер он. — Не удержу!

Но эта женщина не улетела. Удивленно засмеявшись, развернулась в комнату с голым на руках.

— Он падал мимо, а я успела. Теперь у нас много, теперь у нас есть почти все!

Она чему-то смеялась, прижимала голое к себе. Это было преждевременно. Он предпочел бы обычный способ, но изменить сейчас он ничего не сможет. Остается просто не спорить. Личное время уже истекло. Мера вещей — труд. Она вернется другой.

Двое вошли на Завод, держась за руки, и раскололись Проходной порознь.

Мужчина обернулся. Ему хотелось запомнить, пока она не вернулась. Не хочу! — рванулась в нем кривая



внезапная боль. Но Завод уже поставил боль вместе с человеком в рабочий угол и вскипел запахом высоко-развитой техники. Завод обступил углами широких окон и бодрыми словами Неба.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСТЕКЛА, — напомнило Небо Человечеству. Разлился приятный повсеместный свет: ОБЩЕЕ ЗДАНИЕ — ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ. Человека прокололи гражданственные ритмы совместных усилий. Грянул порядок.

Глубоко под Крышами девушке показали участок, первый и на всю жизнь.

Пыльный металл. Отсеявшееся бесплодное электричество. Цикличность. Пути, удобные механизмам. Нормы. Ритмичное согласие. Общий язык труда.

Запах цеха оказался приятен. Она вдохнула его целиком.

К вечеру двое встретились у своего блока. Мужчина принес в автопакете кровать.

Женщина подождала, пока новая вещь разрастется до нормы. Новой вещи требовался новый порядок. Можно было сместить повыше окно. Или вырастить из стены угол, которого еще не было. Приподнять пол в подиум. Интимно приспустить потолок.

Мужчина тщательно наблюдал, решая для себя второй брак. Женщина, подчиняясь ритму малых пространств блока, использовала все механические возможности превращения прежнего жилья в семейный уют. Строго соблюдая интервалы труда, она создавала порядок.

Не надо, хрипло запросился внутрь мужчины невидимый голос. Он проглотил его, не позволив родиться слову вслух.

Дойдя до вчерашней постели, женщина остановилась. Лицо, не обретая смысла, изменилось напряжением памяти. Она удивленно посмотрела на мужа, но увидела только молчание. Молчание не объяснило преждевременного. Тогда она обняла одеялом чужое, выдвинула в немоту окна и, разжав пальцы, без сожаления положила на воздух.

9.

— Загляни в инкубаторий — свободные кюезы есть? — Что, серия пошла? — Нет, по плану, задел прошлого месяца. — Из какого цеха? — Шестой родильный, восемьдесят шесть штук. — Опять, значит, девки. — Какая тебе разница? — Мужиков интереснее упаковывать, особенно когда заказ на черненьких... Ой! — Что? — Моргает! — Ну и что? — Не такой какой-то. — Температурный режим подтяни. Опять заморозишь — бригаду без тринадцатой оставишь. — Фу, еще и мокрый... Вечно этот шестой гонит брак! — Ну-ка... Во дают! Он же кормленный — кто подсунул? — Я и говорю — брак! — Какой тебе брак, глазами лупает будь здоров! — А я что говорю? Другие дрыхнут, а этот... Не такой, поняла? — Конечно, не такой — маточный потому что. — Да ты что?! Жуть какая... — Вот заказик кому-то ха-ха! — Слушай, нельзя же! Генприемка засудит! — Брось-ка на весы — может, до тысячи не добрал? — Тысяча пятьдесят семь — прям как нормальный, ужас-то какой... Откуда? — Оттуда, понятно! — Ну, ты без этого, без жестов! — Какие жесты, дура! Стерва нецивилизованная какая-нибудь носила. Недоносила, струсила, вот и подбросила на Проходную. По инфору для мирового позора о таких сообщают. Слыхала небось — «мать-одиночка»! — Фу, изврат какой — мать... — Давай кюезу! — Штрафанут... — А нас не за что — что дали, то и пакуем. — А сыщики из Генофонда? — А ты помалкивай. — Выбросить его! Во, в форточку... — Да? А отчетность? За восемьде-

сят шесть кто расписался? Сама в ведомость наражаешь? — А ты не матерись, я нормальная! — Ну, и сунь куда-нибудь сбоку, чтоб не видно, раз нормальная. — Спятила — сбоку! Сбоку виднее, в середину лучше... И ведь сидит же кто-то на Проходной — контрабандой протаскили. Брак ведь! — Пусть на акушерском списывают, нам-то зачем? Двигай его в автоклав. — Ф-фу, стыд какой... И как решаются? Такое — и чтоб внутри! — А ты не углубляйся. Мы ничего не видели. Ничего не моргало. Нас не касается. Ясно, нормальная?

— Заказывали — здесь?

— Ой, уже?

— Сообщите индекс личности.

— P018004.

— Имя употребляете?

— Рика... А взглянуть можно? Мне бы девочку хотелось.

— По девочкам план невыполнен.

— Мальчик тоже здорово...

— P018004, до предъявления соответствующих вам документов вы не имеете права развязывать ленточки. Запакуйте обратно и четко отвечайте на вопросы анкеты.

— Извините... Пожалуйста.

— Национальность партнера?

— Я без партнера... Я хочу одна.

— Одна? Хм... Минутку. Алло? Генофонд? P018004 — формальности соблюдены? Спасибо...

Ваша национальность?

— Женщина.

— Это по последнему паспорту. А фактически?

— Вы же видите, что я и фактически.

— Сколько имели метаморфоз?

— Я не имела. Я всегда была женщиной.

— У вас противопоказания? Травма? Я жду, P018004.

— Я хочу, чтобы меня называли Рикой.

— Название в анкете уже отмечено. Прошу не уклоняться от ответственности. Итак, вы ни разу не становились мужчиной?

— Мне не хотелось.

— Минутку... Алло, Центр Социальных Соответствий? Бытинспекция. P018004 — метаморфо-за или метаморфо-против? Благодарю. Странно, но вы почему-то не в черном списке. Обязана, однако, напомнить, что возможность Метаморфоз — высший дар Цивилизации во избежание социальных потрясений и сверхгражданских конфликтов. Как бытинспектор, вынуждена оповестить о вашем уклонении от государственной политики спецслужбы. Боюсь, что нежелание менять раз в год убеждения и национальность будет расценено как саботаж. Прогрессивные граждане, между прочим, практикуют гораздо чаще. Предупреждаю, что при вторичном сигнале вас ждет поражение в правах. Имеются вопросы по существу?

— Развязать уже можно?

— Впишите свой личный отпечаток в графу «получен младенец мужской национальности».

— Ой, наверное как раз хотела мальчика! Я теперь могу?..

— Распаковывайте. Поздравляю, P018004.

— Меня зовут Рика...

— Ваше пристрастие к древним названиям реакционно. Индекс личности принадлежит только личности, а клички Рика или Кэт носят тысячи. Мой долг напомнить вам: каждый обязан желать того, что хочет для него Государство.

— Ой, какой он крохотный... Агу! Я твоя мама...

— Рика, твое приобретение заливается! — Тихо-тихо, маленький, сейчас-сейчас. Ты бы подошел

к нему... Сейчас-сейчас, мама руки вымоет.— Сама заказывала, сама и подходи.— Вот она я, вот твоя мама...— Сдурела, чего ребенку говоришь... Произнести неприлично! — Но ведь до года разрешается...— А ему год и две недели! — Берт, ну почему придумали, что это неприлично? Мама — это хорошо, я и во сне видела...— У тебя опять память во сне? Завтра же покажись психоаналитику.— Ой, какой ты стал, Берт... Тихо-тихо, маленький, тихо-тихо.— Жмурится все время. И орет. Ты не умеешь, а туда же...— Сейчас укачаю.— Ну, дикая! Разве так надо? Укол в родничок на темечке — и неделю не пикнет.— Ой, Берт... Он и так смотреть ни на что не хочет.— А ты на подоконник положи, пусть на Закат паянется. Сегодня потрясающе — через веки светится.— Опять хром. Выбросы гонят.— Какие выбросы? Ты что, о фирме «Эстетика Неба» не слыхала? — Почему же. Я каждый вечер заявки посылаю.— Да? И что заказываешь? — Белые облака.— Ну, и дура. Ретро не в моде.— Потрогай, маленький, потрогай, через окошко можно.— Лучше бы вместо мальчишки новый ужасик к видику.— Не надо плакать, маленький, подрастешь, спросишь у Берта, зачем ему новый ужасик, если есть Закат.— Слушай, сдай его в Генофонд, он явно бракованный — окна боится.— Ну-ну, малыш, закат течет-течет да и стечет куда-нибудь. Закончится...— Сама ты дура законченная — краски-то сегодня прелесть! Бирюза. Мой любимый цвет, кстати.— А?.. Берт?...— Пожалуй, логичнее фиолетовым надуться, а, Рикюля? — Берт! Ты опять, Берт...— Перестань на меня тарашиться. Когда у человека переходная стадия, это неприлично.— Зачем, Берт? Не надо... Не слушай их! — Рикюля, детка, больше всего мне надоело слушать это неутешное, которое ты с вечера до утра трясешь, будто взбиваешь коктейль! — Ты опять уходишь? — Мой контракт с тобой почти истек.— Хорошо. Уходи. Но мужчиной.— Но тогда мне придется выдержать срок до конца! — Я отпущу тебя просто так, только не надо этого...— Ты все усложняешь, это невыносимо! Я нормальный человек, я не нарушаю законов! — Я тебя прошу.— Прости, Рика, но у меня новый партнер. Мы уже согласовали. Я вполне могу побыть женщиной.— Берт! — Берта, с твоего разрешения, уже Берта. Я возьму твою пудреницу? И, если не возражаешь, респиратор, лучше в полоску. Полосатое в этом сезоне не в моде, ты ничего не потеряешь.— Теряю.— Не надо намеков, умоляю. И вообще... Постоянство, младенцы... Их вполне можно выращивать на конвейере.— Тише, маленький, тише... Тетя шутит.— Ну, знаешь! От тебя всегда будут уходить! — Ты ушел в последний раз, Берт.— Пожалуй, плащ я тоже захвачу... Имей в виду: прознают про твою биостабильность в Центре Социальных Соответствий — мальчишку конфискуют.— Нет!..— Я не хочу, чтобы взяли на заметку и меня.— Ты этого не сделаешь! — Ах, боже мой, не отговаривай меня от выполнения законов! Плащ заброшу в среду. Чао!

— Мам, там летает. Завтра летело и сегодня. Я живу и живу, а оно все там. И мигает. Там что? — Свалка.
— Огоньки плавают — это красиво?
— Нет.
— Почему?
— Это контейнеры светятся. В них спрессованный мусор.
— А почему они за окном?
— Потому что больше нигде.
— А мусор — это что?
— Все, что когда-то было. И однажды кончилось.
— А какое раньше было Все?

— Разное. Круглое, жидкое, железное, каменное. Еще — живое. И неживое.
— А живое — что?
— Люди, малыш. Человечество.
— Разве Человечество кончилось?
— Оно кончается, потом начинается снова.
— Значит, когда-нибудь мусора будет совсем много? И тогда он не сможет летать?
— Он летает временно, чтобы остыть. Потом из него строят Здание.
— Поэтому он кубиками?

— Мама! А этот цвет как называется?
— Цвет электрик.
— Электрический, да? Электричество цветет ночью, я видел. И пахнет. А тот контейнер, с органикой, тоже какого-то цвета?
— Скорее всего у него цвет морской волны.
— А морской — это как?
— Мор. Смерть. Это старый язык, который сам умер. А слова от него остались. Цвет мертвой волны.
— Разве волны умеют умирать?
— Наверное.
— Как у старого соседа, да? Он говорит, что ничего не слышит. У него умерли звуковые волны, да, мама?

— Мамочка, не плачь, ну, пожалуйста, ты вернешься и будешь не очень другая, я все равно тебя узнаю, я буду звать тебя — Рик, а про себя все равно — мама, ты станешь взрослым мальчиком только снаружи, а я буду видеть тебя изнутри, я вырасту, стану сильным, и ты больше никогда туда не пойдешь, за год я вырасту, и ты опять станешь мамой вслух, не плачь, мама...

10.

— Как всегда, — не поверил человек. Поверив, убедился: — после капремонта мир потерял обитаемость. Казалось, что безжизненность — навсегда. Он удручился: — Я бездомен чаще других.

Пахло дезинфекцией. Стены держали над собой пустоту. Через лак сквозила структура свалки. Свалка разрезана поперек, упакована в притирку. Все культурное — слоями наружу: назоильный металлический прах, органикощепки, заусеницы. Из невидимой точки сквозит мерный радиотон. МЫ — ПОЗАБОТИМСЯ — О ВАШИХ — ЗАБОТАХ.

Человек накрыл раздражающее ладонью. В ладонь терпеливо заботились. Тогда он нашел — среди последствий ремонта — тубик с домашним сверхлаком. Затер. Точка рассеялась. Осыпалась с потолка белым ничем и зародила тоску.

МЫ — ЗАБОТИМСЯ — МЫ...

Психорадио. Лак уже не спасает. Отремонтировали. Теперь психорадио внутри, притворяется человеческим и живым.

Человек прошелестел ладонью вдоль стен. Плоскости есть, но нет остального. Капремонт. Бригада, затаившаяся в прессмусорных дебрях, пропихивает премиальные, а здесь — наискось через потолок — флюоресцирует Знак Качества.

Внутри человека толкнулась из стены незаконным ребенком память. Известняк. Новое слово из Прошлого он принял терпеливо, не пытаясь войти в незначащий смысл.

В новом ковырнулось нечто, возникшее встречей. Скользкое и поперек ладони. Окаменелость. Пропарав насквозь неглубокую кожу, ушло, мягко, как

женское тело. Будто живое повернулось навзничь внутри стены.

Стена беременна, осознал. Прошлым сегоднешний день человек. В поиске внятного дернулся в сторону. Внятного не возникло. Была тишина.

В беременном теле должно ожидаться живое, услышал в себе человек.

Он терпел молчание дальше, угнетенно рассматривая то, что оставил ему капитальный ремонт. У него врожденный порок памяти. Поэтому ремонтники уничтожают все, что было какое-то время около него. Капитальное раз в месяц общественно необходимо. Общество заботливо воздействует на малый его человеческий мир. На весь жизненный Блок. На все. Кроме Холодильника.

Холодильник — антикварная ценность. Застрахована поперек времени давним прадедом. На тысячу лет вперед Холодильнику обеспечено особое электропитание. И семьсот шестьдесят — из тысячи лет — терпят сквозь себя примитивный агрегат.

По ночам холодильник навивно мурлычет. Иногда человек, тот, что рядом в данный момент, осознает его невразумительный зов и ищет для холодильника Что-то.

У Холодильника имеется Внутрь, ее нетрудно найти. Внутрь открывается первобытным светом наружу. Там живет небольшой управляемый холод. Холод переживает длинное время веков — непонятно зачем. В холод можно что-то поставить. Например, любимую долгую вещь. И человек, найдя себе долгое, ставит его внутрь Холодильника, и тот благодарит монотонной песней. Холодильник застрахован от пытки временем. Мир изменяется в свежие стены, и остается лишь Старая Вещь.

Вы когда-нибудь искали Старую Вещь рядом? Рядом ее всегда не хватает. И вы одушевяете личные стены в Прошлом. Чтобы оно вас запомнило и возродило для кого-нибудь через тысячу лет.

Но дочь, уходя навсегда, все равно потребует у матери:

— Ухожу. Дай мне память. Покажи мне всех, кто меня проявил.

Но вам давно уже нечего дать.

Психорадио икало и лихорадило. МЫ... МЫ...

Отвратительно. Каждый раз чувство, будто на тебе тайком подменили белье на чужое.

МЫ ПОЗА... МЫ БО... ИМСЯ...

Человек усмехнулся. Даже психорадио барахлит. И пару букв сэкономила Эхослужба. Отлично. Теперь он сосредоточится на собственном доме. Хотя сосредотачиваться на проблемах незаконно.

Но возможно, пока Эхослужба разыскивает потерянные буквы.

От прежнего в доме осталось окно. А он надеялся, что окно заменят. Все же он сорок третий в четырнадцатой очереди второго порядка. Ежедневная смена стекол ему уже не по карману. Он льготный на вытяжку-жалюзи.

ЗАБОТИМСЯ... ЗАБОТИМСЯ!..

Зачастило. Отдышалось и всплыло на поверхность. Чтобы заглушить в себе присутствие забот, человек шагнул к окну. Стекло, уловив платежеспособное приближение, почернело. Человек поторопился бросить в счетчик монету, чтобы посмотреть, что снаружи сегодня.

Черная слепая плоскость, затянув раму предварительным свежим раствором, мягко выплавилась во вне. Стала видна погода.

Сегодня без изысков. Ясно. Прозрачно. Холодно.

Ветер, объяснила чувство Память. Посреди ветра жует медленное лошадь.

Чувство осталось голым — человек не помнил ни ветра, ни остального.

Человек осторожно втянул ствол форточек. Надо же. Нормально. Почти без атмосферы. Никаких отрабатанных энергий и патологических реактивов. Проветрить, пока не хлынуло. Может, вытянет наружу этот убогий Знак Качества. Знак на стене — наверняка комиссия сверху. Или даже Патронажное Око.

Жалюзи капбригада куда-нибудь слевачила. А он надеялся больше не видеть Калейдоскопа.

Калейдоскоп поворачивался. Плыло — вверх, вниз, в глубину. Взлетало и опускалось. Скользило. Сегодня только контейнеры.

Огни контейнеров подстегивали в нем неускользающую тревогу. Там не бывает лошади. И ничто не сыплется и не летится. Но оживает Память.

Не стоит менять стекло.

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ...

Сделать вид, что засыпаешь. Что согласен быть сорок третьим в четырнадцатой. Что рад оплатить собой любые радиозаботы. Что в восторге от убудочного Знака на потолке. И никогда не вскал в стенном мусоре доисторических штучек. И не перестраивал Блока — техническое в одно, органическое из стен — в другое. Что все еще впереди, и он, чтобы продолжить Человечество впредь, даже закажет кювету с младенцем.

Психорадио встрепенулось. Человек почувствовал, что его настойчиво притишают: он позволил слишком много иронии. Сейчас начнут собирать компромат. И позаботятся сверх плана.

Придумать себя свежим стеклом, раз не вставили жалюзи. Гладкое, ровное, свежезалитое. Психозо соскальзывает наружу. На Свалку. Ищет себе цель меж мусорных контейнеров.

Нет, нет. Без иронии. Искренне. Радужно.

Он стекло. Замечательное бронестекло. Стойкое. И даже пока прозрачное. Он может противостоять законному смогу двадцать четыре часа. Он — препятствие экодиверсиям и излучениям.

Он выдержит и страх, и бездумный рефлекс покоя. Он снова и снова заставит себя отречься от четырех отремонтированных стен во имя мучительной боли. Других за такое наказывают. У них в паспорте инвалидность — врожденная память. С ним труднее. В нем память от того, что он рожден не в кювезе. Он рожден женщиной.

Когда память — больно. Она бывает из Прошлого или из того, что только будет. Прошлом не кончается дольше. Наверное, оно длиннее того, что было впереди.

Он хочет знать будущее. И когда узнает все, тогда, может быть, мир изменится.

Хочу видеть лошадь.

Душа просила себе из древнего-жизни. Но Память вздохнула в лицо беспощадным. Хлынул мрак — угловатый, заросший иглами зданий.

Лошадь... — заплакала, отступая, душа.

Но в него вошел тяжкий запах подземных корней, не видевших солнца. Корни сползли вглубь, спрессованы в точку, сжались в общий бескровный кулак.

Человеку нужно сквозь сгущенную почву прочь от корней. Трудоемкий полет ползком. Дышать землей возможно лишь медленно и надрывно. Вдох — скрежет песка по трахеям. Выдох — горький от глины.

Кулак корней ушел в глубину, корням не осталось надежды. Вдох. Вместо песка — пустота. Что ж, он будет дышать пустым.

Наждак асфальта, бетона, панельных стен. Он с ожиданием касается их, чтобы разбудить. Ладонь оставляет стене свою кожу — живое впиталось светлым пятном.

Где я мог видеть белые тени? — мучается в нем Память.

Пронзенные окнами здания. Окна друг в друге, напротив, рядом, окна 'в окнах — до бесконечности. Будто отражается взаимными зеркалами одно и то же лицо.

По зданиям пробежало движение — открылись все форточки разом. Чтобы окна имели точки зрачков. Город взглянул в самого себя.

По стенам скользит бордовая тень — это человек растворяется в подсонном мире, чтобы видеть себя целиком.

С изнанки зданий — меридианы дорог. Меридианы переломаны и ведут в Никуда. Там, где Никуда, — ураганный сквозняк. Там Вселенная пролегла спиной к Мегаполису. Безлюдно. На крышах — тень Неба. Край Неба оборван.

Ушли и оставили, пугается человек.

Зрачки окон сдвоены темнотой. Темнота неприятно сползает в глубь зданий. И он видит в ней внезапное: форточки смотрят в него дальноточными орудиями. И удивляется беспредельности хаоса: ведь окна могут расстрелять лишь окна напротив.

Стало ясно, что внутри сна он не имеет прав. Он должен быть Памятью и не может присутствовать действием.

Пусть, соглашается он. Ружьям полезно смотреть друг другу в дула. Он запоминает, как выглядит дуло внутри.

Город вздрогнул новым движением. Человек покосился на форточки, но бежало не там. Ниже. Оставляя в сумерках желтые блики, из подъезда крадучись скользнул двуглазый фонарь.

Бедняга, пожалел его человек. Прятал свет в нежиле.

Здания раздвинулись в площадь. Город снова прицельно замер.

В бликах стекол воспалились ожиданием поколения лип. Мегаполис истирал их асфальтом тысячи лет, превращая в стекло людей, изгладил жизнь прочь, оставив зеркальные силуэты.

Тысячи лет прицелы торопят остывшее время, угадал человек. Страх войны нас уплостил в тени.

Вверх со дна площади потянулся невысокий дождь. Фонарь заорел в его влагу и пустил провода в глубь асфальта.

Он так одичал, что почти ожил, опять пожалел человек.

Родился ветер, качнул фонарю глаза. Желтое сморгнуло влагу и, повернувшись, посмотрело в человека. Лампы, накалившись на миг, ярко вспыхнули живым.

В форточках тускло и тайно светился металл, и тело медленно осознало: Город выстрелит прежде, чем солнце, упав, качнет Мегаполис.

В человеке заплакала память о будущем. Не надо, молила память, не надо больше. Мы иссякли не насовсем. Мир гложет хаос, а после нас крадется убийство.

Я же не знал, что мы так безобразно бессмертны!

Красное сафари на Желтого Льва

...бег по Саванне толкает в полет две скользящие тени небом накрыли траву он повернулся сказать под нами рождается дождь посмотри...

...бег по Саванне рядом покой и мерная сила безгрявая гладкая желтая обернулась увидеть...

...навстречу ему два глубоких янтарных огня бег по Саванне...

Тьма выдернула звезды из-под лап. Изнанка тьмы обожгла наждаком. За изнанкой недвижно толпились углы.

Лев замер. В лицо горячо вздохнуло пространство багровых закатных сумерек. Вспыхнули, позвав, два желтых всплеска.

Родившийся под лапами ветер качнул глаза фонаря.

Лев взглянул в плоский свет вблизи. Вселенная свернулась кольцом, чтобы вернуть его в начало пути.

Зажмуриться, чтобы не увидеть обмана. Закричать обездоленным голосом. Отвернуться во тьму — по сравнению с тем, впереди, тьма уже не бездонна.

Раздвигая гривой багровеющий воздух, Лев шагнул на асфальт.

Ослепляюще взвыли сирены. Оживший автомобиль взрыл асфальт колесом. Захохотала автоматная очередь. Грохот выгнул Город в мениск. Окна навстречу едино вспыхнули красным. Суженные зрачки бойниц прыгнули смертью.

Лев вздохнул:

— Я заблудился.

Он просил прощения у Лап, Хвоста и Кисточки на конце себя. Углы подступили к горлу. И лапы Желтого Льва коснулись Желтой Саванны.

Бордовое в окнах атомно лопнуло. Плоские лица отделились от ненужных больше прицелов и удивились началу конца.

— Господи! — взмолился человек своему сну. Пусть лучше Город насытится мной и исчезнет!

Звезды кончились.

11.

Всхрапнул Холодильник, разбудив сон в отремонтированной комнате. Человек тупо посмотрел на звучащее.

ВЕЩЬ, — немедленно включилось психорадио. — ДАВНО НАДОЕЛА. МОЖНО ДОРОГО ОБМЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ АНТИКВАРНЫЙ ФОНД. НА НЕДЕЛЮ В ЦЕНТРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ.

Человек представил себя убаженным отовсюду. Обоняние. Осязание. Желудок. Все вполне подверглось воздействию удовольствий. Не найдя в себе места, которому от чего-нибудь не могло не стать приятно, он с отвращением осознал: цивилизация всесильна.

ХОЧЕТСЯ ОСТРЕНЬКОГО? ПОЖАЛУЙСТА! ПРАВДА, ДОРОГОВАТО — ЛЮБОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЮТСЯ, А ДОНОРОВ НЕ ХВАТАЕТ. ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВИНКУ — БЕСКОНТАКТНЫЙ СЕКС. АХ, ВАМ НЕ ТАКУЮ ЛЮБОВЬ, А ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ? ЭТО ПО ДРУГОМУ КАТАЛОГУ, ПОЖАЛУЙСТА, ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ И ДРУГОЕ.

КАКОЕ ХОТИТЕ ИСПЫТАТЬ НАСЛАЖДЕНИЕ? ЗРИТЕЛЬНОЕ? СЛУХОВОЕ? А, ДЫХАТЕЛЬНОЕ! И ЧТОБ НЕДОРОГО. ПОНЯТНО. НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ. СЮДА, РАЗ ВАМ ДЫХАТЕЛЬНОЕ. ВСЕГО ЛИШЬ В БЕЗВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ТОЛЬКО НА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ. ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ ВЫ ВРЫВАЕТЕСЬ ОБРАТНО. И МУЧИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗДУХ ВЗРЫВАЕТ ВАС ИЗНУТРИ. ЗАПАХИ ПОМОЙКИ РАДУЮТ, КАК ВНЕЗАПНО ЖЕЛАННАЯ ЖИЗНЬ, ВЕРНУВШАЯСЯ ПОСЛЕ ОБМАНУВШЕЙ СМЕРТИ. ВЫ СЧАСТЛИВО ДЫШИТЕ МИНУТУ, ДВЕ, ЧАС И ДАЛЬШЕ, ВЫ СЧАСТЛИВЫ НА ВСЕ ДАРОВАННОЕ ВАМ ВРЕМЯ.

ЗДОРОВЬЕ? НУ ЧТО ВЫ! ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ ВАМ ТЕЛО ОБРАТНО.

Человека затошнило от сладкого бытия.

В конце концов он не один. У него есть Память. И Холодильник. И Стены.

ОН распахнул наивно тарахтящий примитивный куб. Внутри ясно и безветренно. Холодно. Погода и климат. И странно, что погода и климат никогда не меняются и не вращаются Калейдоскопом. Можно приоткрыть — ненадолго — еще один объем, малый. Там сохраняет себя морозное Нечто. Память объяснила: снег. Слово показалось неповторимым, терять его из себя не хотелось.

Нетакой человек произнес быстро вслух:

— Снег...

...снег вдоль деревьев вдоль снег вдоль дороги вдоль город забылся в снегу снег опускается в смог снег заглушает стон снег сквозь меня сквозь...

Человек вжался в объем морозильника — уместилась лишь ладонь. А хотелось полностью и навсегда.

Ему нечего положить в снег, кроме себя самого. Но явится бытиспекция, вытряхнет тело навзничь, что-нибудь из него разбив при повороте или в дверях, а комнате назначат свежее излечение. А если не разобьют и разморозят до прежнего страдания, то выселят все равно, и Старая Вещь достанется другому.

...верх поднимается снег
падает
в белой пене
плывут шорохи
тонут в белом...

Память. И ее слова. Утихают медленно, вспарывая человека. Боль, сужаясь, уходит. Нетакой плачет оттого, что она не осталась рядом. С болью можно жить. Боль в одиночестве становится другим.

У вещи скверный характер. Пока тарахтит — паралитично трясется, внезапно перегорает и внезапно самоизлечивается, рыдает время от времени под себя длинными лужами. Не имеет одного колеса из четырех. Старая вещь инвалид.

Как и я, подумал человек. В ней тоже что-то не так. Или во мне. Я ищу в этом холоде, хотя ничего не оставлял.

Но пока инвалид урчит доисторические мерные ругательства, человеку кажется, будто в нем есть необходимость.

...снег
падает
в белой
пене...

За окном — цунами. Черно-бордовое. Он предпочел бы белое. Белые шорохи. Но общественные вкусы формируются свыше. Поэтому сегодня черно-бордовое.

Не-Так, отойдя в пустую от вещи сторону, провел по стене холодными пальцами, чтобы оставить влажный след своего присутствия. В руку толкнулся мягкий бугор.

Шелковистый.

Задышал небольшими легкими.

Гибко шевельнулся и выпрыгнул из стены в комнату.

Не-Так вспомнил, что недавно стена была беременна.

Кошкой, подсказала Память.

Не-Так отдернулся в безопасность. Не может быть. В стене только прессмусор Свалки. И ничего больше.

А откуда ты знаешь, что выбрасывают на Свалку? Но Кошек не бывает уже тысячи лет. И тысячи лет живого не рождает ни живое, ни мертвое. И ничто не бывает на самом деле беременным.

А может быть, кошки живут в стенах. И не только кошки.

Сопrotивляясь здравому, человек ощутил внезапное облегчение.

Рожденное стеной приблизилось к Холодильнику, чтобы тронуть усами вблизи. Отжало усы белым углом и ласково мяукнуло.

— Что?.. — испугался человек.

Но это, с усами, человеческого не услышало. Затахтело вторым голосом Холодильнику. Два доисторических существа запели хором.

Тоже мурлычет. Как Старая Вещь. Вещь. Наверное, потому и вышла, что давно не слышала похожего. Или искала, и вот нашла.

Это не просто Кошка, раз ждала тысячи лет в Стене. Это Идея Кошки. Праматерь всех кошек. И исчезнуть из мира не может.

Праматерь. Не так уж сложно. Он тоже рожден женщиной. Наверное, у родившей его вне законов тоже была Идея.

Пракошка потянулась усами в стороны, проверяя, все ли нужно для возрождения имеется рядом. Рядом ползал длинный хвост.

Я хотел увидеть совершенное. Снег. Или Льва. Или другое, не похожее на меня. Чтобы подошло и поверило, хотя бы во сне. Человек ощутил неловкость собственного присутствия. Я не готов к последствиям. Совершенному мне от себя предложить нечего. Она понимает и правильно не видит меня.

Пусть, согласился человек. И попросил: но пусть у Идеи будет собственное имя.

Пожалуйста, с готовностью откликнулась Память. Варвара.

— Это что-то значит?

— Значило. Чужая. Или Дальняя.

— Хорошо. Это подходит. Я позову... Варвара?

К нему не повернулись.

Хвост около Кошки существовал отдельно и вполне самостоятельной жизнью. Он изнуял себя высоким пилотажем — вверх, вниз, вбок. Стремительный танец.

— Всё? Или опять никогда? — спросила у Хвоста Варвара.

Хвост, заблудившись в виражах, тряхнул раздраженным черным концом и указал им обратно в стену.

Неужели там есть что-нибудь еще? — попятился взглядом человек. Или даже много? Там мусор. Спрессован настолько, что все хочет вылезть обратно и соглашается жить среди Человечества. И мир скоро заполнится всяким, рожденным на Свалке.

Может быть, новое окажется спасительней для мира, чем мы.

Не-Так почувствовал, как быстро устает в нем логика, чтобы освободить место ожиданию нормального чуда.

— Вечно ты что-нибудь теряешь, — прошипел кошке ее Хвост.

Не-Так посмотрел на стену. Потерянное могло быть только там.

Стена капнула кошковой тенью, небольшой и в по-

лосочку. Тень, увидав над собой черно-бордовое окно, встала дыбом, приникла к Стене и плоско затаилась. Полоски торопливо притворились мелкими оконными квадратами. Окна сгруппировали Здание.

Этого бы не нужно, огорчился человек.

— Мимикрия! — дернулся Хвост. — Позор! Убери это и иди сюда! — Он энергично ругался.

Тень отважилась и заползла под свою кошку. Хвост, описав нервную спираль, заявил:

— Варвара, этот мир отвратителен. Посмотри в это так называемое окно — там же конец света. И где у него подоконник? На чем мы с тобой должны сидеть по ночам?

Варвара не согласилась:

— Мир так легко не кончается.

— На помойке мне нравилось больше. Там иногда пахло тухлой рыбой. Без шестивалентного хрома.

— Когда-нибудь нужно решиться, — зажмурилась Варвара. — А то не дождешься. Кроме того, нас пригласили. И до сих пор не стремятся прогнать.

— Кто? Этот дряхлый короб? — Хвост приподнялся над Варварой и замер в гневной вибрации. — Он пуст. Там нет запахов. Там вымерло даже время. Нам отсюда ничего не предложат.

Варвара молча наступила на Хвост лапой. Хвост тут же завозмущался около корня. Варвара объяснила Холодильнику:

— А в стене он вопил, что ему тесно. Что негде развернуться. Что зажимают.

Хвост вырвался из-под лапы, чтобы молотить по полу. Варвара вязким движением вспрыгнула на Старую Вещь. Хвост продолжал протестовать молча. Тень, отстав, заблудилась, побегала вдоль углов, пронзительно пожаловалась, слегка проявилась мелкими холодильничками и догнала свою кошку наверху.

Кошка, ее Хвост и их Тень воссоединились в Живое.

— Это, под нами, — Варвара вытянула одну правительственную лапу, — приятно для сидения. — Вытянула вторую, легла. — И для лежания. Оно будит нужные воспоминания.

Варвара осмотрела с Холодильника помещение, скользя по затаившемуся человеку с равным бесстрашием.

Длинное с черным концом позади вскинулось в возмущении:

— Какой в этом смысл? — Упав через край, длинное временно зависло.

Варвара подтянула свесившееся обратно в личную тень и усмехнулась:

— Я — Пракошка. И вполне способна найти себе смысл. Не всегда для смысла нужен Кот. Я в конце концов Идея. А Идея может жить без Кота, без Тени и даже без Хвоста.

— Миллион лет в стенах! — страдал Хвост. — Самоубийство!

— Мы не убиваем, — возразила Варвара. — Мы ждем. Ждем, пока станы разреятся в тени и теням вернется их рассыпанный прах.

Я не нужен, испуганно понял человек. Живое обходится без меня. И я уже не могу создать какую-нибудь пользу даже во сне. Я не искуплю их собою. И зря терпел муку Памяти. Эти, Живые из Стены, даже не смотрят в мою человеческую сторону.

Он взглянул на Стену, на которой затаилась его огромная черная тень, грузная и безгласная. На тени слабо мерцали незаконнорожденные подражательные полоски. Ощувив человеческий взгляд, тень дрогнула, стирая с себя чужое, и немо возвратилась в нечто.

— Можешь остаться с живыми, — разрешил он Тени.

И приготовился шагнуть из пустоты прочь.



В черно-бордовом его мусорное тело всосется пресом, и мертвое вторично умрет. Вторсырье оформят в единую среду, куб воскресят для хозяйственных этапов. Покрасят в цвет электрик. И он станет болтаться в Калейдоскопе учебным пособием, пока не ляжет гранью в чей-то блок, жилой или мертвый.

Сможет ли тогда из Стены, содержащей его бывшее, что-нибудь вышагнуть? Хотя бы Тень?

Я не гожусь даже для мусора, определил себе отсутствие смысла человек.

Он хотел отвернуться от себя. Он искал взглядом место, не причиняющее боли.

Бордовое впереди заглушилось неожиданным пятном. Пятно не имело правильных углов и не торопилось соскользнуть выше или ниже. Оно осторожно и ненавязчиво постучало в форточку.

Человек поверил не сразу. Маленькая фигурка ждала за чернеющим стеклом. Вращение Калейдоскопа постепенно оттягивало ее прочь.

Мальчик, понял человек.

Он выжал раму телом.

Ребенок. Мимо. Я должен успеть. Четыре минуты. Хватит одной.

На плечах у мальчика спал вокруг шеи котенок.

— Я падал,— объяснил мальчик.— Долго.

— Ты можешь говорить! — испугался человек.

— Я очень долго не мог никуда упасть. Я только стучался, а мне не открывали.

Голос ребенка был серьезен. Слова означали не знаки труда или быта, а сами себя и еще дальше и глубже. Человек слышал в них знакомую Память и раскрытое пространство.

— У тебя хорошо,— сказал мальчик.— У тебя много. А я, наверно, падал со шкафа. Ты теперь — папа?

Осторожно, чтобы ничего не разрушить непоправимым шевелением, Не-Так кивнул.

Он не может сейчас говорить слова. Он всегда догадывался, что слова умеют внезапно убивать. Лучшее потом, когда он сумеет себя разоружить. Тогда он скажет слова — про снег. Про Лошадь и Желтого Льва. Про цвет морской волны. Даже когда-нибудь про м а м у и Рика — потом.

Папа. Да.

У него была мама. Поэтому он теперь — папа.

Он очень бережно уложил ребенка рядом. Мальчик приткнул в свое малое тело сонного котенка. Можно было ненадолго заснуть.

Сквозь оцепенение сна Не-Так видел, как, держа на отлете окаменело замерший хвост, осторожно подкрадываясь к ним Варвара.

Значит, все-таки видит. Значит, я еще есть.

Варвара мягко прыгнула, задев хвостом, лицо, хвост отдернулся от человека с ругательством, кошка осторожно прихватила у спящего котенка шкуру и исчезла в Стене.

Про Варвару тоже нужно рассказать, подумал человек и смог наконец отдохнуть.

12.

— Внимание! Сообщает Интер-Инфор! Многие люди Человечества, те, кто в данный момент не заняты в созидании Потреблений и Производства, собрались на Главной Площади Здания. Все ожидают События. Порадуемся за всех, кто сможет пронаблюдать его в естественных условиях, порадуемся за отдыхающих, облачившихся ради События в выходные респираторы и яркие защитные костюмы. Внимание! Для тех, кто по уважительным причинам не может присутствовать при Конце Света непосредственно и лично, Интер-Инфор ведет трансляцию

прямо из центра будущего События. На возвышении среди Площади заканчивается демонстрация новых моделей гермошлемов «Вечная ночь» — видимо, Событие приближается. Техники готовы врубить Репродукторы Воодушевления. Внимание!..

МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

— Внимание! Интер-Инфор! По предложению Патронажного Ока последнее слово предоставляется Небу. Внимание.

Человечество — левое плечо вперед — по команде Репродукторов Воодушевления повернулось респираторами вверх. Человечество дышит немо и плотно. Ожидает неразличимыми пятнами лиц.

Прощальная симфония вверху затихла.

Одно плечо крамольно поинтересовалось:

— Ладно, конец. Предположим. Но мусор-то — куда?

Небо невидимой тряпкой вытерлось в небывалый серый тон. Серое дохнуло сверху жутью. Однотонного Неба никто никогда не видел. Человечество затаило дыхание, готовое вскрикнуть единым криком. Занавес Неба зашевелился, и с него заскользили прежние рои контейнеров.

По лицам прошлестело разочарование.

Плечо, невзирая на всеобщий гипноз, упорно пыталось отстоять личное недоумение:

— Так что ж, все так и останется, что ли? Света не будет, ладно. А хлам? Помойку — куда денут?

Про хлам никому не интересно. Интересны растущие Стены, ставшие дальше видимых пределов. Общественное напряжение торопит их чем-нибудь завершиться. Места запроданы задолго назад. Человечество дышит вперику и строго по команде — у каждого внутри общий на всех регулятор. Дежурная добровольческая группа, вызвавшаяся обеспечить Концу Света идеальный порядок, уже сменилась несколькими поколениями. Выручка за места потрачена Зданием на достойное оформление. Здание себя иллюминировало. Стены, где-то невидимо сплотившись в точку, вспыхнули яркими лозунгами. Стало видно, как Город затягивает Небо балконами. Над Площадью остро заплескалось электричество.

— БЕЗ ПАНИКИ, ТОВАРИЩИ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! — объявили репродукторы общественный покой. — КОНЕЦ СВЕТА МОЖЕТ УВИДЕТЬ КАЖДЫЙ! КОНЕЦ СВЕТА — ПЛАНОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ ДОСРОЧНЫМ ИТОГОМ.

Город над головами сомкнулся. Ах, вот что, ахнула масса, потолок! УРА ПОТОЛКУ!

Солнце исчезло. Неоновые всплески засуетились. Снующие контейнеры строились по ранжиру. На новеньком Потолке засияли слова детского рок-гимна.

— НАШИМ ДЕТЯМ — УРА! — возгласило Воодушевление.

На головы Человечества обрушился фейерверк.

— Конец света, а ничего страшного! — разочаровалось Плечо.

Респираторы рядом зашевелились. Лица с дыхательными шлангами искривились, как знаки вопросов.

Одно лицо обрадовалось первым:

— Ничего и не кончилось. Наоборот, праздник. — И выкрикнуло свое счастье общепонятно: — МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ! Теперь мы совсем вместе под одним потолком и начнем жить в одной комнате!

— Даже помереть не смогли... — сожалело Плечо.

— СОБЫТИЮ И АВАРИЙНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ — УРА-А-А, ТОВАРИЩИ!

По Площади прокатилось требуемое. Его смяло чье-то совсем детское:

— Не хочу-у-у!

Просквозила пауза. Лицо, догадавшееся первым, взбодрило:

— Даже удобно — весь мир в большой одной Комнате!

— Балаган! — заскандалили рядом.

— А санузел? — спросили откуда-то. — Не совмещенный?

— Конец! Какой, к черту! — поддержало скандального Плечо. Собственный голос взвизгивал в нем раздражение и злость. — Хлам! Был и остался!

Сверху зазвучало, объединяя внимание:

— Интер-Инфор берет интервью у Первого Монтера Человечества. Первый Монтер — первый во всем: и в производстве, и в потреблении. Товарищ Первый, сообщите своему Человечеству, как вы гордитесь доверенной честью.

— Я горжусь! Я... — Человек в альпинистском снаряжении захлебнулся. — Я всю жизнь! Мечтал! О Конце Света! И готовился! Физически! — Он оттянул тугие ремни и отпустил их громким щелчком. Хотел торжественно помолчать, но вспомнил: — И морально!..

Репродукторный голос подсказал:

— Покажите Человечеству то, что вы держите своими осторожными, но умелыми руками.

— Я держу лампочку! И я донесу! Обязательно! До потолка! Не разбив ни разу!

Репродукторы грянули;

— УРА ПЕРВОМУ МОНТЕРУ!

Человек в альпинистском снаряжении упруго перебежал в бронетранспортере Площадь и бодро полез в нем на стену.

— ВНИМАНИЕ! Наш замечательный Первый Монтер не позволит нам остаться в темноте. КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОШЛО! Через четыре часа восемь минут нам засияет Самая Большая в мире Лампа! УРА НОВОЙ ЭРЕ И НОВОМУ СВЕТУ!

— ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! В эту минуту уже известно каждому — наш мир стал Большой Комнатой. Передаем первые Комнатные Новости. Началось строительство Всемирного Стола. Его строит бригада восьмисот четвертого этажа. Бригада верхнего этажа взяла встречные обязательства на строительство Всемирного Стула... НОВОЙ ПОЛИТИКЕ — НОВУЮ МЕБЕЛЬ!

— Наш корреспондент сообщает из Подвалов Здания. Здесь, в суровых подвальных условиях, происходит разработка интереснейшего научного эксперимента. Слово Ведущему Экспериментатору.

— Давно требует практического воплощения идея замещения Мусора на уже готовые блоки Фундамента.

— Вы полагаете, что природные запасы контейнеров могут когда-нибудь иссякнуть?

— Что вы! На мой научно-практический взгляд, такая возможность у Человечества исключена. Проблема в другом: прессовка Мусора сегодня не является самым экономичным способом строительства Фундамента Здания. Гораздо дешевле брать уже готовые блоки из устаревшего фундамента и надстраивать из них верхние этажи.

— Спасибо. Будем верить, что ваша замечательная идея успешно воплотится в Практике. ОБНОВЛЕНИЮ — НОВЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ!

— Сообщение из Утиль-Центра. Прием извлеченного из Стен антиквариата, как то: вещей доисториче-

ского быта, костей вымерших существ, пластин с язычковыми примитивными надписями, а также древних газет и инструкций — производится до девятнадцати сорока трех. Для желающих при разрешении Патронажного Ока осуществляются за особую плату шифры на личных квартирных стенах. Возможно одновременное страхование от несчастных случаев и капитальных ремонтов. **ПРИБРЕТАЙТЕ ГАРАНТИРОВАННУЮ ЛИЧНОСТЬ В ПАТРОНАЖНОМ ОКЕ!**

— Внимание! Передаем Спецобращение к гражданам Общей Комнаты. Группа экстремистов женской национальности осуществила побег с Крыши Здания, предварительно попытавшись захватить мусоролайнер. Двух удалось доставить в Центр Психомоделирования. Один экстремист самоубился, нырнув в неостывший после прессовки куб. Семерым удалось скрыться в неопознанном направлении. Поиски продолжаются. Просьба к населению Общей Комнаты соблюдать осторожность: предполагается, что экстремисты заражены беременностью. **ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН ПЕРВОГО ЭТАЖА: В ЦЕЛЯХ КОМНАТНОГО ПАТРИОТИЗМА СМЕНИМ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ НА ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ!**

— ВНИМАНИЕ! Центр Удовольствий предлагает населению новую услугу — ГЕДОНОМОРТИРУМ. За передачу личного счета в собственность Общей Комнаты все желающие могут перед Уходом в Небытие испытать счастье одновременного удовлетворения всех неудовлетворенных при жизни желаний. Цель нашей Комнаты — наиболее полное удовлетворение потребностей. Ждем первых клиентов! **РАЗОВЬЕМ НАШИ ПОТРЕБНОСТИ ДО ПОЛНОГО ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ!**

— Сообщение Интер-Инфора. Конец Света положил начало Новой Политике. Мы, Человечество, приветствуем новое Патронажное Око! Мы приветствуем обновление в целом! **ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОБЩАЯ КОМНАТА, СЖИМАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ОБЩУЮ ТОЧКУ!**

13.

Мальчик дочитал страницы, замурованные стеной.

— Варвара, можешь закрыть, — попросил он.

Книга в стене мягко ушла вглубь. На миг высветилось слово на обложке: БРЭДБЕРИ.

Я запомню, подумал мальчик и посмотрел в окно. За окном длился Ласковый Дождь.

— Мама, — позвал мальчик без надежды.

В стекло бились струи.

Они прозрачны, и это мама, подумал маленький человек.

Большой человек, ушедший в стену, думал другое: стекло в окне разноцветное. Но всегда мертвое. Мальш, хотел сказать человек, не нужно звать к себе мертвое. Но мальчик уже повернул руль окна. Стекла разбегались в стороны. На стороны осела медленная влага, и дождь оказался теперь прямо на лице мальчика.

Когда я был жив, с неба падали яды и мусор. А теперь брызги летят прямо в меня. И в него. Варвара, ты слышишь воду? Мир меняется — это правда?

Пракошка дернула хвостом где-то в невидимой глубине стен. Мир был слишком мокр, чтобы она заговорила. Стена чувствовала, как Пракошка лежит на книге, на которой написано: Брэдбери. И ей почти хорошо, хотя немного сыро. Варвара, там — живая вода. Так кажется моему мальчику. Может быть, отвернулась Варвара. Распахнула страницы, тронула

усами: здесь по крайней мере сухо. И ушла в желтые пустыни Марса.

— Мама,— повторил мальчик свой неверящий зов. Чтобы яснее услышать ответ, прижался щекой к падающей воде.— Тебе никто не открыл. Иди в мое окно, мама.

— Здесь раньше жил Не-Так,— уговаривал он.— А потом его не стало. Он не такой и не ушел в Гедономортирум. И в Мусор тоже. Когда за ним пришли, он шагнул в стену, а тень от него спряталась под холодильником. Но потом она заскучала и тоже ушла. Наверно, она его уже догнала. Она была легкая и чуть полосатая. Я немножко с ней поиграл.

— С теньями всегда проблема,— фыркнула внезапная Варвара. Она выскочила из книги и приблизилась к окну.— На Марсе отвратительно. Там тоже последствия цивилизаций.— Она медленно внюхалась во влагу.— Дождь... В этом мире. Странно!

— Это мама, правда? Она так ласково гладит... Правда, Варвара?

— Правда, если тебе так хочется.

— Варвара, ты приходишь. А почему не может вернуться Не-Так?

Варвара прижмурилась, делая вид, что дремлет. Опять они спрашивают. Вместо того чтобы думать самим. Естественно, он не может вернуться. Для этого надо быть хотя бы немного ПРА.

А я не смог, думал бывший человек. Я слишком много молчал. И соглашался. Соглашался, пока мог, чтобы оставаться рядом. Чтобы мальчика не отравили на метаморфозы. Чтобы не стряслось ремонтов и переделок. Я молчал и соглашался. Я лгал. Я боялся. Пракошка входила в мои сны и гоняла там лапами по полу маленькие планетки. Я надеялся, что жизнь не растворит меня так внезапно.

Разве бывает живая вода за стеклом? Там плавится в сумерки смерть. Стекло от нее чернеет. А мой сын прижался лицом. Он может погибнуть. Я не успел с ним поговорить.

Уйди от окна, человек. Закрой его. Забронируй.

— Мама,— еще раз попросил мальчик, стоящий навзничь к дождю.

Дождь гладил его.

Мальчик был жив.

Мальчик ждал долго. За окном перестало литься, и потянулось серое и ровное. Теперь капало внутри. Отсырел потолок, и мальчик видел, как вода, медленно удлинняясь в крохотный сталагмит, отпускает от себя каплю.

— Наверное, прохудилась Крыша.

Он по привычке оглянулся, чтобы сказать о важном событии взрослому.

В комнате накрапывал дождь. Заблестел пол. Захотелось поставить под него что-нибудь глиняное и чтобы в горшке было молоко. И рядом развернутый горячий хлеб.

— Может быть, ты мама? — спросил он влажное.— Поверила, что я жду, и вошла в окно. И теперь останешься в моей комнате.

Он прижался спиной к стене. Стена попыталась обнять, приближая дальний потолок. Мальчик увидел потолок совсем близко.

— Я вырос,— сказал он стене.

Пока стена оживала ответом, солнце на потолке вспыхнуло и разлетелось осколками.

— Темно... — позвал мальчик что-нибудь живое.

Но Человечество давно сократилось в Единую Точку, оставив только мерцающие полужизнью стены. В одну из них ушел Не-Так, не захотевший сокращаться до Точки. А мальчик остался потому, что когда-то долго стучался в окна. И потому, что ему открыли.

— Тогда я сам, можно? — спросил мальчик.

До потолка досталось неожиданно и легко. Не понадобился даже забытый Человечеством Всемирный Стул. Мальчик начал вкручивать в патрон новое солнце, но потолок медленно рассеялся пылью, закончив свой дождь.

— Все рассыпается, потому я один и маленький. Я плохо собой согреваю мир, и мир начинает болеть.

Мальчик нашел одеяло и натянул его на стену, где иногда бывает Варвара. Погладил под одеялом бездомную плоскость. Стена заплакала от собственного сиротства. Варвара ушла сушиться за окно.

Мальчик испугался, что она будет теперь очень долго падать, но за окном стало иначе.

— Наверно, началось дно мира,— подумал маленький человек. Варвара ступала лапами по дну легко и твердо.— Жалко, что я не могу никому этого показать. Мое Человечество уменьшилось в Точку, а Точку куда-то заиграл Варварин котенок.

Мальчик выглянул незащищенным лицом наружу.

— Дождь уже не плачет мамой. И я вижу небо и землю сразу.

Варвара вернулась в окно. Снаружи было мокро, как во времена ее праюности. Пожалуй, стрекозы к вечеру будут звучать особенно громко. Сегодня можно помурлыкать даже для человека.

Они сидели рядом, не касаясь друг друга.

За окном над пустынным и нищим застонал длинный журавлями летящий клин. В клине было семь наполненных жизнью точек.

— Там летит! — крикнул мальчик.

— Я же тебе мурлыкала, а ты не понимаешь,— сказала кошка.— Мир перестал быть сквозным и бездонным. В нем появилось основание.

Мимо окна пролетела женщина.

— Я тоже! — позвал он ее и оттолкнул утлой рукой свои узкие бедра.

Но ноги крепко держались за землю.

Варвара терпеливо мурлыкала.— Ты не можешь быть тоже,— объясняла она. Потому что эти женщины несут в себе жизнь.

— Я тоже... — упрямо повторял небеременный человек. Он не верил видимому на себе телу. Он знал, что нужно есть и в нем.

Мальчик взлетал локтями, утлое не держало. Беременный клин окончился мимо. Иногда клин вскрикивал над немощной землей свою боль. Боль звучала на забытом языке.

— Я тоже,— плакал мальчик в ту пустоту, куда окончился человеческий клин.

Потом он стирал со Стен, Стула и Стола пыль, которая раньше была потолком. Теперь над ним плавало в проломе небо. Пыль колослась мелким и острым. Он сгреб ее в близкую горсть. В горсти пыль оказалась ровно кубической.

— Контейнеры,— услышал мальчик собственный голос.— Такие маленькие и совсем не цветные.— Он смотрел на острый от клина след в небе.— Я могу,— поверил он.— Внутри меня тоже что-то живет.

...он останется ждать посреди родившей его земли хотя бы для того, чтобы в ней не закончилась вера.

Маленький человек снял со стены одеяло и завернулся в него, чтобы было теплее ждать. Белое хрустело сгибами, как скорлупа. Спиной он прижался к той стене, в которую исчез Не-Так и которая поэтому не разрушилась. Он хотел, чтобы Не-Так его чувствовал. Когда он заснул, внутри белых складок прокралась мокрая Варвара, за ней вполз мокрый котенок.

Мальчик свернул в общий клубок то, что осталось с ним рядом и пыталось как-нибудь жить.

— Так уже было,— пробормотал он воспоминание.— Но падать уже нельзя. Надо идти.

14.

Над разрушенным домом без потолка пролетала Большая Семейная Птица, держа в уставших лапах огромное переросшее Яйцо.

— Ма, скоро? — спросило Яйцо ломающимся басом.

— Подожди... Кажется, есть! Но, похоже, там уже что-то белеет. Может быть, это место кем-нибудь занято.

— Тогда положи меня к нему в гнездо.

— Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Семейная Птица спланировала в глубь покосившихся стен.

— Великие Дожди! — ахнула Птица.— Подкидыш! Он же, наверно, совсем замерз!

Она подтянула под себя белое одеяло. Подростковое Яйцо закатилось под Птицу самостоятельно, ворча что-то независимое — у Яйца был переходный возраст.

— Ну все, сын.— Птица распушилась в горячее тепло.— Вот мы и дома. Можно начинать мир.

Послышался нетерпеливый стук изнутри. Скорлупа треснула.

Начало

— Иди к нам,— сказала Пракошка Варвара Желтому Льву.

— Я умер,— грустно объяснил Лев,— потому что убит.

Варвара засомневалась:

— По-моему, от тебя длится.

Лев поискал вокруг себя чего-нибудь. Было темно.

Пракошка села копилкой, погладилась своими полосками и усмехнулась.

— Длится — что? — Лев вдруг испугался, что умер неправильно.

— От тебя длится вглубь — Желтая Тень, а вверх длится Душа. Ты вполне можешь идти к нам ими.

Невозможно, испугался Лев и шагнул. Из земли в Льва впрыгнула Тень, а сверху охотно вдохнулась озябшая без тела Душа.

Лев согрел холодное.

— Я опять родился? — спросил он.

— Этого я не знаю,— зажмурилась Пракошка.

— А дальше как? — спросил Лев.

Он оглянулся туда, где Тени всегда параллельны Львам. Там оставалось вечно, темно и тихо.

Варвара вышагнула из копилки, потянулась и сбросила с себя Полосатую Тень.

— Всегда хотелось поносить что-нибудь желтенькое,— проворчала она, покосившись на Льва. И отправила свою Тень догонять вполне желтую Тень Листа.

Лев замер.

— Ты... — Он хотел быть деликатным.— Тебя — тоже нет?

— А ты как думаешь? — усмехнулась Варвара.— Кому-то же надо все охранять. С двух точек зрения проще.

— С двух? — Лев не понял. Наверно, Пракошки могут думать только прамыслями. Он попробовал для проникновения посидеть копилкой. Варвара не одобрила.

— Эта поза не выражает Львов.— Про две точки она промолчала. Лев терпеливо ждал, пока в Варваре народится новая прамысль. Удовлетворившись паузой, Варвара объяснила:

— Жизнь только может. А помнит — прах.

— Мне казалось, что мочь — важнее,— удивился Лев.

Пракошка фыркнула в сторону насмешкой:

— Так многие решают. И живут, не умея научиться. Потому что не помнят. Две точки — это помнить, чтобы правильно мочь.

— Наверное, очень трудно совмещаться в двух местах сразу,— зауважал Лев и интеллигентно превратился в львиного котенка, чтобы не очень возвышаться над Пракошкой.

— Трудно,— согласилась Варвара,— но не слишком. Чтобы жить вечно, надо каждый день умирать.

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

Повесть Леонида БОРОДИНА «Расставание».

Неопубликованные главы из романа В. ВЕРЕСАЕВА «Сестры».

Вторую часть романа Владимира ВОЙНОВИЧА

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» —

«Претендент на престол».

Повесть Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА «Искушение».

Главы из романа Владимира МАКСИМОВА «Заглянуть в бездну»,

в центре которого судьба адмирала Александра Колчака.

«Юность» открывает новую рубрику «Зарубежный бестселлер»

повестью Эрика СИГЛА «История любви», по которой

был снят один из самых популярных фильмов 70-х годов.

У НАС ДВА ВОПРОСА

Анкета «Юности»

Виктория ЧАЛИКОВА,

сопредседатель клуба «Московская трибуна»

1. Просто другая жизнь, а человек прежний. В этом суть и источник всех внутренних конфликтов. Из подполья, «из глубины» я и большинство моих друзей вышли на поверхность и, как глубоководные рыбы, стали задыхаться от кислорода. Наши тексты пошли в открытую печать прямо из самиздата и спецхрана. Работу о запрещенном Оруэлле я «засунула» в спецхран своего института в 1985-м, потому что была абсолютно убеждена: ее никогда не напечатают. Не вера в лучшее будущее толкала на риск — верность прошлому, лучшему в прошлом.

Но сменился не только тип публикаций — сменился жанр, жанр работы и жанр существования. Неожиданно ты становишься участником «неформального» движения, автором листовок, деклараций. Вдруг пронзает тревога за свои же слова. Когда твоё слово, искаженное локатором площади или трибуны, может отозваться эхом возбужденной толпы, хочется замолчать, снова уйти в глубины. И хотя одно из моих занятий — политология, Бог миловал, пока, при ясном ощущении бездны между тоталитаризмом и демократией, профессиональным кретинизмом не больна. Жизнь не сводится к полюсам. Есть и ностальгия по утраченному времени, по времени, а не по сталинизму. Эд. Лимонов талантливо передал это в романе «...У нас была великая эпоха», опубликованном недавно в «Знамени».

Впрочем, в последнее время, при всем разгуле гласности, свобода слова вновь жестко лимитирована основной концепцией, выйти за которую не позволит ни один редактор. Прежде была концепция «развитого социализма», ныне — «прогнивших структур». К примеру, мне говорят, что статья о закавказской ситуации логична, убедительна, но печатать ее нельзя: там не клеятся «прогнившие структуры». Но я видела беженцев, они задирали рубахи, и я видела, какие «прогнившие структуры» спасали в Баку наши солдаты и офицеры.

С меня требуют поддержки движения за суверенитет — я всей душой за это, но не понимаю, почему от разбитых в райкомах окон и затоптанных служащих образуется суверенитет.

Хорошо, что есть и независимая пресса: там нет цензуры концепций.

Третья ипостась «другой жизни» означена для меня словом «Мемориал». Поначалу он явился для меня организацией, а мальчиком с сотнями тысяч карточек об исчезнувших в бездне террора. Не приди другое время, Диме Юрасову долго бы не прожить — начались бы обыски и угрозы.

Сейчас «Мемориал» — это не одно только большое и сложное движение, не только вагон метро, уткнувшийся в журналы с «Архипелагом...» — вся наша жизнь озарена этой встречей живых и мертвых.

Наверное, сильнейшее из пережитого за эти годы — Неделя совести в Доме культуры МЭЛЗ: светящаяся во тьме карта лагерей, лагерная тачка, наполняемая лептой скорби, плачущие люди с номерами лагунктов — и лица, лица со стен, а над всем этим звук трубы.

Горький праздник.

А потом все изменилось: кровь Сумгаита, не оплаканная и не осужденная, отворила вены насилию. И расколола интеллигенцию: защитник Закон и государство или отказаться, так как оно неправомерно.

Три года назад еще были безликие «они» и иллюзорно подобные в своем противостоянии «им» — «мы». Но спектакль «развитого социализма» кончился, оказалось, что актеры и зрители перемешаны. «Ах, ребята, все не так, все не так, ребята!» Песни — остались.

2. Я человек суеверный и о 2000-м годе ни думать, ни говорить не буду.

P.S. Забыла отчитаться. И за 3, и за 5 лет, как и за предыдущие 25, не сдала в печать ни одной своей книги. Только несколько коллективных.

Вячеслав БУТУСОВ,

рок-музыкант

1. Для меня последние пять лет — необыкновенно большой срок. От архитектора со «связанными» руками и несчетным количеством невоплощенных идей я прошел путь к профессиональной сцене, где эти идеи вырвались наружу через музыку. Я обрел внешнюю свободу, которой так не доставало, в остальном же остался совершенно прежним.

2. По натуре я — пессимист, который очень хочет стать оптимистом. Поэтому мой прогноз таков: к 2000-му году долгожданный интернационализм станет единственно приемлемой формой существования человечества. В искусстве, к примеру, это возврат к классике, в музыке — к рок-н-роллу... Благодаря этому обществу наконец лицом к человеку, индивидууму, заглянет в его душу и задумается над его проблемами. После 2000-го года произойдет поворот от социализма к капитализму в сторону принципиально нового общественно-политического строя, который к тому времени будет изобретен и научно обоснован. Надеюсь, это будет не утопия. Он сделает людей счастливыми, каждый займет в нем свое заветное место.

Верю, что в 2000-м году я раздам наконец все свои долги — буду больше заниматься семьей, бывать с родителями и друзьями. Что касается музыки и песен, то здесь изменений не предвидится. Все, что написано (было и будет), — о любви. О любви к природе, животным, человеку. О том, что люди должны понимать и любить друг друга. И через десять лет, уверен, эта тема останется главной, только обострится.

Аркадий АРКАНОВ

1. Мне присуще честолобие. Я это знал и до 1985 года. Я не люблю бежать со всеми вместе в каком-то направлении. Не люблю и не любил коллективно что-либо выигрывать. Проигрывши в одиночестве всегда предпочитал коллективному выигрывать. Массовое веселье пугало меня. Возможно, этот рефлекс возник и закрепился в День Победы 9 мая 1945 года, когда мама потащила меня на Красную площадь. И вот у входа в метро (рядом с рестораном «Москва») ликующая толпа поднажала на конного милиционера, он, охлаждая пыл, стал размахивать шапкой (в ножнах) и случайно шлепнул меня по голове... Впрочем, это было давно... Но и сегодня все массовое вызывает во мне чувство тревоги. И не только тревоги. Экзальтированная толпа, приветствующая своего кумира, не стабильна и не надежна. Это напоминает мне стадионный восторг по поводу выступления «Ласкового мая» или даже Майкла Джексона. Свое отношение мне приятнее высказать либо в отдельном письме, либо пожатием руки за кулисами. Так что с этой точки зрения мое «Я» не претерпело никаких изменений. И все-таки... Пошло на убыль желание выступать и вообще заниматься так называемой сатирой. Она стала принадлежностью массовой культуры и проникла во все виды искусства. Гласность лишила ее формы. Но что за искусство впрямую со сцены ругать партию? Констатация факта никогда не считалась искусством. А масса, помоем, сегодня считает констатацию факта высшим проявлением искусства... С другой стороны, лед тронулся настолько, что реально представить себя народным депутатом или членом парламента, хотя заниматься политикой не имел и не имею ни малейшего желания. И в то же время стало реальным получить топором по голове... Весной снималась одна телепередача, вдруг из подъезда выскочил мужчина с топором в руках и с криком «Снимают тут всяких кучерявых пидерасов!» перерубил кабель... Потом, правда, извинялся и говорил, что на него что-то «нашло»... Так что интересно!..

2. Двухтысячный год представляется мне в тумане. Думаю, что процесс распада «Союза нерушимого республик свободных» будет продолжаться. Не исключая, что в двухтысячном году мы снова построим социализм и снова «в одной, отдельно взятой стране». Как говорят префрансисты, «все зависит от расклада»...

Юрий БОЛДЫРЕВ,

народный депутат СССР

1. Взаимосвязь свободы общества и свободы личности зависит от иерархии ценностей, культивируемых в обществе, — личность превыше всего или есть что-то выше личности? Поэтому говорить можно с двух позиций: как свободная личность влияет на свободу общества либо как нужно организовать общество для того, чтобы нам раскрепостить личность. В этом плане мы находимся в некоторой тупиковой ситуации. Мы не можем решить общих проблем в силу того, что у нас нет этой движущей силы — свободного человека.

Без экономической свободности личностей нет политической свободы общества, но отсутствие реально действующих законов, не позволяющих этим личностям возникнуть, сдерживает развитие общества. Их появление воспринимается другими людьми как нечто из ряда вон выходящее, нечто обособленное, из другого теста. И они часто оказываются в роли отщепенцев, вырвавшихся из этого общества уравниловности, задержанными борьбой за самих себя.

Что касается лично меня, то я сначала решил стать экономически независимой личностью, а уже потом начал что-то предпринимать. То есть определить для себя, что главное — это не материальный достаток, а возможность заниматься тем, что меня действительно интересует. Я решил сломать «историческую» цепочку — вуз, работа по приобретенной специальности — и уйти из технического института в социологию, психологию. Я мечтал о том, что буду жить экономически скромно, но стану читать умные книги, стараясь понять, что и как. Теперь же ничего не успеваю читать, а только занимаюсь парламентской деятельностью.

2. Гражданское общество, без которого нам ничего личного не построить, базируется, как я уже говорил, на индивидуальности. Это традиционная западная идеология. У нас же традиции более восточные, есть что-то выше человеческой личности — бог, царь, коммунизм, — неважно что. И с учетом того, как развиваются события, нас ждет что-то страшное. Почему? Потому что исчезают эти сверхидеи, которые были моральными факторами, сдерживающими распад общества. Если же мы скажем, что нет ничего выше личности, то тогда от этих сдерживающих факторов вообще ничего не останется. Попытка удержать людей экономически невозможна — мы бедны. Попытка же удержать призывами приведет к необходимости пропагандировать какую-то идею, которая опять же будет выше человеческой личности, и тогда — прощай, гражданское общество. А, видимо, такая попытка будет предпринята, поскольку общество постарается оградить себя от утечки мозгов. И скорее всего единственная идея, которую можно попытаться использовать, — это националистическая идея. В силу того, что после прихода к власти демократических сил, кстати, не имеющих настоящего демократического мировоззрения, правые окажутся в действующей оппозиции и будут набирать очки.

Я уже сейчас чувствую себя как человек, оказавшийся между двумя враждующими армиями. И как человек, призывающий не к бунту, а к самоорганизации, буду нести призыв туда, куда донесется мой голос.

Наталия КОРСАКОВА,

лауреат Конкурса молодых скрипачей
в Клостер-Шентале (ФРГ) и Конкурса имени
Г. Венявского и К. Липиньского в Люблине

Такое интервью у меня первое. Обычно можно знать заранее, какие будут вопросы, да еще обязательно пойма-

ют после концерта, когда выложишься... За все время один был хороший вопрос: вы как скрипачка и как человек — это двое или одно? (Я ответила — это одно.) И все-таки приятно, когда спрашивают...

1. Я считаю, что если уровень жизни опустился, — то это от падения уровня свободы мысли и творчества. Мне трудно представить себя на месте поколения старших, но скованность мысли и страх творческого начинания были в нем сильны.

Когда перестройка открылась, мне было 12 лет, и я не могла осознать ее значения. Осознавать стала в последние два года. Я с перестройкой не «перестроилась», я с ней просто — по возрасту — началась. Я всегда старалась делать дело на совесть, как мои родители. Творческая профессия — это обязательно работа от души. Если ты художник — то будь хороший художник, если музыкант — то только хороший. Другое дело, что появились новые стимулы: конкурсы, поездки, концерты, выбор репертуара... (Ведь даже некоторые сочинения Шостаковича нельзя было исполнять.) Путь на большую эстраду проходит через международные конкурсы. Отбор был не всегда объективен: пропускали одних, а премии потом получали все равно другие. А сейчас можно ехать самыми разными путями и просто за свой счет. Это обязательно — видеть, что тебя слушают, что игра нравится, что пресса пишет о тебе... Если похвалит неудачную игру, — ничего; все равно сама знаешь, что была не на высоте. Но заслуженная похвала обязательно нужна!

2. Я бы хотела, чтобы Россия — или даже Русь — была. Не знаю, реально ли это до 2000-го года. Слишком уж мало времени. Если бы сорок лет! Чтобы у нее были президент и парламент — я все-таки республиканец. Чтобы перестройка коснулась не только области искусства, где она уже сказалась благотворно...

Я вижу красивые архитектурно, чистые города. Доброжелательных, улыбчивых людей, занятых трудом, плоды которого видны. Улицы с рекламой концертов, хотя и без рекламы, залы переполнены.

Суть России — колокольный звон. Не могу себе этого до конца представить — звон над целым городом, — но очень хочется.

Себя в 2000-м году мне представить трудно. В общих чертах: позади будет консерватория; буду играть на скрипке, хотела бы еще дирижировать, — доставлять радость своему народу и всем народам.

Вышел фильм с участием Светланова и моего отца, под названием «Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако». Вот хороший девиз для жизни.

Хотелось, чтобы то, что приходит, шло быстрее и побеждало. Многие мешают, а столько надо в корне изменить... Если бы я могла помочь! Буду делать свое.

Юрий ПОЛЯКОВ

1. Минувшие пять лет не дали моему поколению — во всяком случае, его размышляющей части — какого-либо качественно нового знания об истории Отечества и постигшей народ трагедии. Мы всегда сознавали: речь Ленина на броневике — не Нагорная проповедь, остальное же — печальное следствие этого. Но прошедшие пять лет показали, что историческая трагедия может стать рингом для новой схватки за власть, когда, схоронившись за чьим-то надгробием, можно ловчее пристукнуть соперника берцовой костью одного из слепых поводырей, которых все почему-то считали и продолжают считать вожжами. Нынешние события подтвердили догадку, что в революцию идут самые лучшие и самые худшие. Причем после того, как осядет пыль, обыкновенному человеку приходится иметь дело с худшими, ибо именно они приспособлены к борьбе за власть. Наконец, это пятилетие показало: всякое обновление общества — это обязательно разумное сочетание разрушения и реставрации. И только контрреволюция способна осуществить замыслы революции. Но контрреволюция без революции невозможна — и в этом жестокая мудрость истории. За эти пять лет мне удалось на страницах «Юности» высказать то, что я думал. Но пришлось также тяжкое понимание: не умея сказать всей правды

и не обладая ею, но говоря читателям лишь доступную тебе часть этой правды, ты способен как открыть людям глаза, так и ослепить их. Воистину: как именно твое слово отзовется, предугадать заранее невозможно. Кого-то это наполняет азартом и гордыней, у меня же от этого в душе озноб и тревога.

2. Очевидно, к рубежу XXI века мы придем, кляня теми же самыми страстями и противоречиями, что и сегодня. Возьмите пять лет перестройки, помножьте на два, и вы получите то самое десятилетие, которое отделяет нас от нового века. Вот и все.

Но если накопление противоречий в обществе будет идти с таким же ускорением, а перестройка все так же сводиться к призывам жить по-новому и дружно, то, возможно, как и предсказывают некоторые политологи, росткам демократии придется прозябать под мощной кроной авторитарной власти. Думаю, именно в это десятилетие произойдет замирение всех здравомыслящих сил. Одни поймут, что без подъема национальных чувств еще не обходилось ни одно национальное возрождение (октябрьские события таковым не считая). Другие поймут, что националистическая спесь и поиски чужеродного беса — наиболее короткий путь к краху. Самые замечательные открытия происходят не только на стыке наук, но и на стыке идеологий. Самой мощной политической силой рубежа веков будет, по-моему, христианско-демократическое движение.

Наконец, уверен, что к XXI веку проблема товарного дефицита в нашей стране будет решена, и правительство сможет все силы бросить на борьбу с недостатком у населения денежных знаков.

Михаил КУРКОВ,

реставратор, директор совместного
государственно-кооперативного предприятия
«А-тон-Банк»

1. Мое норильское воспитание подготовило меня к переменам. Было же ясно, что родители не святым духом туда попали. Хотя идеал социализма был неколебим, по схеме: Сталин плохой, Ленин хороший. Теперь видишь, насколько марксизм ограничивает кругозор человека. Правда, он начинается с детских сказок, где богатый непременно плохой, а бедный хороший. Глубеко укоренена эта простота взгляда на вещи! А я всегда испытывал уважение к обеспеченным людям, если только они не делают из этого фетиши.

Под занавес «застоя» попал я на Соловки. Начальником реставрационного участка. Радио там не работало, газеты приходили плохо, портретов и лозунгов, как везде в Москве, не было — полный идеологический вакуум. Вспоминаю, как проводили собрание островной парторганизации на тему «Союз нерушимый республик свободных». Там — по моему докладу — высказались за учреждение компартии России и даже отправили решение в обком!

Что же сегодня? Во всем в последние годы проявляется соразмерность меня и государства. Сколько делается — столько платится. Официант становится снова только официантом. Исчезает социальная перевернутость, получается социальная справедливость.

Государство уже не кажется тотальной силой, способной раздавить и уничтожить. То есть способна, конечно, но относиться к этой возможности уже как-то иначе — с вызовом, что ли. В «Росреставрации» — так сказать, в госсекторе — я это почувствовал. Я там был на слуху: то у меня взорвется что-нибудь, то загорится, и всякий раз меня «согласовывать» приходится. И вдруг я чувствую, сидя с начальником за одним столом, что могу назвать его... дармоедом, например. И вот я это говорю и думаю: что же это я говорю? Однако продолжаю: как это вы, мол, будете меня согласовывать?.. И т. д. А теперь те же начальники у меня кирпич выпрашивают в обмен на что-нибудь (я тут кирпичный заводик купил), а я им: да что с вас возьмешь, берите так!

Конечно, это не кооперация, а частная собственность, и для большей свободы так и надо ее называть. Я капиталист. В том смысле, что беру на себя ответственность за людей в условиях конкуренции. Если кто-то сидит с ребенком, он получает пособие — может быть, это и капитали-

стические отношения, но это сначала человеческие отношения. Я ничего не делаю для обогащения — меня, поверьте ли, захватывает процесс производства. Я начинал с нуля, ни у кого ничего не взяв, а теперь могу отреставрировать памятник старины и отдать его детям, что, согласитесь, совершенно безвредно. Мы не нуждаемся во внешней оценке своего труда. Можешь сделать столько — делай. Можешь больше — давай. Работа идет на церквях и монастырях, и это уже награда.

2. Мы вернемся на землю, к своим богатствам, к ответственности. Национальное самосознание примет прикладной, конкретно-хозяйственный, связанный с устройством земли, с традиционными в данном месте занятиями характер. Уйдут планы всеобщего спасения, привычка глобализма. Такой земский идеал. Но именно идеал — не прогноз. Вряд ли что-нибудь изменится к лучшему за десять лет...

Самому мне хочется быть респектабельным. Производить материальные ценности путем реставрации памятников. Средства и авторитет направлять на благое. Благое и конкретное. Хочется счастья и гармонии в узком кругу близких. И еще. На Соловках, да и в Норильске, было больше неба. Я хочу жить под широким небом.

Александр БЛИНОВ,

редактор независимой рижской газеты
«Советская молодежь»

1. Я не очень люблю оглядываться назад. Хотя, попадется вдруг номер нашей газеты за 1985—1986 годы, — смотришь на него с удивлением: боже мой, мы ли это делали?!

То есть, конечно, мы. Любой редактор — а я стал редактором в то застойное время — меня поймет. Я находился в кольце странных ограничений, справок, запретов, инструкций, объяснений... Я научился писать в жанре справок, которых наверху никто не читал, а просто они должны были иметься в наличии. Это была бумажная видимость жизни, а хотелось делать газету. Партия и комсомол считали нас своими солдатами, а солдаты, как известно, получают три восьмидесят в месяц. Но мы были более честолобивы и знали, что, наверное, стоим тысячу долларов.

В 83-м году мы опубликовали стенограмму одного рабочего собрания, которое в конфликте с начальством обратилось за правдой в прокуратуру. Нам устроили выволочку: мол, если бы материал назывался «Пришлось обратиться в райком партии» — это одно; но «Пришлось обратиться в прокуратуру» — это непотребство. Нас обвинили в организации... «Солидарности». Мы же почувствовали внезапно, что не так это страшно — идти в бой. Я никогда не боялся снятия. Но я боялся унижения, когда утро начинается со звонка завсектором ЦК партии, который указывает тебе, как котенку... Когда ты обращаешься на «вы», а к тебе на «ты»...

В этом ирреальном мире мы пытались искать свою дорогу, постоянно преодолевая барьеры самоцензуры, поднимая планку возможного. Пьесу «Дальше, дальше...» мы печатали одновременно со «Знаменем», за что были вызываемы в ЦК ВЛКСМ... Уже в 84-м году мы помещали некомментированную информацию, например, интервью с конгрессменами США, бывшими как-то у нас в республике. Мы начинали понимать, что не надо учить читателя жить. Нам было по 25, мы мыслили вместе с читателем, открывались ему в своих сомнениях и мучениях, обретали его доверие, как зачин. Мы были уже готовы к перестройке и встретили ее с распростертыми объятиями. Эти пять лет мы поднимали газету, и мы ее сделали. И более того, добились независимости, по крайней мере политической: снимаем «шапку» «газета комсомола Латвии», будем «газетой молодежи Латвии». Притом 450 тысяч нашего тиража (из 789!) уходят за пределы республики. Судя по этим цифрам, мы самая популярная республиканская молодежная газета в СССР. Считаю, что мне повезло: в нужный момент я оказался на нужном месте и тем счастлив.

2. Я не хочу, чтобы это было похоже на ситуацию, какую рассчитал А. Кабаков в киноповести «Невозвращенец».

Хочу свободной жизни в свободной стране. Очень не хочу, чтобы мою судьбу решали махновцы в папахах, ни ребята

с двуглавыми орлами, ни аппаратчики в тройках. Очень верю в Латвию и Россию, их взлет.

Но до нового тысячелетия осталось всего десять лет. Успеет ли? Или придется уехать к черту, где нас никто не ждет? Или, может, начать верить в НЛО? Помогут ли братья по разуму?

Я думаю, эти братья — мы сами и сами себе должны помочь.

Анатолий КОВАЛЕВ,

первый заместитель
министра иностранных дел СССР

1. Личное особенно плотно срослось с судьбой страны. В дипломатической профессии — это не только впитывание всем существом нового мышления, но и возвышающая душу повседневная работа на него, на нашу перестройку. Еще и какое-то чувство на кончиках пальцев в переговорах, беседах с зарубежными партнерами — тебя как представителя страны, совершающей обновленческие процессы, понимают, доверяют ее политике.

Строкой своего стихотворения, напечатанного в Вашем журнале год назад, — «Самое время жить!» — я выразил свое восприятие того, что произошло за эти пять лет. Это — самое время жить — пришло ко мне крайне поздно, как, уверен, и ко многим и многим людям, придерживающимся сходных мыслей и чувств.

Человек я уже немолодой. А вот моложе был, но действительность наша была совсем иная. «Окаянная застылость» — это другая моя строка из публикации 1981-го года.

В этом контрасте — не разница во времени, а разница времен.

2. Поток событий бывает столь стремителен, разворот судеб столь крут, что они порой богаче фантазии самых дерзких сказочников, драматургов, дотошных прогнозистов-ученых.

Я неисправимый оптимист. По натуре. Убежден, что жизнь Родины, народа нашего на перекате к третьему тысячелетию просветлеет: исчезнут и теневая экономика, и теневая политика, и теневая нравственность.

Думаю, что мир отбурлит атакизмами прошлого и войдет в берега.

В наследство нашим детям и внукам перейдут сохраненные и обогащенные общечеловеческие ценности, способность осмысливать и действовать с невиданных понятий высот цивилизованного общения. И, как естественная предпосылка всего этого, — неизуродованная планета, на которой люди умеют дружить, влюбляться, понимать друг друга.

...Будут и серые дожди, и грозы, и радуги. Главное, чтобы вступающие в жизнь не переждали свершения себя и могли чистосердечно сказать и себе, и другим: не окаянная застылость, а самое время жить.

Олег РУМЯНЦЕВ,

сопредседатель Социал-демократической ассоциации,
народный депутат России

1. К 85-му году я пришел человеком-против-насилия. Первополчком была демонстрация в память Джона Леннона на площадке перед университетом 21 декабря 1980 года, когда мирное собрание со свечами и песнями, полное духом очищения, было пресечено с избиениями и заламыванием рук. Я... убежал, потрясенный.

Отсчет пятилетия я веду не с апреля, а с лета — с фестиваля молодежи и студентов, где я был консультантом при венгерской делегации. Фестиваль был апогеем идиотизма системы, апогеем соцплановости, соцзаконности, социолодости, — в общем, живой Оруэлл. Все было запрещено, просвечивалась каждая мысль, каждый контакт... Тогда во мне и произошел окончательный надлом, когда я понял, что индивидуально противостоять этому вопиющему государственному хунвейбинизму недостаточно, нужна организация честных сил. Я стал искать возможности участия в деятельности, сначала называвшейся нелегальной, а потом мягче — неформальной. И нашел,

придя на заседание, практически первое, клуба «Перестройка», впоследствии «Демперестройка». Моя жизнь приобрела новое, осмысленное, концентрированное направление. Я бы определил его как активнейшее содействие пробуждению гражданского общества. Это когда в местах скопления хомо советикус зарождается хомо нормальный, существо биологическое приходит в лоно общества. Мы держали руку на пульсе общества, этот пульс совпал с моим, и я испытал вдруг огромное счастье.

Свою свободу я обрел необычным образом. За отказ участвовать в оперотряде на Играх доброй воли я был на год лишен права выезда за рубеж, где у меня была невеста. Это было испытание, или искушение. Я не всегда решился звонить в Венгрию из квартиры, ходить в посольство. «Связь с иностранкой»... Взяв ее в жены, я снял внутренний барьер и в этот момент ощутил себя свободным человеком, каким ощущаю и сейчас. Я сделал выбор в пользу души, а не комсомольской характеристики. Важно и то, что глазами жены, которая могла ездить на родину раз в год по приглашению матери, я открыл всю бездну падения системы. Стыд за нас перед близким человеком стал одним из главных внутренних мотивов моей активности. И остается, несмотря на то, что мы с женой расстались впоследствии, когда я выбрал еще раз — между возможным личным счастьем на родине жены и трудной борьбой в России...

2. Прежде нужно сказать о десятилетии перехода к 2000-му году, когда, видимо, не обойдется без трех — пяти лет авторитарного правления. «Нежной» революции не будет, будет тяжелая работа по формированию новой культуры — культуры терпимости и свободного выбора. Хотя мало предоставить свободу выбора — важно уметь воспользоваться ею. Выработка в обществе этого навыка — вторая сторона задачи.

Моя мечта — чтобы из нынешней крайности нашего существования мы не перешли в крайность сверхпрагматического подхода к жизни, когда деньги становятся главным стимулом. Часть молодых уже цинична, напориста и бездуховна, и на эту завтрашнюю почву хорошо ложится культ денег. Напротив, на сегодняшней почве может воплотиться социал-демократическая модель. Моя мечта — общество в равновесии свободы, справедливости и солидарности. Равенство в нищете не позволяет быть солидарным, солидарность — это скорее когда богатый жертвует нуждающимся. Мало сегодняшнего нищенского милосердия — я мечтаю о милосердии более свободных и более обеспеченных, справедливых людей.

Мы обязаны добиться творческого диалога между западничеством и почвенничеством. Коллизия человека и общества, государства и личности была актуальна везде и везде решалась или решается. Но у нас есть еще коллизия двух социо-культурных типов, и от исхода их встречи зависит разрешение судеб России. Для меня как политика и как парламентария — а я хотел бы и в 2000-м году быть российским парламентарием — эта проблематика особенно актуальна. А в душе мой этот вопрос решен. Я горжусь тем, что я русский. Я горжусь тем, что я демократ.

Александр БЕК,

депутат XXI съезда ВЛКСМ

1. Пять лет назад я закончил МФТИ, распределился в Институт химической физики АН СССР и ни о какой политической деятельности не помышлял. Даже традиционной комсомольской работой не занимался. В 1988 году вошел в комитет комсомола института, но не по политическим мотивам, а по поручению коллег. Была возможность молодым семьям получить ссуды. Мы решили, что можно быстро, без лишних трудозатрат сделать это через комсомол. На этом свою деятельность собирался завершить, но не получилось. С какого-то момента вдруг стал заниматься политикой, причем сразу по двум направлениям — в клубе избирателей Академии наук СССР и в комсомоле.

Возмутительные действия президиума Академии во время выборов народных депутатов вызвали бурю протеста. Я принял участие в организации митинга, который положил начало созданию клуба избирателей. Мы добились действительно демократических выборов. Все анализы показывают, что наш депутатский корпус — самый прогрес-

сивный среди делегаций от общественных организаций. Сам я тогда тоже выдвигался от комсомола, дошел до собрания в ЦК, где и был успешно остановлен. Участие в избирательных акциях дало очень много для понимания того, кто есть кто. Это хорошая политическая школа. Как у Маяковского: «В коммунизм из книжки верят средние. Мало ли что можно в книжке намолоть!» А такое — оживит внезапно «бредни» и покажет коммунизма естество и плоть».

В комсомоле работа шла сначала по изменению организации в масштабах института, потом по выходу организаций академических институтов из системы райкомов, создания горизонтальных структур вместо жесткого централизма. Нашлись единомышленники среди секретарей комсомольских организаций, участвовавших в Сургутской встрече. И как результат — создание Российской демократической социалистической ассоциации, с которой мы пришли на XXI съезд ВЛКСМ. Одним из наших предложений было изъять из названия «ленинский коммунистический», чтобы объединить в Союзе организации большего политического спектра. Оно не прошло. Отстаивать свои позиции приходилось в условиях жесткого прессинга. Когда мою кандидатуру выдвинули на пост первого секретаря, я взял самоотвод и использовал это выступление для изложения своих программных положений. В череде публичных выступлений оно не было для меня чем-то необычным. За последние пять лет мои убеждения мало изменились, хотя общество, обретающее свободу, раскрепощает и меня.

2. Наше общество находится в ситуации, когда вариантность путей очень велика. Прогнозирование на столь длительный срок в этом случае вещь практически бессмысленная. И меня смущает наша традиция, в том числе и в последние пять лет, опираться на чисто умозрительные, совершенно необоснованные эмоциональные прогнозы.

Что касается будущего комсомола, то здесь какая-то определенность уже появилась. Переход от тоталитарного режима к демократии возможен только с использованием уже сложившихся структур, таких, как партия, комсомол. Отвергать их с ходу нельзя. Скажем, треть пути нужно пройти внутри них. Мне кажется, что эту треть мы уже прошли. Установлены необходимые связи, выработаны программы, сформированы определенные структуры. И в ближайшее время возникнут новые, я не люблю слово «альтернативные», просто новые молодежные организации. Наряду с ними будут существовать и ортодоксальные марксисты-ленинцы, и какие-то аполитичные организации вроде молодежных профсоюзов.

Евдокия ГАЕР,

член Верховного Совета СССР, председатель подкомиссии по сохранению и развитию малочисленных народов, не имеющих своей государственности

1. Для нашего народа человек и природа всегда были на «ты», на равных. У дерева есть душа, у человека есть душа, у зверя есть душа. Все равны и нет среди нас рабов. Вот это и есть настоящая свобода. Нас оторгли от природы, в единении с которой мы жили веками. Нанайцы, как и другие малочисленные народы Дальнего Востока и Севера, были поставлены перед угрозой вырождения. Они гибнут, по-настоящему гибнут. Если республики и автономии еще могут обсуждать разные варианты своего будущего развития, то про наши малочисленные народы можно говорить только о том, будут они жить или нет. И за последние пять лет мало что изменилось в их положении. Сейчас я езжу по Дальнему Востоку и восстанавливаю национальные сельсоветы, которые были уничтожены в недалеком прошлом. Но на многое ли хватит меня одной?

2. Малочисленные народы связаны с судьбой России, и наше будущее зависит от будущего России. Необходимо, чтобы в Конституции РСФСР были оговорены наши права на сохранение нашей самобытности. Я вижу сейчас обезображенную нашу тайгу, погибшие реки, уничтоженные населенные пункты. Сможем ли мы остановиться? Я пока не могу поверить в силу нашего правительства. Совмин же виновник экологических бед. Его министерства и ведомства губили наш край, пока не закричали мы во весь голос: это страшно, это беда! Услышат ли нас? Не знаю. Пророчат и революцию, и гражданскую войну, но разум должен восторжествовать.

Глеб ЯКУНИН,

священник, народный депутат России

1. За последние пять лет мое отношение к Богу, миру, моим основным воззрениям изменений не претерпели. Я сформировался годам к двадцати пяти и с тех пор повел противоборство с той страшной тоталитарной системой, которая давила меня всю мою молодость и продолжала давить, когда я стал священником, ибо система эта господствовала и в жизни церковной. Система со мной расправилась, но, быть может, нести свой крест и есть тот великий удел, который Бог дает христианину.

Что же касается воплощения моих идеалов в жизнь, то тут за последние пять лет произошли поразительные изменения. В восемьдесят пятом, после пяти лет заключения в тюрьме и в лагере, я оказался в ссылке — в поселке Ыныкчан, в пятистах километрах на восток от Якутска. Общественная атмосфера продолжала ухудшаться, и порой казалось, что все закончится как в антиутопии Оруэлла, но когда очередной правитель, как и его предшественник, неожиданно умер и его сменил Горбачев, я увидел в этом судьбу. Да, крутой поворот истории определяют и разного рода закономерности, есть и бесспорно яркие личности, но есть, есть и десница Божия! В восемьдесят седьмом году я услышал по «Голосу Америки», что Горбачев говорил с Сахаровым по телефону, и Андрей Дмитриевич освобожден. Это было поразительно. А затем и я — среди ста пятидесяти наиболее известных правозащитников — был амнистирован, возвратился в Москву, к семье, был восстановлен на службе.

Мог бы сравнить себя с водолазом, который многие годы опускался на дно и вдруг пробкой вылетел на поверхность. А вместо кессонной болезни я впал в эйфорию. Такое чудо случилось. И может быть, под влиянием этой эйфории я настроен излишне оптимистично, но для всех нас, кто участвовал в правозащитной деятельности, великая радость, что те идеалы, за которые мы боролись, хоть и медленно, но, однако, возвращаются в жизнь.

Я баллотировался в народные депутаты России по 11-му Щелковскому национально-территориальному округу, и из девяти кандидатов во второй тур прошли два священнослужителя. Сердца людей сегодня открыты для религии. Рухнули утопические идеалы, и православная церковь — это тот остров неколебимый, который поднимается из глубины российских веков. Но я представлял и широкий блок «Демократической России», который для аппаратчиков, в том числе и церковных, как кость в горле.

В республиканском парламенте «Демократической России» будет противостоять правый блок. В этом блоке и люди славянофильского толка, но лишённые былой духовности российских славянофилов. Свой долг я вижу в том, чтобы по возможности консолидировать участников этого мировоззренческого спора. Наши оппоненты боются, что Россия, перейдя на рыночную экономику — а иного пути, чтобы не остаться голоштанниками, у нас нет, — потеряет свое национальное лицо. Но прошлым летом я посетил Америку, где встречался с митрополитом русской зарубежной церкви Виталием и побывал во многих приходах. Удивительное явление — русские американцы, живущие в благополучии и достатке, не поддались поп-культуре и детям своим прививают любовь к подлинно философской, исторической, религиозной русской культуре, которая неотделима от современной культуры мировой. А что постигали мы, многие десятилетия влачившие свою жизнь за железным занавесом?

2. Год двухтысячный? Если Восток воспринимает путь истории фаталистично, то с христианской точки зрения история творится в сочетании усилий человеческих и божественных (есть такое греческое слово «синергизм», которое передает это единство), да и каждый из нас не может преодолеть свои пороки, немощи лишь собственными усилиями и уповает на Бога, и Бог дает благодать... Я убежден, что самое страшное у России уже позади, что ту великую чашу горя и страданий, которую ей, по-видимому, суждено было испить, Россия уже испила. Уповаю на чудесное возрождение России, подобно как четырехдневно-смердящий Лазарь воскрешен был Иисусом Христом.



Рудольф
ОЛЬШЕВСКИЙ

Чистильщик

1.
Послевоенный городок.
Мороженое, лодки.
Воскресный южный говорок
И чистильщик в пилотке.
Сапожных щеток весел взмах.
Печали — не печали.
В ботинках — черных зеркалах —
Видны его медали.
И небо весело черно,
И воздух пахнет водкой,
Как будто смотрит он кино,
Работая бархоткой.
Не предал черт, не бросил Бог,
Душа работе рада.
А что? Удобно — он без ног,
Сгибать спины не надо.
2.
По ту сторону памяти нету судьбы,
Только утренних птиц голоса,
Только запах смолистый сосновой избы
И трава, а над ней небеса.
По ту сторону памяти двор, и топор,
И дрова, потому что зима
Ожидается. А за дровами забор,
Дальше — золото, желтая тьма.
По ту сторону памяти белые сны,
И летят облака и стога,
И у дядки безногого после войны
Снова вырасти сможет нога.

Чужое время

Мы на свету, а прошлое во мгле,
Исчезли листья, сорванные с веток,
Чужое время. Где-то на земле
В безвестности живет мой дальний предок.
Во всех веках погашено окно,
И гром затих небесной колесницы.
И холодно, и пусто, и темно
Там, где мелькнул когда-то свет зарницы.
Не знает бездна ни добра, ни зла,
Ни Цезаря, ни Данта, ни Шекспира.
Душа лишь смотрит в эти зеркала
На отраженья из чужого мира.
Не ты кумира, а тебя кумир
Создал, не отрывая от истока,
Мой давний предок, посетивший мир.
И страшно жить, но жить не одиноко.

У горного селенья

Садилось солнце, удлиняя тень,
Был запах молока, и трав, и дыма,
У дома, опираясь о плетень,
Старик смотрел на проходящих мимо.
Мужчина в майке у ворот косил,
Ребенок повторял его движения,
И девочка несла в ведре кизил,
И жгли костер, чтобы варить варенье.
И слышали мы дальних пастбищ звон,
И наблюдали птиц, летящих плавно,
Так, только что родившись, смотрят сон,
Привидевшийся матери недавно.
До памяти, до опыта, до слов
Душе уже понятны в колыбели
Сны, где вода и тени облаков,
Кизила цвет и музыка свирели.

Немота

Еще не видно Млечную дорогу,
Одна звезда пробила твердь зари,
Я думаю: «А что мы скажем Богу,
Когда произнесет он — говори!»
Хрустит мороз, звезда, как на иконе.
Что мы ответим, путь отмерив весь,
Когда он нас поднимет на ладони
К глазам и скажет: «Говори, я здесь».
Какую радость вспомнить? Боль какую
Возвысит голос, ощутит висок,
Когда с одной галактики в другую
Прольются звезды, как в часах песок.

Все то, что и значительным, и вечным
Казалось в узком круге суеты,
Не разглядит душа в потоке Млечном,
Когда нам будет голос с высоты.
Пространство неприятно, небо голо.
Одна звезда, а дальше пустота.
Мороз и одиночество. И горло
Заранее сковала немота.

В минувшие века

Когда бы мы, а не случайный рок
Раскладывал пасьянсы сотворений,
Природою мне выделенный срок
В каком бы поместил я поколенья?
Когда б я жил в минувшие века,
В бескрайности небесного потока,
Моя звезда была б наверняка
Не около созвездия пророка.
Но и во тьме нас сотворивших лет
В сиянии божественного лика
Летел бы сквозь пространство слабый свет
И моего неслышимого крика.

Зеркало

И душе моей стало светло оттого,
Что бежал по осенней траве жеребенок,
Что какая-то птица метнулась спросонок
В измеренье иное с пути моего.
На короткий, упавший в безвременье миг,
Я остался один, и меня не пугало,
Что земля свой отсчет повторяет сначала
И что я в этом первом провале возник.
Солнце грело, летели в зенит облака,
И минувшее будущим сердцу казалось,
И трава шевелилась и пальцев касалась,
И живое тепло ощущала рука.
И скользили в сознании мысли, как свет,
Невеселые мысли о том, что случится:
Убежит жеребенок, шарахнется птица,
Оставляя в пространстве серебряный свет.
Он растает, как утром луна, не спеша,
Эхо ночи минувшей, летящее немо
По кривой траектории низкого неба.
Словно в зеркало вверх посмотрела душа.

г. Кишинев



Владимир
ВОЙНОВИЧ

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Книга вторая
ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТОЛ

Рисунки
Геннадия Новожилова

Людей, которые возьмутся сопоставлять приводимые ниже факты с общеизвестными или описанными в специальных трудах, автор просит иметь в виду, что книга сия не является строго научной и пользоваться ею как историческим источником следует с некоторой осторожностью. Может быть, на самом деле что-то было не совсем так или даже совсем не так. Времени после изображенных здесь событий прошло много, и кое-что автор, признаться, порядочно подзабыл.

Автор находит нужным предупредить, что Иван Чонкин, хотя и стоит по-прежнему в центре описываемых событий, на следующем отрезке данного повествования появляется крайне редко. Временно он уступает место ряду должностных лиц районного, областного и всесоюзного масштаба, очень занятых расследованием деяний нашего героя.

Часть первая

Подследственный Иван Чонкин сидел на табуретке у стены по правую руку от лейтенанта Филиппова, но на большом расстоянии от него, ближе к двери. Расстояние определялось инструкцией, предусматривавшей возможность нападения на следователя. Над белобрысой головой лейтенанта висел портрет Сталина с девочкой на руках. Девочка всем своим видом выражала Сталину глубокую признательность за свое счастливое детство. На стене напротив висела цитата из речи Сталина, оформленная в виде красочного плаката:

«Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми...» — прочел Чонкин и, устав от чтения, перевел взгляд на окно, которое было прямо перед ним. Нижняя половина была закрашена белой масляной краской с подтеками, в левом углу было процарапано одно недлинное слово, которое Чонкину приходилось читать и раньше.

Если бы была закрашена не нижняя половина окна, а верхняя или вообще никакая, то Чонкин мог бы увидеть неширокую пыльную площадь и Ньюру, стоящую посредине, раскручивая сумку в руке.

В камере стены толстые, может быть, даже с избытком. Но какими бы они ни были, толстыми или тонкими, человеку кажется абсурдом этот уплотненный слой вещества, отделяющий его от свободы. Не умея с этим смириться, человек бьется об стенку лбом, как муха о стекло, а что толку?

Есть и другая преграда, которая кажется тоньше и прозрачней стекла. Лейтенанту Филиппову стоит разжать губы, стоит шевельнуть языком, стоит произнести одно только слово: «Освободить!», и тут же моментально стены раздвинутся и Чонкин, пройдя несколько шагов, попадет в раскрытые объятия Ньюры. Однако лейтенант Филиппов никогда такого слова не скажет, Чонкин не попадет в раскрытые объятия Ньюры, хотя это, казалось бы, так легко и доступно. Чувство долга повелевает лейтенанту быть безжалостным. Чувство долга не позволяет лейтенанту сказать одно слово, которое двух людей может сделать счастливыми. Пройдет время, и другие люди из чувства долга, может быть, будут безжалостны к лейтенанту Филиппову, будут задавать ему те же вопросы, которые он готовится задать сейчас Чонкину.

А пока Чонкин сидит и смотрит в окно, нижняя половина которого закрашена белой краской. Чонкин не может видеть Ньюру, стоящую на площади, и Ньюра не может видеть его. Его видит ворона, взлетевшая на верхушку полувисохшего тополя.

— Фамилия?

Чонкин вздрогнул, и, оторвав взгляд от вороны, перевел его на лейтенанта, который, занеся над бумагой ручку, смотрел на Чонкина выжидательно.

— Чья? — спросил удивленно Чонкин.

— Ваша, — терпеливо объяснил лейтенант и обмакнул ручку в чернила.

— Наша? — еще больше удивился Чонкин. Он думал, может быть, самонадеянно, что его фамилия лейтенанту известна.

— Ваша, — повторил лейтенант.

— Чонкины мы, — скромно сказал Иван и посмотрел на лейтенанта с опаской — может, чего не так.

— Через «о» или через «е»?

— Через «чи», — сказал Чонкин.

В кабинете лейтенанта была совсем веселая (не сравнить с камерной) обстановка. С треском топились высокая круглая железная печь дореволюционного образца, с надписью в виде эллипса: «Желтозлательный завод Кайзерлаутерна». Волны тепла набегали на Чонкина, располагая ко сну, и вопросы лейтенанта казались лишними и неуместными.

Год рождения, образование, национальность, социальное происхождение...

— Чего? — переспросил Чонкин.

— Родители ваши кто?

— Так ведь люди, — ответил он, не понимая сути вопроса.

— Я понимаю, что не коровы. Чем занимаются?

— В гробе лежат.

— То есть умерли?

Чонкин посмотрел на лейтенанта удивленно: что он, лук ел или так одурел?

— Неужто живые? — сказал он и сделал гримасу, выражающую крайнюю степень недоумения.

— Чонкин! — повысил голос лейтенант. — Перестаньте валять дурака и отвечайте на вопросы, которые вам задают. Если родители мертвые, значит, так и надо сказать — мертвые.

— Вот тоже... — как бы ища поддержки, Чонкин оглянулся на печку, потом на портрет Сталина. — Кабы ты спросил, какие они, я бы тебе сказал — мертвые. А ты спрашиваешь, чем занимаются...

— Не ты, а вы, — поправил лейтенант.

— Мы-ы? — переспросил Чонкин, вконец запутавшись. — Ты про кого спрашиваешь?

— Я говорю, Чонкин, что к следователю, тем более к старшему по званию, нужно обращаться на «вы». Ты меня понял?

— Понял, — сказал Чонкин, впрочем, не очень уверенно.

— Ну ладно, — сказал лейтенант. — Это оставим. Перейдем к другому. Скажи мне, как ты очутился в деревне Красное?

— Как очутился?

— Ну да.

— В деревне Красное?

— Ну да, да, — повторил лейтенант несколько раздраженно. — Как ты очутился в деревне Красное?

— А то ты не знаешь.

— Чонкин! — лейтенант стукнул по столу кулаком.

— А чо Чонкин, чо Чонкин, — стал сердиться подследственный. — Будто ты сам не знаешь, как солдат очучивается где-либо. Старшина послал.

— Какой старшина?

— Ха, какой. — Чонкин развел руками и опять посмотрел на печку, на Сталина, на девочку, как бы

призывая их в свидетели непроходимой тупости лейтенанта. Не знает, какой еще может быть старшина.

— Ну этот же, — сказал он. — Ну как его... Ну Песков же.

— Значит, старшина Песков? — переспросил лейтенант, записывая. — Проверим. А может, не было никакого старшины, а, Чонкин? — Филиппов хитро посмотрел на Чонкина и подмигнул. — Может, ты сам сбежал? Может, ты так решил: пусть мол, Родину защищают всякие дураки, а я умный, я лучше с бабой где-нибудь полежу. Может, так было дело?

— Нет, — хмуро ответил Чонкин. — Не так.

— А с какой же ты тогда целью поселился у Беляшовой?

— У Беляшовой?

— Да-да, у Беляшовой. С какой целью ты у нее поселился?

— Так ведь с целью, чтоб жить с Ньюрой, — объяснил Чонкин правдиво.

Лейтенант встал и ногой отодвинул стул к стене. Он не был доволен результатами допроса, который принимал дурацкое направление. Лейтенант нервничал. Он только утром вернулся из области, где подполковник Лужин всю ночь вынимал из него душу, ввездливо выпрашивая все подробности и детали того случая, когда оперативный отряд под руководством Филиппова в полном составе был захвачен одним плохо вооруженным красноармейцем.

— Чудовищная история, — сказал Лужин. — Нет, я этого понять не могу. Тут что-то не то. Что-то ты от меня скрываешь. Может быть, ты сделал это намеренно, а?

— Зачем? — спросил Филиппов.

— Если бы я знал зачем, — вздохнул Лужин, — я бы тебя расстрелял. Я этого не делаю только потому, что не хочу привлекать к этому делу внимания. Да. Потому что с меня тогда тоже спросят. Так что пока иди, но помни: я могу передумать.

— А как же быть с Чонкиным? — спросил лейтенант.

— С Чонкиным? — переспросил Лужин. — Как быть? Оформить как дезертира и — трибунал. И чтоб я этой фамилии не слышал больше. Никогда. Нет.

Филиппов вернулся в Долгов на рассвете, невыспавшийся и злой. Ему хотелось действительно с этим Чонкиным закончить как можно скорее, а для этого получить от него нужные показания. Но Чонкин явно над ним издевался и валял дурака.

— Ну так что же, — сказал лейтенант, приближаясь к Чонкину, — все более или менее ясно. Не ясно только одно, как вы, советский человек из простой крестьянской семьи, докатились до того, что теперь сидите в тюрьме, как это понимать, а, Чонкин?

Чонкин пожал плечами и хотел сказать, что и сам он не понимает, как же это все действительно случилось, но ничего не сказал, потому что вдруг увидел перед собой ствол направленного на него револьвера.

— Застрелю-у-у! — завопил лейтенант.

Чонкин инстинктивно дернул головой и ударился затылком о стену.

В кабинете сразу стало вроде бы неудобно. От револьвера пахло ружейным маслом и смертью.

— Сейчас, сука, падло, выпущу в тебя всю обойму! — зверел на глазах лейтенант. — Да я тебя... в рот, и в нос, и в печенку... Руки вверх! Лицом к стенке! Ты чувствуешь, падло, сука, чем это пахнет?

Стволом револьвера он почесал Чонкину затылок, а коленом уперся в зад. Чонкин чувствовал, чем это пахнет, ему было ужасно неприятно. Он уткнулся носом в стену. Хотелось влипнуть в стену и просочиться через нее, но он молчал.

Открылась дверь. Чонкин краем глаза увидел — вошла секретарша Капа. Нисколько не удивившись

происходящему, Капа отозвала лейтенанта в уголок и стала шептать что-то, но что именно, Чонкин не разобрал. Он разобрал только, как лейтенант спросил: «А что ей нужно?» — но ответа Капы не слышал.

— Ну вот, — громко и недовольно сказал Филиппов. — Не дают работать. Ходят, ходят, ходят тут всякие... — Как любой уважающий себя человек, лейтенант был уверен, что он один занят стоящим делом, а остальные только и думают, как бы самим ничего не делать и других оторвать от работы.

— Опустите руки! — приказал он Чонкину. — И не поворачивайся. Так и стой лицом к стене, пока я не вернусь. С этими словами он вышел.

Через промежуток времени, который можно считать ничтожным, лейтенант Филиппов появился на крыльце Учреждения и увидел Нюру, стоящую под деревом, на котором сидела ворона. Здесь между Нюрой и лейтенантом состоялся разговор, который длился недолго. Вернувшись в свой кабинет, Филиппов застал Чонкина, как и оставил, стоящим лицом к стене. Но даже и по стриженному затылку подследственного было видно, что за время отсутствия лейтенанта он о многом успел передумать.

— Повернись! — беззлобно приказал лейтенант, проходя к своему столу. — Сядь! — кивнул он на табуретку.

Чонкин сел, шморгнув носом, а рукавом утерся.

— Ну так что же, Чонкин, будем признаваться в совершенных преступлениях прямо и чистосердечно или будем записываться, юлить, лгать и пытаться обвести следствие вокруг пальца?

Чонкин слотнул слюну и промолчал.

— Чонкин! — повысил голос лейтенант. — Я вас спрашиваю. Признаете ли вы себя виновным в совершенных вами преступлениях? — Он снова вынул наган и слегка постучал по столу рукояткой.

— Признаю, — еле слышно сказал Чонкин и покорно кивнул головой.

— Так! — оживился лейтенант и быстро записал что-то в протоколе. — А в чем именно вы признаете себя виновным?

— А именно виновным себя признаю у во всем.

— Ну что ж, тогда распишись вот здесь.

И Чонкин расписался. Как умел. Долго выводил заглавное «ч», обмакнул ручку в чернила, написал «о», еще раз обмакнул, написал «н» — и так всю фамилию через весь лист. Лейтенант бережно взял лист протокола и долго дул на драгоценный автограф.

— Вот и молодец, — сказал он. — Хочешь яблочка?

— Давай, — сказал Чонкин, махнув рукой.

*

Чонкина потом спрашивали строгие люди: что ж ты, мол, так тебя и растак, лопух ты этакий, да как же ты сразу слабицу показал и под всем подписался?

— Спужался больно, — отвечал наш горе-герой и улыбался стыдливо.

И было чего стыдиться.

Ладно бы применили к нему какие-нибудь особые меры, загоняли бы иголки под ногти, зажимали бы в дверях отдельные члены тела, тут хоть деревянным будь, можешь не выдержать. А с ним-то ведь ничего подобного не вытворяли. Ну, сунули под нос револьвер, ну, кто спорит, неприятно, конечно, но терпеть-то все-таки можно.

А вот не вытерпел и подписал, что во время несения караульной службы неоднократно нарушал устав, пил, ел, курил, отправлял естественные надобности, покинул пост, вступил в сожителство с Анной Беляшовой, передвинул объект охраны, нарушал форму одежды (появлялся среди местного населения в одном белье), пьянствовал, вел аморальный

и даже разнузданный образ жизни; узнав о начале войны, не принял никаких мер, чтобы явиться к месту службы, уклонившись тем самым от исполнения своего воинского долга, что равносильно дезертирству.

Вот и развеян миф о легендарном герое Чонкине. И разочарованный автор пребывает в сомнении, стоит ли ему продолжать жизнеописание этой личности. А почему разочарованный? Потому что сам автор этого не ожидал. Бывает, скажет осведомленный читатель и припомнит одну вымышленную даму, которая, к удивлению сочинителя, вышла замуж за генерала. Но выйти замуж за генерала или подписать себе приговор — это совсем разные вещи. Автор смущен. Недвижно застыла рука, занесенная над бумагой. Сохнут чернила, перо не пишет. Как же быть и что делать? Как держать ответ перед суровым читателем? Ведь он не только суров, он доверчив. Ну ладно, смирился он. Пусть этот Чонкин кривоног да лопух, и в смысле ума тоже не академик, но ведь не зря же автор именно такого героя подсовывает, должен же он, если уж назван героем, подвиг какой-нибудь большой совершить.

Да, должен. Но боится. Чем больше подвиг, тем его совершать страшнее.

*

Каждое утро Нюра приходила сюда, на площадь перед Учреждением, и стояла под тем самым деревом, верхушку которого видел Чонкин из кабинета лейтенанта Филиппова. Она приходила, стояла, вертела в руках свою почтальонскую сумку и разглядывала входную дверь, надеясь неизвестно на что. Подняться на крыльцо и войти в эту дверь она не решалась, а просто так стоять — для чего ж?

Однажды ей повезло. Она стояла так же под деревом, когда к ней подошла дамочка в сапогах и с папирсой, спросила у Нюры, кого она ждет и зачем, сказала «сейчас» и скрылась в дверях Учреждения. Нюре пора уже было быть на почте, но не упускать же такой случай. Она подождала, и вскоре в тех же дверях появился лейтенант Филиппов в новой форме и хорошо начищенных сапогах. Он вышел как будто просто так, посмотрел на небо, потянулся, опустил глаза и увидел Нюру.

— Эй, здравствуй! — крикнула ему Нюра и приветливо улыбнулась.

— Вы ко мне? — спросил лейтенант, глядя на Нюру как на незнакомую женщину.

— К тебе, — кивнула Нюра и, осмелев, приблизилась к лейтенанту. — Как он там-то?

— Это кто же? — благодушно спросил лейтенант.

— Да Ванька же, — доверчиво сказала Нюра, не поняв игры.

— Какой Ванька?

— Да Чонкин же.

— Чонкин, Чонкин... — повторил лейтенант, как бы мучительно припоминая. Достал из кармана папирсу, закурил. — Чонкин... — пробормотал он, наморщив лоб... — Что-то вроде слышал. А как звать-то?

— Иванов, — уныло сказала Нюра. До нее дошло, что лейтенант шутит, но ответить ему тем же она не могла.

— Иван Чонкин! — звучно произнес лейтенант, как пробуя это имя на вкус. — Кажись, есть такой. А вы ему, собственно говоря, кем доводитесь?

— Сам знаешь! — Нюра начала сердиться.

— Я не знаю, — улыбнулся лейтенант доброжелательно. — Может быть, он ваш муж?

— Муж, — мрачно кивнула Нюра.

— И вы с ним расписаны?

— Я с ним жила, — дерзко сказала Нюра.

— Мало ли кто с кем жил,— заметил лейтенант философски.— У нас в деревне один с козой жил. Брачное свидетельство, или какой документ, или чего-нибудь есть?

Нюра не ответила. Раскручивая в руке сумку то в одну сторону, то в другую, она исподлобья смотрела на лейтенанта.

— Значит, нет документа? — допытывался лейтенант.— Ну вот, я так и думал. Лица, не имеющие свидетельства о браке,— забубнил он, словно читал какое-то постановление,— или иных документов, подтверждающих родственные отношения, считаются посторонними, а посторонним справки не выдаются. Ясно? — Он выплюнул погасшую папиросу и посмотрел на Нюру.

— Так ведь я... — сказала Нюра и заплакала.

— И плакать нечего,— сбавил тон Филиппов.— Тебе никто ничего плохого не делает. Мы тебя потому и не берем, что ты к нему никакого отношения не имеешь, потому что посторонняя. И запомни это как следует: по-сто-ронняя.

С этими словами он повернулся, взбежал на крыльцо и скрылся за дверью.

*

Перед столом председателя Голубева стоял инструктор райкома Чмыхалов, высокий, худой мужчина с красным, вероятно от пьянства, носом на длинном унылом лице. Он стоял в надетом поверх телогрейки длинном брезентовом плаще с откинутым капюшоном, а в руках держал плетку-треххвостку, которой постукивал по голенищу резинового сапога. За окном, привязанная к крыльцу, понуро мокла на осеннем дожде гнедая лошадь Чмыхалова.

В конторе было жарко натоплено. Чмыхалов потел, утирался рукавом, шмыгал носом и в который раз спрашивал председателя, почему в колхозе не производится уборка хлеба.

— Посмотри в окно, увидишь,— отвечал председатель.

— А мне в окно смотреть нечего,— скучно гундосил Чмыхалов.— Я смотрю в партийные указания.

— Во,— сказал председатель и покрутил у виска пальцем.— Указания, указания... Укажи дождю, чтобы он перестал. Вы там, в райкоме, сидите и не знаю, чем думаете. Уперлись в свои указания, как бараны.

— Как кто? — переспросил быстро Чмыхалов.

— Как овечки,— смягчил свое определение Голубев.

— Сразу, значит, пошел на попятную.— Чмыхалов преобразился, и глаза его заблестели.— Выходит, значит, по-твоему, в райкоме сидят бараны?

— Ты мне политику не шей,— сказал председатель, поднимаясь.— Я тебе говорю: дождь идет, а в дождь убирают только дураки и вредители.

— Ну и договорился! — развел руками Чмыхалов.— Значит, в райкоме сидят бараны, дураки и вредители. И, значит, вся наша партия... Договорить он не успел. Голубев выскочил из-за стола, схватил Чмыхалова одной рукой за шкуру, другой за штаны и, согнув в три погибели, поволок к выходу.

Нюра Беляшова, появившись к тому времени у конторы, видела, как на мокром крыльце, несогласованно болтая ногами и руками, неожиданно возник Чмыхалов. Длинное его лицо было озарено разнообразными переживаниями. Нюра не успела удивиться и понять, в чем дело, когда Чмыхалов, взмахнув руками, как птица, оторвался от крыльца и полетел. Полы плаща раскинулись, а капюшон вздулся, как парашют. Полет был недолгим. Перелетев через все ступени, Чмыхалов коснулся земли, подпрыгнул и побежал, однако нижняя его часть не смогла догнать

верхнюю, и он рухнул в грязь, вытянув вперед руки, словно ловил курицу. Поднимался он медленно. Его руки, живот, колени и даже одна щека были в грязи. Размазав по щеке грязь кулаком с зажатой в нем плеткой, Чмыхалов подошел к покорно ожидавшей его лошади, отвязал ее и прыгающей ногой долго не мог попасть в стремя. Наконец это ему удалось, он взгромоздился в скользкое седло, повернул к Голубеву грязное и жалкое лицо и сказал, чуть не плача:

— Ничего, я тебе еще покажу! — Отъехал на несколько шагов, обернулся и крикнул смелее, хотя и визгливо: — Покажу! Покажу-у! — И угрожающе поднял руку с плеткой. Лошадь с перепугу рванула. Чмыхалов повалился на спину и задрал ноги, но резким движением вернулся в нормальное положение и быстро стал удаляться. Председатель проводил его задумчивым взглядом и перевел глаза на Нюру.

— Ты ко мне?

— С почтой,— сказала Нюра.

— Заходи.

В одной руке она держала сумку, другую с какой-то бумагой протягивала Голубеву.

— Что это? — посмотрел на бумагу Голубев.

— Тимофеич, подпиши, а?

Счетовод Волков сидел в соседней комнате и одной рукой крутил сигарку, помогая себе плечом и подбодродком. Из председательского кабинета доносился какой-то шум. Отложив недокрученную сигарку, Волков заглянул к председателю. Он увидел заплаканное лицо Нюры, смущенное лицо Голубева и услышал его голос:

— Ты пойми, Нюра, я бы рад, но как же я могу? Я же председатель, я не могу подписывать такие бумаги.

Нюра всхлипывала, утираясь концом полушалка. Председатель увидел Волкова и поманил пальцем.

— Поди сюда. Ты посмотри, что она дает мне на подпись.

Волков подошел к председателю, взял протянутую ему бумагу и медленно, вдумываясь в содержание, прочел:

СПРАВКА

Дана настоящая Беляшовой А. А. в том, что она действительно жила с военным служащим Чонкиным Иваном.

— Это ты сама писала?

— Сама.— Нюра с надеждой глядела на Волкова.

— Это тебе в сельсовет надо идти с этой справкой. А мы колхоз, мы таких справок не выдаем.

— И в сельсовете не подпишут,— сказал Голубев.

— Пожалуй, не подпишут,— подтвердил Волков, положив справку на стол.

— Ну как же не подпишут? — сказала Нюра.— Я ж не чего-нибудь... я ж с им по правде жила.

— По правде, по правде, никто ж не спорит,— сказал председатель.— Но ты сама подумай, я, допустим, сегодня выпил три стакана чаю, приду, скажу: «Дайте мне справку, что я три стакана выпил». Ты вот что,— Голубев поднялся и вышел из-за стола,— ты иди прямо в райком, к Ревкину прямо. И как в кабинет войдешь, так сумку на пол кидай и сама на пол кидайся, глаза вытараскивай и кричи... — Голубев в самом деле вытаращил глаза, побагровел и вдруг, изображая, как должна вести себя Нюра, завизжал: — «Я беременная!»

— Ой, батюшки! — Нюра со страху даже присела.— Спужал-то как!

— Спужал? То-то! — Председатель подмигнул Волкову, который смотрел на все без интереса и без живости в глазах.— Он тоже спужается. На горло его бери. Кричи: «Беременная! Отдай мне моего Ивана!» — кричи.

— Думаешь, поможет? — заинтересовалась Нюра. Голубев подумал, посмотрел на Волкова.

— Пожалуй, что не поможет, — признался он нехотя.

— Для чего ж кричать?

— Ну так. Душу отведешь.

Нюра взяла бумагу, сказала: «Ну ладно, тогда до свидания». Пошла к выходу, взялась уже за ручку двери, остановилась.

— Тимофеич, — сказала она, смущаясь. — А ведь я и вправду того...

— Чего того? — не понял Иван Тимофеевич.

— Чижилая я, — сказала она, заливаясь краской.

*

Двое или трое суток с перерывом на ночь просидела Нюра на скамейке перед приемной секретаря райкома Ревкина, который то выезжал по вызову какого-то начальства, то сам вызывал к себе кого-то, то проводил какие-то конференции, то готовился к бюро райкома. И хотя на дверях его была помещена табличка с указанием дней и часов приема, ожидание Ревкина было похоже на езду в поезде, который идет без расписания, неизвестно в каком направлении и неизвестно, дойдет ли когда до конечного пункта.

Райком жил напряженной будничной жизнью, по коридорчику деловито сновали, разнося бумаги на подпись, секретарши в белых блузках, и важно скрипели хромовыми сапогами местные начальники в полувоенных, а то и целиком в военных костюмах. Иногда появлялся и сам Ревкин, и тогда сидящие на скамеечке вскидывали головы и смотрели на него, как на высшее существо, не решаясь приблизиться. А если кто и решался, то тут же из ничего возникала секретарша, пожилая тетя в очках, и, применяя физическую силу, кричала:

— Гражданин! Гражданин! Вы же видите, что товарищ Ревкин очень занят. Как только у него будет свободное время, он всех примет.

Пока она это говорила, пока она отпихивала растерянного гражданина, товарищ Ревкин успевал скрыться за дверью, а уж туда пробиться к нему не было никакой возможности.

На третьи или на четвертые сутки всем ожидавшим под дверью приемной было объявлено, что в течение нескольких дней товарищ Ревкин вести приема не будет, потому что он готовится к предстоящему очень важному заседанию бюро, а вместо него всех примет товарищ Борисов. Некоторые из очереди были этим разочарованы, Нюра же на первых порах начальников не различала, для нее они все были на одно лицо, как китайцы.

Сколько еще она прождала своей очереди, сейчас, за давностью лет, установить уже никак невозможно, но настойчивость ее была вознаграждена, и она попала в конце концов в кабинет, где за столом сидел человек, выражавший своим скучным видом, что все человеческое ему совершенно чуждо.

Он сидел, молча смотрел на Нюру, и она, не дождавшись никакого вопроса, вынуждена была сказать, что пришла хлопотать «за своего мужика».

— За какого? — Борисов в первый раз разомкнул губы, и стало ясно, что он не статуя.

— За Ивана, — сказала Нюра и расплакалась.

Он пошевелился, достал карманные часы и стал смотреть на них, то ли давая понять, что он человек занятой, то ли засекая, сколько времени Нюра проплачет. Может быть, Нюра плакала дольше, чем полагалось, он не выдержал и сказал, не повышая голоса:

— Гражданка, здесь слезам не верят.

Слова эти, сказанные так просто, произвели на

Нюру должное впечатление, ей и в самом деле тут же плакать расхотелось.

— Теперь, — сказал Борисов, продолжая смотреть на часы, — излагайте быстро фамилию Ивана, что с ним случилось и чего вы хотите.

Она начала излагать, назвала фамилию, он оживился и быстро переспросил: «Как? Как?». Она повторила: «Чонкин».

— Чонкин, — задумчиво повторил он и записал фамилию на листке настольного календаря. — Значит, вы говорите, что он арестован? Так что же вас беспокоит?

— Да как же? — сказала Нюра.

— А что как же? — спросил Борисов. — Раз он арестован, значит, будет суд. Если этот ваш Чонкин виноват, его накажут, если нет... — Тут Борисов, может быть, хотел сказать «оправдают», но, подумав, сказал: — ...тогда суд примет другое решение.

— Дак а как же я? — сказала Нюра.

— А что вы?

Нюра заплакала и, утираясь концом платка, стала запутанно объяснять, что ее считают посторонней, а на самом деле она не посторонняя, потому что она с ним, то есть с Иваном, хотя и без справки, жила.

Появились признаки того, что Борисов начал терять терпение.

— Гражданка, — сказал он, барабанив пальцами по столу, — что вы мне городите? Какое мне дело до того, с кем вы жили? Неужели вы думаете, что райкому больше нечего делать, как заниматься такими глупостями? Идите отсюда!

— Куда? — сквозь слезы спросила Нюра.

— Не знаю. К прокурору или еще к кому. Идите!

Но Нюра не уходила. Она стояла и плакала. А Борисов сидел и удивлялся, неужели эта глупая женщина не может понять, кто она, где находится и перед кем стоит. Возмущенный этим, он вышел из-за стола и стал теснить Нюру к выходу:

— Ну ладно, нечего здесь плакать. Здесь вам не это самое. Здесь мы никому хулиганичать не позволим. Здесь и не таким рога обламывали.

Отступая под его напором, Нюра пятилась до самой двери и, задом вышибая дверь, выскочила из нее, как ошпаренная.

*

Прокурор Павел Трофимович Евпраксеин в трезвом виде всегда знал, что он делает и для чего. Он понимал, что многие другие лица не обладают подобным знанием, и поэтому обычно не удивлялся странности их поведения.

Нюра, уйдя от Борисова ни с чем, пришла к выводу, что вела себя неправильно. Теперь она решила действовать так, как советовал ей Иван Тимофеевич Голубев. Но одно дело решить, а другое — сделать. Когда она вошла в кабинет и увидела крупного важного человека за большим столом под большим портретом, она как-то сразу же оробела и, переступая с ноги на ногу, попятилась даже слегка назад, но, вернувшись к порогу, остановилась.

— Вы ко мне? — спросил прокурор приветливо.

— К вам, — сказала Нюра так тихо, что сама слов своих не услышала.

— И по какому же делу?

— Я беременная, — сказала Нюра.

Если бы она последовала совету Голубева в полном объеме, то есть завизжала, кинула на пол сумку и сама кинулась на пол, может быть, это и произвело бы на прокурора должное впечатление. Но она смутилась, покраснела и эту фразу произнесла так тихо, что не была уверена, услышал ли ее прокурор или нет.

— Не понял. Какая? — прокурор приложил к уху ладонь.

— Беременная, — пролепетала Нюра, смутившись еще больше.

— Громче.

Когда она произнесла то же слово в третий раз, прокурор наконец-то ее услышал. Он улыбнулся и вышел из-за стола.

— Беременная? — переспросил он и, мягко взяв Нюру за плечи, подвел к окну. — Если беременная, вам не сюда, а во-он куда надо.

И показал ей стоящее на другой стороне улицы, обшитое тесом здание, в котором, как указывали вывески, находились родильный дом и женская консультация.

— Нет, — сказала Нюра, — я не насчет этого, я насчет мужа.

— От фронта никого не освобождаем, — быстро сказал прокурор.

— Да нет, — сказала Нюра.

— А если насчет алиментов, то пока рано. Только после рождения ребенка.

— Да не в том, — улыбнулась Нюра. По сравнению с тем, что предполагал прокурор, истинное ее дело показалось ей гораздо более простым и легко разрешимым. — Мужика-то у меня посадили.

— А-а, — сказал прокурор. — Теперь понял. И за что же его?

— А ни за что, — простодушно сказала Нюра.

— Ни за что? — удивился прокурор. — А вы в какой стране проживаете?

— Как это? — не поняла Нюра.

— Ну, я спрашиваю, где вы живете? В Англии, в Америке или, может, в фашистской Германии, а?

— Да нет же, — объяснила Нюра, — я в Красном живу, в деревне, отсюда семь километров, может быть, слышали?

— Что-то слышал, — кивнул прокурор. — И что же, в этом вашем Красном советской власти нет, что ли, а?

— В Красном нет, — подтвердила Нюра.

— Как, совсем нет?

— Совсем нет, — сказала Нюра. — Сельсовет-то у нас в Ново-Клюквине, за речкой. А у нас только колхоз.

— А, понятно, понятно, — ухватил прокурор. Он взял лист бумаги и стал на нем что-то чертить. — Вот это, значит, речка, здесь за речкой, советская власть, вот мы ее так заштрихуем. А с этой стороны, стало быть, совсем ничего. Да-а, — сказал он, разглядывая с интересом чертеж, — тогда совсем, конечно, другое дело. А то уж я было подумал, как это: советская власть и ни за что. Я лично как прокурор, ну и вообще как советский человек, о таких безобразиях никогда не слыхал. Нет, конечно, бывают у нас отдельные лица, которые по глупости или с умыслом распространяют разные злостные слухи, ну таких-то людей мы, конечно, сажаем. За клевету на наш строй, на наше общество, на наш народ, но это же нельзя сказать — ни за что. Так же?

— Так, — согласилась Нюра.

— Ну и чего же вы от меня хотите?

— Так я ж насчет свого мужа, — напомнила Нюра.

— А я-то тут при чем? — развел руками Павел Трофимович. — Я же советский прокурор. И власть моя распространяется только на советские территории. А там, где советской власти нет, там я бессилен.

Из сказанного прокурором Нюра не поняла ничего и сидела, ожидая продолжения разговора. Но прокурор никакого разговора продолжать, видимо, не собирался. Он достал из пластмассового футляра очки, напялил их на нос и, раскрыв папку с надписью

«Дело №», начал читать лежавшие в ней документы. Нюра терпеливо ждала. Наконец, прокурор поднял глаза и удивился:

— Вы еще здесь?

— Так я насчет...

— Свого мужа?

— Ну да, — кивнула Нюра.

— Разве я непонятно объяснил? Ну что же, попробую иначе. Запомните и зарубите себе на носу, — он повысил голос и стал грозить пальцем, — у нас в Советском Союзе ни за что никого не сажают. И я как прокурор предупреждаю вас самым строгим образом, вы такие разговорчики бросьте. Да, да, и нечего прикрываться своей беременностью. Мы никому — ни беременным, ни всяким прочим не позволим. Ясно?

— Ясно, — оробела Нюра.

— Ну вот и хорошо, — быстро помягчел прокурор. — В главном договорились. А что касается частностей, то их можно и обсудить. Если в отношении вашего мужа были допущены отдельные нарушения закона, мы их пресечем, а виновных, если они есть, накажем. Это я вам обещаю как прокурор. Как фамилия вашего мужа?

— Чонкин, — сказала Нюра. — Чонкин Иван.

— Чонкин? — прокурор вспомнил, что когда-то подписывал ордер на арест именно Чонкина и потом слышал, что этот же Чонкин оказался главарем какой-то банды, и что эта банда была разгромлена. — Чонкин, Чонкин, — бормотал прокурор. — Значит, вы говорите, Чонкин. Одну минуточку. — Он вежливо улыбнулся. — Будьте добры, подождите меня в коридоре, я все выясню и тогда вам скажу.

Нюра вышла в коридор и там провела какое-то время. В это самое время прокурор Евпраксеин кому-то звонил по телефону и разговаривал стоя и шепотом, прикрывая трубку ладонью и поглядывая на дверь. Затем он вышел в коридор, пригласил Нюру к себе, сам сел за стол, а она осталась стоять.

— Значит, вы говорите — Чонкин? — спросил прокурор. — А ваша как фамилия?

— Беляшова, — неохотно сказала Нюра, понимая, что этот вопрос задан ей неспроста.

— Правильно, — сказал прокурор. — Беляшова. В браке вы с этим Чонкиным не состоите. Так? Так. То есть, собственно говоря, вы к этому Чонкину, которого, кстати сказать, ждет очень суровое наказание, никакого отношения не имеете.

— Да как же, — сказала Нюра, — я ж беременная.

— Тем более, — убежденно сказал прокурор. — Зачем же вам связывать свою судьбу и судьбу будущего ребенка с этим преступником?

Тут он понес какую-то околесицу и стал говорить от имени какого-то множественного лица, которым или частью которого он как бы являлся.

— Мы, — сказал он, — не сомневаемся, что вы хорошая работница и настоящий советский человек и что ваша связь с этим Чонкиным была совершенно случайной. Именно поэтому мы вас и не привлекаем к ответственности. Но именно поэтому вы должны от этого Чонкина решительно отмежеваться...

Дальше пошла и вовсе какая-то тарабарщина: трудное время... сложная международная обстановка... противоборство двух миров... нельзя сидеть между двух стульев... необходимо определить, по какую сторону баррикад...

— И поэтому, — закончил он свою мысль, — с вашей стороны было бы правильным не защищать вашего Чонкина, а, наоборот, порвать с ним самым решительным образом. Было бы уместно заявить даже письменно, что я, такая-то и такая-то, вступила в интимную связь с Чонкиным случайно и неосмотрительно.

тельно, не зная его звериной сущности, о чем сожалеть. А? Как вы думаете, можно так написать?

Прокурор посмотрел на Нюру и увидел ее глаза, полные слез.

— Дяденька, — сказала Нюра, хлюпая носом, — он ведь, Ванька, хороший.

— Хороший? — прокурор нахмурился и отвел глаза. — Интересно, за что же его арестовали, если он хороший?

— Так ни за что же, — сказала Нюра.

— Ни за что? — сердито переспросил Евпраксеин. — Ну что же, Беляшова, вы, я вижу, не просто заблуждаетесь. Вы упорствуете в своих заблуждениях. Я вижу, для вас время, проведенное с этим Чонкиным, не прошло даром. Я вижу, он-таки успел вас обработать.

Думая, что прокурор имеет в виду ее беременность, Нюра кивнула и согласилась сквозь слезы:

— Успел.

*

Сейчас, конечно, в Долгове уже мало кто помнит прокурора Павла Трофимовича Евпраксеина, хотя в те времена невообразимо было предположение, что его вообще когда-то можно будет забыть. Тогда слава его была прочной, гремела на весь район и даже выходила иногда за пределы. Все знали и говорили или, вернее, шептали, что прокурор Евпраксеин — это зверь. Что к нему попадешь, живым не выйдешь. Что спуску никому не дает, и ни слезой его не разжалобишь, ни взяткой не размягчишь.

И вид у него был зверский, и вел он себя по-зверски, и никто бы тогда не поверил, что на самом деле был он человек в общем-то добрый, но уж очень запуганный. И оттого, что был запуганный, до смерти он боялся, что доброту его кто-нибудь разгадает, разглядит и раскусит. И чтобы этого не случилось, Павел Трофимович изо дня в день скрывал свою истинную сущность и скрывал так умело, что иные слабые духом люди от одного только прокурорского взгляда чуть не падали в обморок.

Конечно, среди прокуроров встречались разные люди. Распространен среди них был тип и истинно жестокого существа, которому что человек, что муха. Но такой жестокий, зная, что он жестокий, и потому не рискуя разоблачением, мог какую-то жертву и упустить по забывчивости, по пьянке или из корыстного соображения.

А вот Евпраксеин, чувствуя в себе склонность к чему-то хорошему, очень боялся, что пронюхают и узнают, и потому не упускал ничего и никого.

Но у него была одна слабость, распространенная даже среди прокуроров, — он любил выпить. И когда выпивал, раскрывался.

В тот день, после разговора с Нюрой, он зашел в чайную, с кем-то там встретился, с кем-то там выпил и возвращался домой поздно вечером. Пальто на нем было расстегнуто, шарф торчал из рукава, а шапку он забыл в чайной.

Прокурор шел нетвердой походкой, качаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, останавливаясь и размазывая руками.

— Дура! — говорил он воображаемой собеседнице. — Подумаешь — я беременная. Я, может, тоже беременный. А если беременная, так что же тебя, на руках носить? Беррременная! Тоже невидаль, ха-ха, беременная. Так тебя ж никто не сажает. С тобой по-хорошему. К тебе гуманизм проявляют. Отрекись от него, и все, и никто тебя не тронет. Так нет же. Дяденька, он хороший. А чего в нем хорошего? Да мне, если бы разрешили, я, может, еще лучше был бы. Да не могу, потому что я кто? Я прокурор. Да,

прокурор. — Он взмахнул рукой, и перед глазами его мелькнула пестрая лента. — Змея! — догадался Петр Трофимович. — Змея! — закричал он не своим голосом и кинулся со всех ног бежать. Споткнулся, упал, ударился головой о дорогу. К счастью, в те времена улицы города Долгова еще не имели твердого покрытия. Сейчас, правда, многое переменялось. Впрочем, твердого покрытия, кажется, нет и сейчас. Ну а тогда, если бы было покрытие, то одним прокурором могло бы стать меньше. А прокуроров нужно беречь. Вы скажете, а чего их беречь, их много. Это, конечно, так. Но все-таки жалко и прокуроров.

Ударившись головой, прокурор Евпраксеин лежал пластом на дороге и не подавал сколько-нибудь отчетливых признаков жизни.

Потом, придя в себя, он слышал, что кто-то подошел, кто-то склонился над его распростертым телом. Прокурор застонал.

— Вы живы? — участливо спросил незнакомый мужской голос.

— Не знаю. — Евпраксеин стал подбирать под себя руки, чтобы опереться, и опять увидел, что к нему ползет что-то длинное.

— Опять змея! — сказал он удрученно и уронил голову.

— Что вы, гражданин, какая змея? Это ваш шарф.

— Шарф? — прокурор приоткрыл один глаз, подергал рукой, и то длинное тоже подергалось. — Ты смотри, шарф. А я думал — змея. А я змеей не люблю. Я их боюсь. Ты думаешь, я ничего не боюсь? Нет, боюсь. Потому что я живое существо, а все живое боится.

С помощью незнакомца он поднялся на ноги и качался, не решаясь сдвинуться с места.

— Спасибо, друг! — бормотал он. — Спасибо! Не знаю даже, чем тебя отблагодарить. Что для тебя сделать?

— Прикурить не найдется? — спросил незнакомец и вынул из-за уха сигарку.

— Сейчас, — заторопился прокурор. Он был преисполнен благодарности, и ему действительно хотелось сделать что-то хорошее для этого незнакомца, но безусловно доброго человека. — Одну минуточку. — Он полез в левый карман, для этого ему пришлось почему-то обернуться на триста шестьдесят градусов влево. В левом кармане спичек не оказалось. Тогда он полез в правый карман и опять сделал полный оборот вокруг своей оси вправо. Нашел в правом кармане коробок, открыл и стал доставать спички, рассыпая их по земле. Наконец выловил одну спичку и, замахи-ваясь ею, как саблей, пытался чиркнуть по коробку.

— Дайте, я сам, — сказал незнакомец.

— Нет-нет, — сказал прокурор. — Я хочу проявить ува... ува... уваже...

Руки дрожали, спички ломались. Наконец одна из них загорелась и вспыхнула. Евпраксеин поднял ее на уровень своего лица. Незнакомец с сигаркой потянулся к огню, глянул на Евпраксеина, вздрогнул и отшатнулся.

— Вы прокурор? — спросил он взволнованно.

— Прокурор, — кивнул Евпраксеин.

Легким порывом ветра задуло спичку. Прокурор достал вторую, чиркнул и увидел, что незнакомец быстро удаляется от него.

— Да куда же ты? — растерялся Павел Трофимович. — На, прикури. Слышь, друг! Братишка! Остановись!

Он даже пробежал несколько шагов за незнакомцем, но потом махнул рукой, остановился и, сказав: «Эх ты, дурак!», плюнул.

Затем вытащил из рукава шарф, намотал его по-

верх воротника пальто и пошел дальше, рассуждая с самим собой.

— Тоже мне трус поганый, прокурора испугался. И правильно делаешь, что боишься,— сказал Павел Трофимович, обращаясь к оказавшемуся на пути телеграфному столбу.— Правильно! Ты думаешь человек человеку кто? Друг? Товарищ? Братишка? На-ка выкуси! Человек человеку люпус ест! Человек человеку волчище вот с такими кликами. Да, конечно, я — прокурор. Я прокурор! — повторил он и пошел дальше.— Я коммунист. Я солдат партии. Я не имею права на мягкотелость. Вот побьем немцев... Вот коммунизм построим, и тогда всем по потребности... Тогда будем каждого по головке... гладить. А сейчас не время...— Он остановился, подумал.— И вчера было не время.— Он еще подумал и оглянулся.— И завтра будет не время.— И снова повысил голос.— Но все равно! Я боец! Я солдат!! Я палач!!! Я убийца!!!! Я сволочь!!!! — завизжал он и стукнул себя кулаком в грудь.

Азалия Митрофановна, или просто Аза, жена прокурора, сидела перед зеркалом и растирала на скулах крем. Было поздно. Дети Аленка и Трофимка давно легли спать. Тарелка репродуктора едва дребезжала, передавая легкую музыку. За дверью слышались шаги. Аза насторожилась. Дверь распахнулась, и на пороге в расстегнутом грязном пальто появился Павел Трофимович.

— Господи! Опять? — ужаснулась Аза.

— Опять,— кивнул Павел Трофимович.— А ты все это? — Он потер под глазами, как будто тоже мазался кремом.— Хочешь быть молодой. Не поможет. Нет. Жизнь кого хочешь сморщит, даже жену прокурора.

— Паша! — сказала она с упреком.

— А что Паша? Что Паша? — Он погладил пальцем ее халат.— Халатик-то шелковый.

— Ну, Паша, ты же сам купил мне его к дню рождения.

— Да, конечно.— Расхаживая по комнате, он делал замысловатые движения руками.— Я купил. К дню рождения. А на какие шиши? А за что мне эти шиши платят? А шиши мне эти платят за то, что я людей...— Он приблизил к ней красное лицо и резко выдохнул: — ...убиваю.

— Паша! — закричала она.— Подумай, что ты говоришь!

— Ха-ха,— засмеялся он,— подумай. Давно подумал. А что делать? У меня семья, и вы жрать хотите!

— Паша! — сказала она с упреком.— Ты же детей разбудишь.

— Ах, детей! — Он ворвался в детскую и, отпихивая повисшую на руке жену, заорал: — А ну вставайте, паразиты! Я хочу вам объявить, что ваш отец — палач и убийца!

Они не спали. Семиклассница Аленка и пятиклассник Трофим сидели каждый на своей кровати, подтянув к подбородкам одеяла и прижимаясь к стенке.

— Аленка! Трофимка! — Широко расставив руки, мать загромождала их от отца.— Не слушайте папу. Папа пьяный.

— Да, я пьяный. И потому говорю правду.

Он вышел в переднюю и на листе, вырванном из Аленкиной тетради, держа ручку в кулаке, разбрызгивая чернила, написал: «Я, прокурор Евпраксин П. Т., находясь в здравом уме и трезвой (зачеркнуто), признаю свое соучастие и объявляю о своем выходе из. Я знаю, на что иду, но у меня больше нет сил, и мой поступок продиктован моей гражданской совестью и».

На этом он закончил и, не поставив ни точки, ни многоточия, ни времени, ни числа, расписался. И щедрым жестом протянул бумагу жене:

— На, отнеси!

— Кому?

— Им.

— Хорошо,— сказала она покорно,— я отнесу. Ты раздешься и отдохни, а я отнесу.

— Отнесешь? — Он вскочил.— Посадить меня хочешь? — загремел, торжествуя.— Дай сюда! — Он вырвал бумагу и разорвал.— Я знал, что ты такая, что только и ждешь, как бы избавиться. Вот ко мне сегодня приходила... простая русская женщина... даже не расписана, а готова ради него... А ты-ы!.. Под расстрел меня хочешь? Сволочь! Не дожدهшься. Я сам...

И тут повторилось то, что случалось не раз. Он сорвал со стены двустолку и закричал:

— Выходи!

— Паша,— сказала она грустно, заранее зная, что ее довод не подействует.— Ты хоть бы детей постеснялся.

В прежние времена дети кидались к отцу, хватали его за ноги и кричали: «Папочка». Теперь они сидели в своей комнате и с испугом следили за происходящим через открытые двери.

— Выходи! — торопил прокурор.

— Погоди, я хоть сапоги надену.

— Ну да, еще сапоги пачкать. И так хороша будешь.

Босую, покорную, в одном халате, надетом на голое тело, он вывел ее к общественной уборной. Было холодно, но светло, полная луна выплыла из-за туч и равнодушно освещала место грядущей казни.

— Именем Российской Советской Федеративной...— торжественно произнес прокурор, поднимая ружье.

Раньше, когда случалось такое, выбегали соседи. Теперь же не было никого. Только одно окно растрескалось, и женский голос спросил:

— Ну чего там?

А другой, тоже женский, ответил:

— Прокурор обратно Азалию на расстрел вывел.

Окно тут же захлопнулось. Прокурор невольно оглянулся на посторонние звуки, а когда повернулся опять, Азалии возле уборной не было. Тут и луна закатилась, стало совсем темно.

— Аза! — крикнул прокурор в темноту.— Выходи! Не препятствуй исполнению приговора.

Азалия не отзывалась.

Утром он, как обычно, ползал перед женою на коленях, хватал ее за ноги, умолял простить и обещал выбросить ружье на помойку или продать.

После этого, отчасти прощенный, напившись крепкого чаю, пошел на работу и исполнял свои обязанности твердо, как полагалось.

*

Нюра шла и шла по длинным коридорам учреждений, которые слились для нее в один бесконечный коридор с грязными полами, обшарпанными лавками. На лавках в робких и выжидательных позах сидели просители, то есть люди, которые еще чего-то хотели от этой жизни, искатели правды, борцы за справедливость, клязники, униженные и оскорбленные, в дражных телегрейках, в лохмотьях, в лаптях, в чунях, в галошах на босу ногу и вовсе босые, старики и старухи, бабы с детишками, молодой парнишка на костылях, пожилой матрос с перевязанной головой, старик в суконном пальто, по которому стадами бродили бледные вши, рахитичный младенец, жевавший хлеб в грязном тряпичном узелке.

Бледный небритый мужчина с лихорадочным блеском в глазах рассказывал Нюре, как следователь отбивал ему почки, объясняя свои действия идеологи-

ческой войной и сложностью мировой обстановки.

— Перед самой войной, — говорил мужчина, — меня освободили, но я теперь ни на что не способен.

Он показал Нюре свое длинное заявление, в котором предлагал ввести статус инвалида идеологической войны, а ему лично дать первую группу с предоставлением бесплатного проезда в городском транспорте.

Была тетка, потерявшая карточки. Она ходила по инстанциям, говорила, что у нее трое детей, что они помрут с голоду. Ей отвечали: «Здесь не богадельня. О детях надо было раньше думать. У нас нет специальных фондов для ротозеев».

Один весьма невзрачного вида гражданин вступил на путь борьбы вовсе из-за ерунды. Как-то ему понадобилось перекрыть крышу, и он обратился к директору совхоза с просьбой о выписке ему нужного количества соломы. Директор отказал на том основании, что проситель недостаточно активно проявлял себя в общественной жизни, то есть не посещал самодеятельность, не выпускал стенгазету, не ходил на собрания, а если и ходил, то не лез на трибуну и пассивно участвовал в общих аплодисментах.

Вместо того чтобы просто украсть эту солому (как делали одни) или дать директору трешку (как делали другие), соломопроситель решил действовать законным путем, писал жалобы всем, включая Калинина. Ответы возвращались к тем, на кого он жаловался, дважды (один раз в дирекции совхоза, один раз в милиции) он был бит, три месяца его лечили в сумасшедшем доме, однако до конца, как видно, не вылечили.

Все люди, которых встретила Нюра в этом бесконечном коридоре перед бесконечным рядом дверей, сидели здесь иногда сутками, как на вокзале. Время от времени выкликалась фамилия кого-нибудь из сидевших, а тот, заранее сняв шапку и кланяясь, входил в долгожданную дверь, чтобы через минуту выскочить оттуда с помутневшим взором, а то и с воплем, словно из кабинета зубного врача.

За теми дверьми сидели важные лица. Все они работали без наркоза. Они каждого посетителя воспринимали, как гидру, желавшую непременно что-нибудь ухватить у нашего рабоче-крестьянского государства. Сами не вырабатывая ничего, кроме ненужных бумаг, они попрекали каждого входящего, будто именно он и живет на шее у государства, будто и так получил слишком много и теперь явился за лишним.

Нюра шла из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет. Чем дальше, тем больше требовали от нее, не предлагая уже ничего взамен.

Но, заливаясь слезами, впадая в отчаяние, Нюра



шла все дальше и дальше и, попав однажды в редакцию газеты «Большевистские темпы», постучалась в дверь, где висела табличка «Ответственный редактор т. Ермолкин Б. Е.».

Борис Евгеньевич Ермолкин был замечательный в своем роде человек. Это был старый газетный волк, как он сам себя с гордостью называл. Но не из тех волков, которые, высунув язык, гоняются за свежими новостями. Нет, от новостей он как раз всегда шарахался в панике. И если в городе или районе случалось что-нибудь достойное внимания, то есть действительно какая-нибудь новость, Ермолкин делал все, чтобы именно она никак не попала на страницы его газеты. Бывало, читая где-нибудь, что даже какая-то буржуазная газета не могла скрыть чего-то, Ермолкин только руками разводил. Да что ж это в буржуазной газете редактор такой, если чего-то скрыть не может.

Ничем не примечательный с виду человек, обладал Ермолкин испепеляющей страстью — любую статью или заметку выправить от начала до конца так, чтобы читать ее было совсем невозможно. С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни времени суток, ни смены времен года, не зная радости любви или выпивки, забыв о собственной семье, проводил он время в своем кабинете за чтением верстки. Ему приносили эти сырые серые листы, шершавые от вдавненного в них шрифта с кривыми строками. Эти листы и в руки-то взять было б противно, а он вцеплялся в них, как наркоман, дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и начиналось священнодействие.

Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось среди них хоть одно живое. Все обыкновенные слова казались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строе» — «красноармеец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков Ермолкин называл фашистскими стервятниками, советских летчиков — сталинскими соколами, а небо — воздушным бассейном или пятым океаном. Особое место занимало у него в словаре слово «золото». Золотом называлось все, что возможно. Уголь и нефть — «черное золото». Хлопок — «белое золото». Газ — «голубое золото». Говорят, однажды ему попала заметка о старателях, добытчиках золота, он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое именно золото имеется в виду. Тот ответил: обыкновенное. Так потом и было написано в газете: добытчики золота обыкновенного.

Глядя на Ермолкина, трудно было поверить, что родила его обыкновенная женщина, и что пела ему на русском языке колыбельные песни, и что слышал он своими ушами уличные голоса, и что читал он хоть когда-нибудь Пушкина, Гоголя или Толстого. Глядя на Ермолкина, казалось, что родила его типографская машина и завертывала вместо пеленок вот в эти самые гранки и верстки и, как в эту серую бумагу, навсегда впечатались в его сознание и в каждую его клетку несъедобные и мертвые слова.

Вот к этому удивительному человеку и попала Нюра однажды. Постучав в дверь и услышав «войдите», застала она в кабинете самого редактора, иссохшего на своей работе, и другого, полного, но подвижного и резкого в движениях. Этот другой был некто Константин Цыпин, называвший себя фенологом. Этот фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки

— Борис Евгеньевич, — взывал он к редактору. — Я вас очень прошу, не правьте мою заметку, ведь она такая маленькая.

— Ишь чего захотел, — ответил редактор, помещивая ложечкой остывший в стакане чай, — как не править, когда вы пишете: «Наступила пора бабьего лета». У нас женщины — труженицы, они стоят у станков, они водят тракторы и комбайны, они заменили своих мужей, ушедших на фронт, а вы их оскорбительно называете бабами.

— Я не их, я лето называю бабьим, так говорят в народе.

— Если все слова, что в народе говорят, да в газету... — Редактор покачал облысевшей своей головой.

— Но ведь не писать женское лето, — сказал фенолог.

— Именно женское.

— А может быть, дамское?

— Нет, дамское нам не подходит. А женское — в самый раз.

— Борис Евгеньевич, — завопил фенолог, — вы меня убиваете. Спросите у любого человека, хотя бы у этой посетительницы... Девушка, — обратился он к Нюре, — вы вот, я вижу, из народа. У вас такое время, когда осень и когда тепло, когда солнышко светит, как называется?

— Кто как хочет, так и называет, — сказала Нюра уклончиво. Ей не хотелось идти против редактора.

— Вот видите, — оживился редактор. — А у нас газета. Мы не можем называть кто как хочет. Вы по какому делу? — благосклонно спросил он у Нюры.

— Да я насчет мужика своего, насчет Чонкина.

Услышав эту фамилию, редактор отодвинул в сторону стакан с чаем, выпрямился и одеревеневшими губами сказал:

— Слушаю вас.

Фенолог Цыпин тут же исчез, словно его и не было.

— Слушаю вас, — повторил редактор.

— Так я вот насчет того же, что как же мне быть, — сказала Нюра, приближаясь к столу. — Чонкин-то мой мужик, а прокурор говорит, отказаться надо.

— Ну, раз прокурор говорит, значит, так и надо сделать, — сказал Ермолкин.

— Как же, — сказала Нюра, покачивая головой, — я ведь беременная.

— Беременная? — удивился Ермолкин. — Это меняет дело. Подождите, я должен подумать.

Он обхватил голову двумя руками, закрыл глаза, и похоже было, что действительно погрузился в глубокое размышление. Нюра смотрела на него с интересом, к которому примешивались и испуг, и уважение. Так, обхватив голову руками, Ермолкин просидел, может быть, несколько секунд, но Нюре показалось, что счет шел на минуты. Ермолкин вдруг тряхнул головой и, как бы приходя в себя, долго смотрел на Нюру. Достал из ящика чистый лист бумаги, подsunул Нюре и сказал тихо:

— Вот здесь внизу распишитесь.

— Зачем? — поинтересовалась Нюра.

— Мы здесь напишем заметку от вашего имени, нужна ваша подпись.

— Какую еще заметку? — насторожилась Нюра.

— Мы напишем, что вы как будущая мать от себя и от имени вашего ребенка решительно отмежевываетесь от так называемого Чонкина и заверяете, что будущего сына своего или дочь воспитаете истинным патриотом, преданным идеалам партии Ленина — Сталина.

— Вона чего, — сникла Нюра. — Везде одно и то же.

— А что вам не нравится? — искренне спросил Ермолкин. — Это же все делается для вашего блага. Неужели вам хочется, чтобы ваш будущий ребенок

носил фамилию преступника, всю жизнь носил на себе это несмыслаемое пятно?

— Ладно, пойду,— сказала Нюра, поднимаясь.

— Ну, как знаете. Люди для вас стараются, хотя бы сделать, как лучше, а вы... Вы знаете, может быть, вам ваше упрямство кажется правильным, может быть, вы даже хотите выглядеть в глазах людей такой героиней, но я считаю, что поведение ваше продиктовано трусостью, и только ею. Если бы вы действительно были искренни, вы бы сказали: «Да, я ошиблась». Вы бы отреклись от этого Чонкина и заклеили его навсегда позором. Я понимаю, такое решение трудно принять, но, если вы настоящая советская женщина, вы должны выбрать, кто вам дороже — Чонкин или советская власть.

Нюра смотрела на него полными слез глазами. Она не знала, почему обязательно выбирать, почему в крайнем случае нельзя совместить то и другое.

— Да,— промолчав, грустно сказал Ермолкин,— вы, я вижу, и в самом деле упорствуете. Мне это, честно говоря, не очень понятно. Может быть, у меня, с вашей точки зрения, несколько устаревшие взгляды, но я ко всему отношусь иначе.— Он встал из-за стола и — руки в брюки — прошелся по комнате.— Вот у меня есть сын,— продолжал он на более нервной ноте.— Он маленький. Ему всего лишь три с половиной года. Я его очень люблю. Но если партия прикажет мне резать его, я не спрошу, за что. Я... — Он посмотрел на Нюру, и взгляд его как бы остекленел... — Я...

— Мама! — не своим голосом завопила Нюра и кинулась вон из кабинета. Почти до самого Красного она бежала бегом, не оглядываясь. Почти до самого Красного ей казалось, что за ней с ножом в зубах гонится редактор Ермолкин.

✱

Почему-то встреча с Нюрой подействовала на Ермолкина странным образом. Может быть, потому, что вспомнил о сыне. Такой белокурый с большим лбом мальчик, похожий на маленького Володю Ульянова. Вот ведь все люди как-то заботятся о своей семье, чего-то друг о друге хлопочут, а он все о работе, все о работе, сидит здесь день и ночь, пожелтел от табачного дыма, а когда был последний раз дома — напрягся, вспомнить не мог. Нет, хватит, сказал он себе самому, пора подумать и о семье. Сегодня он решил уйти с работы раньше обычного, то есть не просто раньше на час или два, а уйти по окончании рабочего дня, как все простые служащие. В конце концов сформулировал он свою мысль, я человек и имею право на отдых и на личную жизнь.

Все же перед уходом он еще раз просмотрел отпечаток газеты, который ему принесли для окончательной проверки.

Начал, как обычно, с передовой. В передовой его всегда интересовали не тема, не содержание, не, скажем, стиль изложения, его интересовало только, чтобы слово «Сталин» упоминалось не меньше двенадцати раз. О чем бы там разговор ни шел, хоть о моральном облике советского человека, хоть о заготовке кормов или о разведении рыбы в искусственных водоемах, но слово это должно было упоминаться двенадцать раз, можно тринадцать, можно четырнадцать, но ни в коем случае не одиннадцать. Почему он взял минимальным именно это число, а не какое другое, просто ли с потолка или чуть подсказывало, сказать трудно, но было именно так. Вот же не существовало на этот счет никаких исходящих сверху инструкций, никаких особых распоряжений¹, а не только Ермол-

кин, но, пожалуй, каждый редактор, хоть в местной газете, хоть в самой центральной, днем и ночью слеп над серым, как грязная скатерть, газетным листом, выискивал остро отточенным карандашиком это самое слово и шевелил губами, подсчитывая.

Нет, конечно, за время работы в печати Ермолкину случалось встречать всяких людей. Попадались и отчаянные сорвиголовы, которые то ли по молодости, то ли по отсутствию журналистского нюха горячились, доходя до кощунства: а почему, мол, именно двенадцать, а не восемь или даже не семь? В таких случаях Ермолкин только покачивал головой и грустно усмехался: эх, мол, молодо-зелено, высоко взлетит, низко сядешь. Некоторые и садились, и весьма низко и не за то, возможно, что упоминали какое-то слово реже, чем полагалось, а потому, что, усомнившись в одном правиле, человек непременно распространяет свои сомнения дальше, потом трудно бывает остановиться.

Итак, Ермолкин начал с передовой. Сегодняшняя передовая была прислана сверху, править ее Ермолкин не мог, не считая, конечно, грамматических ошибок. Все же, водя по строчкам карандашом, он подсчитывал и к его не то чтобы удивлению, а, точнее сказать, удовлетворению, нужное слово повторялось именно двенадцать раз, видно, вышестоящий сочинитель в своей литературной работе придерживался того правила, что и Ермолкин. Статья призывала народ в трудное для него время с особым вниманием и даже с сердечным волнением, и даже еще с какими-то более глубокими переживаниями прислушаться к указаниям вождя и воспринимать их как руководство на все случаи жизни. «Указания товарища Сталина,— говорилось в статье,— для всех советских людей стали мерилом мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». Эта фраза чем-то задержала внимание Ермолкина, он еще раз пробежал по ней рассеянным взглядом, стал читать дальше, но почувствовал, что ничего не соображает.

— Устал,— вслух подумал Ермолкин и провел рукой по лицу.— Да, устал.

Медленными движениями он снял с себя потертые нарукавники, положил их в ящик стола и, прежде чем покинуть редакцию, заглянул к ответственному секретарю Лившицу.

— Вот что... э... Вильгельм Леопольдович,— сказал он, слегка зевая.— Я передовую прочел, а остальное уж, пожалуйста, вы. Только повнимательней, ладно? А я пойду домой.

— Домой? — удивился Лившиц.

— А что, рано? — спросил Борис Евгеньевич.

— Да нет, не рано, а... — Лившиц сначала и сам не понял, чему он удивился, но потом подумал и понял, что никогда не видел Ермолкина уходящим домой.— Хорошо,— сказал он.— Идите, Борис Евгеньевич, и не беспокойтесь, все будет в порядке.

— Ну, смотрите,— предупредил Ермолкин,— я оставляю вас за себя и надеюсь, что все будет как надо. Я думаю, что ваша... э-э... слабость сейчас не...

— Что вы! Что вы! — перебил Лившиц.— Вы же знаете, я бросил окончательно. Уже целый месяц ни капли не принимал.

— Ну, ну, я вам верю.— С этими словами Борис Евгеньевич покинул свой кабинет. Весть о том, что он идет домой, молнией облетела редакцию. Сам Борис Евгеньевич этого не заметил, но, когда он шел по коридору, все двери редакции отворились и сотрудники провожали его долгими изумленными взглядами.

Очувтившись на улице, Борис Евгеньевич прошел несколько шагов в неведомом ему направлении и тут же остановился. И стал в растерянности вертеть головой. Он хорошо знал только два адреса: в райком и в типографию, а вот дорогу к собственному дому

¹ А может, и существовали.

забыл. «Где же я живу?» — стал он мучительно думать и даже обхватил руками свою небольшую голову и наморщил лоб, но к видимым результатам эти усилия не привели.

В памяти, до отказа забитой казенными словосочетаниями, смутно маячили деревянный мостик через какую-то канаву, кусок какого-то плетня, голубая скамейка, и это все. «Совсем заработался», — объяснил Ермолкин свое состояние себе самому и решил спросить дорогу у кого-нибудь из прохожих.

— Гражданочка, — обратился он к первой встречной женщине с двумя кошелками, — вы не скажете, как мне пройти... — Он недоговорил и уставился на женщину отупело.

— Куда? — спросила женщина.

— Одну минуточку, — заторопился Ермолкин. Он достал из кармана свой паспорт и стал искать в нем адрес, по которому был прописан и которого он совершенно не помнил. — Да вот. — Он прочел вслух название улицы, указанной в соответствующей графе, и женщина, как ни была удивлена, словоохотливо и со многими лишними подробностями объяснила, как идти и где куда поворачивать.

Ермолкин пошел, как ему было указано, и вскоре был бы дома, но по пути у перекрестка двух улиц увидел людей, которые, сбившись в кучу, кружились на небольшом пятчке, перемещаясь, меняясь местами и что-то выкрикивая, словно искали друг друга. Это был так называемый хитрый рынок, знакомый ему по временам его юности. Ермолкин удивился. Он думал, что эти хитрые рынки навсегда отошли в прошлое, во всяком случае, в своей газете он давно о них ничего не читал. На страницах его газеты жизнь рисовалась совершенно иной. Это была жизнь общества веселых и краснощеких людей, которые только и думают о том, как собрать небывалые урожаи, сварить побольше стали и чугуна, покорить тайгу, и поют при этом радостные песни о своей баснословно счастливой жизни.

Люди, которых видел Ермолкин сейчас, слишком уж оторвались от изображаемой в газетах прекрасной действительности. Они не были краснощеки и не пели веселых песен. Худые, калеченые, рваные, с голодным и вороватым блеском в глазах, они торговали чем ни попадя: табаком, хлебом, кругами жмыха, собаками, кошками, старыми кальсонами, ржавыми гвоздями, курами, пшенной кашей в деревянных мисках и всяческой ерундой. Что-то похожее на любопытство проснулось в прокишей душе Ермолкина, он вступил в круг этих людей, обуреваемых жадной наживы, и его закружило в водовороте.

Однорукий мужик в подпоясанной веревкой телогрейке стоял над раскрытым мешком с махоркой, во всю глотку выкрикивая:

— Табачок — крепачок, покурил и на бочок!

— Самогон — первачок! — повторял за ним другой мужичонка с большим чайником в руке, видимо, сам он ничего нового придумать не мог.

Разбитная баба в ватных штанах торговала двумя кусками мыла, черного, как деготь:

— Навались, подшевели, расхватали, не берут.

Городская старуха с надменным лицом держала на растопыренных руках лису с костяными пуговицами вместо глаз и ничего не кричала. Лиса была потертая, побитая молю, как и сама старуха.

Молодой человек в темных очках сидел, поджав под себя ноги, в пыли и держал на груди плакат:

ПАДАЙТЕ ОТ РАЖДЕНИЯ СЛЕПОМУ
И ГЛУХОМУ
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ НЕСЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ

— Трах-бах-тарарах, приехал черт на волах, на зеленом венке из самой Америки...

Инвалид на колесиках в тельняшке и бескозырке раскидывал на грязном вафельном полотенце три карты — два туза пиковых и один бубновый.

— Кручу-верчу, за это гроши плачу. Рупь поставишь, два возьмешь, два поставишь — хрен возьмешь. Заметил — выиграл, не заметил — проиграл. Замечай глазами, получай деньгами. Кто замечает — в лоб получает. Трах-бах-тарарах... Ну что, батя, — он обратился к Ермолкину, — что глаза вылупил? Попытай счастья.

— Нет, нет, — сказал Ермолкин и отошел.

У одной тетки купил он два леденцовых петушка и у другой глиняную свистульку в виде петушка же для ребенка. И стал выбирать.

Он собрался покинуть хитрый рынок, когда внимание его привлёк старый еврей в длинном плаще и потертом танкистском шлеме. Старик сидел на деревянной скамеечке рядом с клеткой, в которой помещались две черных морских свинки. Тут же в землю была воткнута палка с прибитой к ней фанеркой, а на фанерке химическим карандашом коряво выведено:

УЧЕННЫЕ МОРСКИЕ КАБАНЧИКИ ЗА 1 РУБЛЬ
ПРЕДСКАЗЫВАЮТ СУДЬБУ

— А вы сами, — приблизился Борис Евгеньевич к старику, — верите в эту чушь?

— Я не знаю, — пожал плечами старик. — Я не гадалщик, я сапожник. Когда у меня есть немножко кожи, я шью обувь не хуже, чем мой сын Зиновий вставляет зубы. Когда у меня нет кожи, я зарабатываю на жизнь чем-нибудь другим.

— Как же вы можете гадать, если сами не верите?

— Кто вам сказал, что я не верю? Я сказал, что я не знаю, но моя жена Циля считает, что эти кабанчики очень умные, потому что они-таки приносят нам немножко денег.

Конечно, ни в какие гадания, ни в какие предсказания Ермолкин несколько не верил, но это стоило так недорого...

Всех трех петушков, и леденцовых, и глиняного, он положил в карман, а из кармана вытащил мятый рубль и, поколебавшись, протянул старику.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, — сказал он, — на что ваши свиньи способны.

Старик, ничего не ответив, взял рубль, снял с колен ящичек с билетами, сложенными в виде пакетиков для порошка и сунул в клетку. Одна из свинок встрепенулась, забегала вокруг ящичка, стала что-то вынюхивать, поглядывая на Ермолкина, словно пытаясь определить, что бы ему такое выбрать похуже, затем решительно сунула нос в ящичек и вот уже один билет забелел в ее мелких зубах.

Старик выхватил билет и протянул Ермолкину. Ермолкин, скептически усмехаясь, развернул и прочел:

«Не доверяйте другим того, что вы должны были сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие. Чужая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Остерегайтесь лошадей».

— Я же говорил: чушь, — сказал Ермолкин, протягивая старику записку. — Ну, что это может значить?

Старик сквозь очки глянул на записку, но в руки не взял.

— Я не знаю, — сказал он. — Может быть, это ничего не значит, а может быть, что-нибудь таки значит.

— Абсолютная чепуха, — уверенно сказал Ермолкин. — Ну, я понимаю, первая часть еще может иметь хоть какой-то смысл, потому что применима ко многим случаям. Но при чем же здесь лошадь?

— Я не знаю, — повторил старик смиренно.

— Но вы это сами писали?

— Не сам.

— А кто же?

Старик посмотрел на Ермолкина, потом еще выше — на небо, как бы прикидывая, не приписать ли сочинение билетов высшим силам, но передумал и признался, вздохнув:

— Невестка моя писала, жена Зиновия. Она имеет хороший почерк и немножко лучше меня знает вашего языка.

Такой простой ответ почему-то обескуражил Ермолкина. Может, он все же надеялся, что билеты составлялись в каких-то потусторонних инстанциях. Он не стал больше спорить, только сказал старику, что его следовало бы отвести Куда Надо и проверить документы.

— Я бы вам не советовал этого делать, — печально возразил старик. — Один такой, как вы, симпатичный, проверял мои документы, но уже его так нет.

Старик вел себя нагло, но Ермолкин решил не связываться, только пробормотал «шарлатанство» и, жалея о потраченном даром рубле, стал выбираться из толпы. Но выбраться оказалось не просто.

Худой небритый дядя в длинной до пят шинели дохнул на Ермолкина перегаром:

— Отец, дуру хочешь?

— Дуру? — удивился Ермолкин. — Какую дуру?

— Да вот же. — Дядя отвернул полу шинели, и Ермолкин увидел противотанковое ружье с укороченным стволом.

— Вы с ума сошли! — сказал Ермолкин и пошел дальше. Но пока он проталкивался, ему еще предложили купить орден Красного Знамени, фальшивый паспорт и справку о тяжелом ранении.

«Что же это происходит? — думал Ермолкин. — И где же я нахожусь?»

— Дяденька, а дяденька. — Борис Евгеньевич оглянулся. Девушка с ярко накрашенными губами держала его за рукав: — Дяденька, пойдем в сарайчик.

— В сарайчик? — переспросил Ермолкин, подозревая, что за этим кроется что-то ужасное. — А собственно, зачем?

— А за этим, — улыбнулась девушка.

— За этим?

— Ну да, — кивнула она. — Я недорого возьму, всего полсотенки.

— Вы что это такое говорите? — зашипел Ермолкин, оглядываясь и как бы ища поддержки у окружающих.

— А что говорю? — обиделась девушка. — Что говорю? Вон за стакан махорки сотню берут.

— Ишь ты, — вмешался в разговор продавец махорки. — Сравнила тоже. Стаканом махорки сто раз накуришься, а ты за один раз звон сколько дерешь.

— Ты его, дяденька, не слушай, — отмахнулась девушка. — Он глупой. Он разницы не понимает. Пойдем, дяденька, ты не бойся, я чистая.

— Да как вы смеете? — багровея, возвысил голос Ермолкин. — Как вы смеете предлагать мне такую пакость! Я коммунист! — добавил он и стукнул себя кулаком во впалую грудь.

Трудно сказать со стороны, на что Ермолкин рассчитывал. Может, рассчитывал на то, что, услышав, что он коммунист, весь хитрый рынок сбегится к нему, чтобы пожать ему руку или помазать голову его елеем, может, захотят брать с него пример, делать с него жизнь, подражать ему во всех начинаниях.

— А-а, коммунист, — скривилась девушка. — Сказал бы, что не стоит, а то коммунист, коммунист. Давить таких коммунистов надо! — закричала она вдруг визгливо.

— А... — сказал Ермолкин и опять стал оглядываться. — Да как же это?

Он думал, что собравшиеся здесь люди хоть и по-

грязли в частнособственнических инстинктах, но дадут решительный отпор этой враждебной вылазке, но никто не обратил на происходящее решительно никакого внимания, только одиозный посмотрел на Бориса Евгеньевича с сочувствием:

— Иди, иди, а то ведь и вправду удавят, — сказал он почти благожелательно и тут же, забыв про Ермолкина, закричал: — Табачок-крепачок!..

Не находя ни в ком другой никакой поддержки, Ермолкин весь как-то сник, съезжился и стал продираться сквозь толпу, а девушка плюнула ему в спину и, совершенно не боясь никакой ответственности, прокричала:

— Коммунист сраный!

Услышав такие слова, Ермолкин даже пригнулся. Ему казалось, что сейчас сверкнет молния, грянет гром или по крайней мере раздастся милицкий свисток... Но не произошло ни того, ни другого, ни третьего.

*

Выбравшись из толпы, Ермолкин сразу прибавил шагу. Девушка отстала. Но в ушах его все еще звучал ее визгливый голос. Коммунист ср... Нет, он даже мысленно не мог прибавить к этому по существу священному слову такого неподходящего и кощунственного даже эпитета. Какой ужас, думал Ермолкин. Откуда взялись эти люди? И куда смотрят власти? А этот старик с его дурацким предсказанием? Остерегайтесь лошадей... Какая несусветная чушь!

Размышляя так, он не заметил по дороге ни деревянных мостков, ни плетня, ни голубой скамейки, но все же каким-то образом очутился перед своим домом и сразу узнал его. «Как же я его нашел? — удивился Ермолкин и сам же себе ответил: — Так, вероятно, лошадь находит дорогу домой. Идет, ни о чем не думая, и ноги сами ее приводят к месту. Тьфу! — в сердцах сплюнул Ермолкин. — Дались мне эти лошади».

Войдя в дом, увидел он сидевшую за столом, покрытым цветастой скатертью, немолодую, изможденного вида женщину в темном ситцевом платье. Отставив в сторону чашку с чаем, женщина смотрела на вошедшего удивленно и растерянно. Женщина эта была похожа на жену Ермолкина, но она была значительно старше, чем он предполагал. Он даже подумал, что, может быть, это вовсе и не жена, а теща приехала из Сибири, но женщина кинулась к Ермолкину, вскрикнула: «Борис!» (он вспомнил, что именно она, его жена, всегда произносила его имя с ударением на первом слове) — и повисла на шее, как тещи обычно не виснут. Уткнувшись в его грудь лицом, она плакала и бормотала что-то невнятное, из чего он понял, что она упрекает его в слишком долгом отсутствии.

— Ну-ну, — успокаивал он, похлопывая ее по костлявой спине, — ты же знаешь, у меня было в последнее время много работы.

— Последнее время, — всхлипывала она, — последнее время, за это время я могла умереть.

— Ну зачем же уж так. — Мягко отстранив жену, он заглянул в соседнюю комнату, которая была, как ему помнилось, детской. Но ничего детского, то есть ни кроватки, ни игрушки, ни самого ребенка он не увидел. Борис Евгеньевич обернулся к жене.

— А где же наш... — пытаясь вспомнить имя сына, он пожевал губами — ...а где же наш... карапуз?

Жена утерла слезы воротником платья, посмотрела на Бориса Евгеньевича долгим испытующим взглядом и вдруг, догадавшись о чем-то, спросила:

— А как ты думаешь, сколько лет нашему карапузу?

— Три с половиной, — сказал Ермолкин, но тут же засомневался. — Разве нет?

— Нашего карапуза,— медленно проговорила жена,— вчера... — она сделала глотательное движение,— ...взяли на фронт.— И снова заплакала.

— Ерунда какая-то,— пробормотал Ермолкин.— Таких маленьких в армию...

Он хотел сказать, что таких маленьких в армию не берут, но спохватился, стал считать и высчитал, что сын его родился в год смерти Ленина, почему и получил имя Ленж, что означало Ленин Жив (дома его звали ласково Ленжик). Значит, сейчас Ленжику... Ермолкин отнял от сорока одного двадцать четыре... Семнадцать... Да, семнадцать лет...

Да как же это так получилось? Ермолкин машинально сунул руку в карман и нащупал что-то липкое. Он это липкое вынул. Два купленных им на рынке леденцовых петушка слиплись с глиняным петушком. Ермолкин бросил их к печке. Но откуда он взял, что Ленжику три с половиной? Именно столько было ему, когда они приехали в Долгов и когда Борис Евгеньевич занял пост ответственного редактора «Большевистских темпов». Тогда он был и редактором, и корректором, и наборщиком. А потом организация типографии, работа с селькорами, коллективизация и прочие интересные события. И надо было держать ухо востро, чтобы не допустить политической ошибки. Ермолкин все больше и больше времени проводил в редакции, сидел за столом, курил дешевые папиросы, пил чай вприкуску и водил своим бдительным карандашиком по корявым строчкам, превращая верблюдов в корабли пустыни, а леса в лесные массивы или в зеленое золото. Поначалу он иногда приходил домой поздно ночью или даже перед рассветом с блудливым видом, словно от любовницы, и уходил поздно, когда жена была уже на работе, а сын в детском саду. Но приходы его становились все более символическими, все чаще ночевал он прямо в кабинете, скрючившись на неудобном кожаном диване, чтобы утром, наспех промыв глаза, снова засесть за обычное свое занятие, которое постепенно из обязанностей превратилось в неумную страсть. Теперь казалось, оторви его от этой шершавой бумаги, от этих неровно, как кривые зубы, составленных букв, он затосковал бы, как тоскуют по любимой женщине и по Родине или по чему-нибудь еще столь же возвышенному, и умер бы от этой безысходной тоски. Конечно, если б его спросить, он сказал бы, и, наверное, искренне, что служит Отечеству, Сталину или партии, но на самом деле служил он вот этой самой своей мелкой страсти калечить и уродовать слова до неузнаваемости, а также выискивать и предугадывать возможные политические ошибки.

Сейчас в душе Ермолкина что-то перевернулось, и он, может быть, впервые забеспокоился: на что потрачено четырнадцать лет единственной и неповторимой его жизни на этой земле? Нет, сказал он самому себе, так дальше продолжаться не может, работа работой, служение высоким идеалам тоже дело хорошее, но надо же хоть немножко времени оставить и для себя.

— Вот что, милая... — обратился он к жене.

— Меня зовут Катя,— сказала она.

— Да, конечно, я помню,— слукавил Ермолкин.— Вот что, милая Катя, я полагаю, что нам надо переменить образ жизни. Я слишком заработался. Давай сегодня же что-нибудь предпримем.

— Что предпримем? — спросила Катя.

— Ну как вообще люди проводят свободное время?

— Как? Ну, например, в кино ходят,— сказала она с готовностью.

— В кино? — оживился Ермолкин.— Хорошо. Идем в кино.

В Доме культуры железнодорожников было душно.

Было много военных и эвакуированных. Показывали лучший фильм всех времен и народов «Броненосец «Потемкин». Лента была старая, шипела и рвалась. Показывали одним аппаратом, после каждой части включали свет. После третьей части появились две контролерши и стали проверять билеты. После четвертой части Ермолкин заснул — сказались многолетняя усталость. Время от времени он просыпался и таращил глаза на экран, на котором кого-то бросали за борт. Засыпал и опять просыпался, и опять кого-то бросали за борт.

Потом уже дома в постели он опять засыпал, и просыпался, и слушал бесконечный рассказ жены, как она жила все эти годы, как растила Ленжика, как у него прорезались первые зубки, как он болел корью и скарлатиной, как пошел в первый класс и принес первые отметки, как вступил в пионеры и в комсомол. И, вновь засыпая, Ермолкин думал, как хорошо, что он у себя дома и лежит не один, а с женой и не на голом диване, а на пуховой перине, на хрустящей от крахмала простыне. И он благодарно думал о жене, что она его за эти годы не бросила, и благодарно думал о себе, что он вовремя опомнился и вернулся к ней.

Но долгая привычка спать на казенном диване не прошла даром, и утром Ермолкин, открыв глаза, долго не мог понять, где находится и кто лежит рядом с ним. Потом вспомнил все и улыбнулся.

Позже он встал, надел полосатую пижаму (с вечера приготовленная женой, она висела на спинке стула), шлепанцы, пошел к почтовому ящику и вынул из него все газеты, на которые был подписан, в том числе и свои родные «Большевистские темпы».

Собственно говоря, он начал свой день как обычно, как начинал его все четырнадцать лет своей журналистской деятельности. Но принципиальная разница состояла в том, что сегодня он взял читать свою газету не как редактор, а как обыкновенный благополучный человек, который имеет привычку по утрам, прежде чем приступить к исполнению своих повседневных обязанностей, в спокойной домашней обстановке за чашкой чая поскользится по строчкам рассеянным взглядом и принять к сведению, что в мире происходят такие-то и такие события.

Итак, он начал скользить глазами по строчкам и начал с передовой. Но недолго ему удалось изображать из себя обыкновенного читателя. Постепенно над читателем взял верх редактор. Сказалась многолетняя привычка, и, отвлекшись от чая, он стал ложечкой водить по строчкам, автоматически отмечая, сколько раз попадается слово «Сталин», правильно ли расставлены запятые и точки, тем ли статья набрана шрифтом и вообще все ли в порядке, и вдруг...

Право, не хочется дальше писать, рука не поднимается и перо выпадает из рук.

«Указания товарища Сталина,— прочел Ермолкин,— для всего народа нашего стали мерином мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития». Ермолкин ничего не понял и снова прочел. Опять не понял. Слово «мерином» чем-то ему не понравилось. Он отбросил ложечку, взял карандаш и, поставив на полях газеты специальные значки, означающие вставку, заменил это слово «тягловой единицей конского поголовья». Прочел всю фразу в новой редакции: «Указания товарища Сталина для всех советских людей стали тягловой единицей конского поголовья мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». В новом виде фраза понятней не стала.

Восстановил «мерином», еще раз прочел и...

Катя гладила на кухне мужу белую рубашку, когда услышала нечеловеческий вопль. Вбежав в комнату, она увидела мужа в неестественной позе. Медленно

сползая на пол, он сучил ногами, бился головой о спинку стула и, выпучив глаза, кричал так, как будто два десятка скорпионов впились в него с разных сторон.

— Бóрис! — воскликнула Катя, кидаясь к мужу и тряся его за плечи. — Что с тобой?

Бóрис орал, продолжая сползать. Она ухватила его под мышки и тянула к себе, пытаясь удержать на стуле. При всей своей внешней тщедушности он оказался очень тяжелым. Наконец ей удалось придать его телу состояние неустойчивого равновесия.

— Ты посиди, — сказала она, прижимая его плечи к спинке стула, — я сейчас.

Она принесла кружку воды. Борис Евгеньевич жадно схватил кружку и, ударяясь о ее края зубами, расплескивая воду на грудь, сделал несколько судорожных глотков и отчасти, кажется, успокоился, откинул голову на спинку стула, словно готовился к тому, что его будут брить, открыл рот и закатил глаза.

— Бóрис, — ласково сказала Катя. — Скажи мне, что с тобой?

— Там, — не меняя позы, Ермолкин согнутым пальцем показал на газету, — там... Прочти сама... то, что подчеркнуто.

— «Указания товарища Сталина, — прочла Катя, — для всех советских людей...»

Ермолкин слушал, прикрыв глаза, словно от яркого света. Он с трепетом ждал этого злосчастного слова, надеясь, что Катя прочтет его так, как оно должно звучать на самом деле.

— ...стали мерином мудрости и глубочайшего...

— Хватит! — Ермолкин вскочил и с несвойственной ему энергией забегал по комнате.

Она следила за ним растерянно.

— Ты же сам просил...

— Я ничего не просил! — Продолжая бегать, он заткнул пальцами уши. — Я ничего не хочу даже слушать.

Она снова взяла газету, прочла не только подчеркнутые, но несколько строк до и после. Она читала медленно, шевеля губами. Он подбежал к ней и вырвал газету.

— Бóрис! — закричала она. — Я не понимаю, чем ты так взволнован?

Он остановился как вкопанный.

— Как не понимаешь? — повернулся к печке. — Она не понимает. — Повернулся опять к жене и спросил по складам: — Что-ты-не-по-ни-ма-ешь? Ты видишь, что здесь написано? Это же полная чушь. Указания стали мерином. Мерином, мерином, мерином...

Он бросил на пол газету и схватился за голову.

Катя смотрела на него с сочувствием и растерянно. Она действительно не понимала. Делая скидку на недостатки своего женского ума, она думала, что фраза, возбуждавшая такую бурю в душе ее мужа, не большая чушь, чем все остальное.

— Но, Бóрис, — сказала она мягко, — мне кажется...

— Тебе кажется! — закричал он. — Ей кажется! Что тебе кажется?

— Мне кажется, — сказала она тихо, стараясь не возбуждать его гнев, — может быть, это не так глупо. Ты помнишь, в физике единица мощности измеряется лошадиной силой. А мудрость товарища Сталина, может быть, измеряется...

— Мерином? — подсказал Ермолкин.

— Ну да, — кивнула она с улыбкой. — Ну, может быть, не одним, а двумя-тремя.

— Ха-ха-ха-ха, — громко рассмеялся Ермолкин. Он смеялся истерически и неуправляемо, так же, как только что плакал.

И вдруг остановился и выпучил глаза.

— Дура! — сказал он тихо.

Она отшатнулась, как от удара.

— Как?

— Дура! Дура набитая. В твоём курином мозгу сто меринов глупости.

— Бóрис, — сказала она с упреком, — я ждала тебя столько лет.

— И напрасно! — завизжал он. — Все из-за тебя, из-за твоего великовозрастного сыночка.

— Бóрис!

— Что Бóрис? Один раз за все годы позволил себе, и вот... нет, надо что-то предпринимать.

Он скинул с себя пижаму, расшвырвав в разные стороны верхнюю и нижнюю ее половины. Надел свой обычный костюм. И, обозвав еще раз жену душой, проклиная себя за то, что поддался слабости и решил навестить семью, бросился прочь из дому.

В единственном на весь город газетном киоске «Большевистские темпы» были уже распроданы. На всякий случай Ермолкин заглянул на почту и там узнал, что подписчикам разосланы все экземпляры, а один, как обычно, послан в Москву, в Библиотеку имени Ленина.

*

Что было дальше, разные люди рассказывают по-разному.

Согласно одной версии, Ермолкин предпринял отчаянную и беспримерную в своем роде попытку изъять и уничтожить весь тираж со злополучным «мерином». С этой целью он якобы обошел всех подписчиков, живущих в пределах города Долгова, и объехал всех, живущих за пределами. Он посетил также районную библиотеку, кабинет партийного просвещения, все красные уголки колхозов, совхозов и предприятий местной промышленности. Некоторые экземпляры он скупил (иногда за большие деньги). В одном случае называют даже сумму в сто рублей), некоторые выпросил за так, а некоторые украл. В результате ему удалось собрать весь тираж, кроме одного экземпляра, как раз того, который был отправлен в Библиотеку имени Ленина. После этого Ермолкина, говорят, стали мучить кошмары. Он представлял себе, что там в библиотеке этот номер немедленно прочтут и сразу дадут знать Куде Надо, а Оттуда (в Москве все близко) может дойти и до самого Сталина. И говорят, что Ермолкину будто бы каждую ночь снился один и тот же сон: Сталину приносят газету с «мерином», подчеркнутым красным карандашом. Сталин читает написанное, Сталин курит трубку, Сталин спокойно спрашивает:

— Кто совершил это вредительство, эту идеологическую диверсию?

И кто-нибудь из ближайших сотрудников указывает Сталину на последнюю страницу газеты, где обозначено: «ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Б. ЕРМОЛКИН».

Тогда товарищ Сталин отдает короткое распоряжение, которое быстро спускается по инстанциям, достигает местных органов, ночью из ворот выезжает крытый автомобиль под названием «черный ворон», останавливается перед входом в редакцию, и вот уже кованные сапоги топают по коридору.

— А-а-а! — кричал во сне Ермолкин и просыпался от собственного же крика в холодном поту.

По другой версии, Ермолкин недобрал двух экземпляров: кроме отправленного в Библиотеку имени Ленина, еще и того, который выписывало местное Учреждение, и инициатива посылки «черного ворона»

исходила не от Сталина, а от самого этого Учреждения, то есть не сверху, а снизу.

По версии номер три, Ермолкину не удалось собрать ни одного экземпляра, весь тираж сразу же был пущен в дело — на самокрутки, на растопку, на завертывание селедок (которые как раз тогда выдавали по карточкам вместо мяса) и по своему главному назначению, для чего, собственно говоря, люди их и выписывают. По этой версии, «мерина» читатели просто-напросто не заметили, потому что газету «Большевицкие темпы» в Долгове не читал никто никогда.

Итак, версии различны. Но все они кончаются ночными кошмарами Ермолкина, приездом «черного ворона» и сдавленным криком «А-а-а!».

Доподлинно известно, что со временем Ермолкин успокоился. И может быть, даже решил, что все обойдется. И как раз в это время попала ему присланная в газету заметка анонимного автора

«МОЖЕТ ЛИ МЕРИН СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

На заданный им вопрос автор отвечал утвердительно. Он приводил уже известные читателю доводы о беспримерной работоспособности лошади. «А что у нее нет пальцев,— опровергал он возможные возражения,— так это говорит только о том, что она не сможет, конечно, стрелять из винтовки или играть на музыкальных инструментах, но на способностях ее к абстрактному мышлению этот недостаток ее отразиться не должен». На этом автор не остановился. Он шел дальше. Он ставил вопрос острее: в какого человека может превратиться трудолюбивая лошадь — в нашего или не нашего? И утверждал, что если лошадь трудится в условиях нашей системы, то и в человека она превратится, несомненно, в нашего же.

Автор заключал свою заметку опасениями, что его смелые в научном отношении мысли могут быть превратно истолкованы консерваторами и бюрократами, и писал, что именно поэтому он пока не может открыть своего имени широкой читающей публике.

Прочтя эту заметку, Ермолкин пришел в ярость. Он топал ногами и требовал ответа на вопрос, кто посмел подсунуть ему эту дрянь. Выяснилось, что дрянь подсунул все тот же Лившиц, вышедший как раз из запоя. Ермолкин призвал к себе Лившица, накричал на него и пригрозил не только уволить, но и отдать под суд за прогулы и опоздания. Потом, однако, сник, и стал думать, и решил, что эта заметка не просто бред какого-то неизвестного графомана, а намек на то, что ему не надо дожидаться, когда за ним, как за барином, придут на «черном вороне» и возьмут под белые руки, а пойти самому и во всем повиниться.

*

Ну, а теперь перейдем к лейтенанту Филиппову, который никак не может избавиться от Чонкина. Он все подготовил как нужно, оформил надлежащим образом и отправил в военный трибунал дело Чонкина. И стал ждать, когда же этого проклятого Чонкина заберут. А его не берут. И вот лейтенант звонит в этот самый военный трибунал. Ему повезло.

— Полковник Добренский слушает,— отозвалась трубка.

Лейтенант ужасно рад. Как раз именно полковник Добренский, которого никогда не бывает на месте, ему и нужен. А не бывает полковника на месте, потому что он является председателем выездной тройки трибунала и всегда находится в командировках. Лейтенант сжато излагает суть вопроса. Дело Чонкина производством закончено и передано в распо-

ряжение военного трибунала. Так нельзя ли забрать туда и самого Чонкина? Потому что, находясь в тюрьме, он уклоняется от заслуженного наказания и, более того, разлагающе влияет на местный контингент заключенных.

— Все понял и разъясняю,— дребезжит трубка,— мы этого вашего Чонкина в настоящий момент до себя взять не можем, местов нету. Гарнизонная гауптвахта — под завязку. Кроме того, есть указание: дезертиров, самострельщиков, паникеров и прочую мелочь судить показательно на местах, что будет иметь огромное воспитательное значение для всего местного населения. Понял, лейтенант?

— Понял,— отвечает лейтенант Филиппов.— А ждать вас когда же?

— А ждать нас не нужно. Таких Чонкиных по области вагон и маленькая тележка, а тройка у нас одна. Когда очередь дойдет, тогда и приедем.

Лейтенант кладет трубку и думает: ну ладно, ну пусть. В конце концов, не я буду ждать, а Чонкин. А у меня и без Чонкина дел полно. Вон человек какой-то стоит, ему тоже от меня что-то нужно. А что, собственно, за человек и как он здесь очутился?

Лейтенант очнулся, вздрогнул, посмотрел на человека, стоявшего в позе просителя у дверей.

— Вы по какому вопросу? — спросил лейтенант.

— Вы меня? — спросил человек и ткнул себя пальцем в грудь.

— Ну, а кого же? Здесь, по-моему, кроме нас двоих, никого нету.

— Да, да,— печально согласился человек и приблизился к лейтенанту.— Я понимаю, что вам все известно. Но прошу учесть, что я сам явился с повинной.

— О чем это вы? — спросил лейтенант устало.

— Я относительно мерина...

— Мерина? — Лейтенант придвинул себе настольный календарь и записал слово «Мерин» с большой буквы, думая, что это фамилия.

— Имя-отчество? — спросил он.

— Борис Евгеньевич.

— Так,— кивнул лейтенант, записывая.— И что же он сделал?

— Кто?

— Ну, этот ваш... — Лейтенант сверился с записью... — Мерин Борис Евгеньевич.

— Вы меня не так поняли. Борис Евгеньевич — это я.— И он опять ткнул себя пальцем в грудь, словно объяснял глухонемому.

— Понятно,— сказал лейтенант,— и что же вам нужно, гражданин Мерин?

— Простите,— улыбнулся посетитель,— вы опять меня не так поняли. Мерин — это всего лишь опечатка. Жуткая, нелепая, удивительно глупая опечатка. Должно было быть «мерилом», но наборщик взял из кассы не ту букву. Ужасная ошибка. Трагическое недоразумение. И, вы понимаете, я всегда следил за всем лично, но в этот день как раз пришла жена этого Чонкина... И вот в результате такая ошибка... Ермолкин схватился за голову и заскрежетал зубами.

Лейтенант нахмурился. Из всего сказанного посетителем он услышал только два слова: «Чонкин» и «ошибка».

— Гражданин Мерин,— сказал он сурово.— Что вы мелете? Я вам первый и последний раз советую понять и запомнить, что у нас ошибок вообще не бывает.

— Уверю вас, вы ошибаетесь,— живо возразил Борис Евгеньевич,— я не мерин, я...

— Я, я, я,— скорчив рожу, передразнил лейтенант,— я вижу, что вы не мерин, я вижу, что вы осел.

Ермолкин изменился в лице.

— Как? Что? Что вы сказали? Как вы посмели меня, старого партийца... Да если бы был жив Дзержинский... Он даже с идейными врагами не позволял...

— Ага,— поймал его на слове Филиппов,— значит, вы признаете, что вы идейный враг?

— Что? — Ермолкин побледнел от несправедливой обиды.— Я — идейный враг? Да, конечно, я понимаю, что совершил ошибку. Но я коммунист. Я член партии с тысяча девятьсот двадцать... — Он пошевелил губами, но не вспомнил года.— Я понимаю.— Он возбудился и замахал руками, как крыльями.— Вы не хотите принять во внимание, что я явился с повинной. Но вам скрыть этот факт никак не удастся. Я не допущу...

— Не допустишь? — Филиппов, выйдя совершенно из себя, послал Ермолкина к матери и даже указал, к какой именно.

— Сопляк! — закричал Ермолкин, позабыв, где находится.— Сам иди туда, куда ты меня посылаешь.

Он был несносен. Филиппов нажал кнопку, и на сцене появился сержант Клим Свинцов. Свинцов сделал несколько энергичных движений, и Ермолкин с оторванным воротником вновь оказался на свободе.

— Я этого дела так не оставлю,— сказал он, потирая ушибленное колено, и отправился в областной город искать справедливости, то есть требовать, чтобы его посадили, но отметили в деле, что он явился добровольно, а не приведен был под белы руки.

Тут некоторые читатели могут спросить: а что же в это время, когда Ермолкин справедливости добивался, газета «Большевистские темпы» выходила ли? А если выходила, то кто ее подписывал? Признаться, автор этим совершенно не интересовался и ничего определенного по этому поводу сказать не может. О Ермолкине же известно, что в областной город он

попал, ночевал на вокзале, а утром следующего дня был первым посетителем Романа Гавриловича Лукина.

*

Трудно себе представить, как это в нем сочеталось, но Ермолкин, с одной стороны, верил в то, что органы наши состоят сплошь из кристально чистых людей, немного, может, таинственных, с другой стороны, представлял себе областного начальника чем-то вроде вурдалака с волчьей пастью и огромными волосатыми ручищами. Вместо этого он увидел за широким столом не человека, а голову. Бритая голова с большими ушами лежала подбородком на столе и смотрела на Ермолкина маленькими глазами сквозь розовые очки с толстыми стеклами. Ермолкин растерялся и остановился посреди кабинета. Голова качнулась в сторону, и вдруг маленький человек, чуть ли не карлик, в военной форме появился из-за стола и на коротких ножках, как на колесиках, быстро подкатился к Ермолкину.

— Борис Евгеньевич! — воскликнул человек и вцепился в руку Ермолкина двумя своими.— Чудовищно рад. Видеть. Вас. У себя,— сказал он, как бы ставя после каждого слова точку, и защелкал зубами, которые у него были большие, но нисколько не походили на волчьи.

— Вы меня знаете,— не удивился, а отметил Ермолкин.

— Как же, как же,— сказал Лукин.— Было бы странно. Если бы не.— Он во весь рот улыбнулся и опять защелкал зубами.

— Значит, вам все известно?

— Да. Разумеется. Все. Абсолютно.

— Я так и думал,— потряс головою Ермолкин.—



Но прошу вас отметить, что я сам явился с повинной.

— Да,— сказал Лужин.— Конечно. Отметим. Все непременно. Где заявление ваше?

— Заявление? — растерялся Ермолкин. — Я. Собственно. Думал. Что. Устно.— Он не заметил, как тут же заразился лужинской манерой говорить.

— Увы,— сказал Роман Гаврилович.— Мы. Любим. Чтобы все. На бумаге. Поэтому. Я вас прошу.— Он схватил Ермолкина за локоть и повел к выходу.— Там. Девушка. Секретарь. Возьмите. У нее. Лист бумаги и изложите все коротко, но подробно. Как сказал пролетарский великий. Человеческих душ инженер. Чтоб словам было тесно, а мыслям... Как?

— Просторно,— подсказал Ермолкин.

— Вот именно,— засмеялся и защелкал зубами Лужин.— Просторно чтоб было. А потом заходите. А пока. Извините. Дела. Чудовищно заняты.— И, распахнув перед Ермолкиным тяжелую дверь, сделал ручкой.— Прощу.

Ошеломленный Ермолкин вышел в приемную. Тут нос к носу столкнулся он с женщиной деревенского вида и в ней сразу узнал ту самую посетительницу, после визита которой и начались у него все неприятности. «Вот оно что! — поразился Ермолкин.— Значит, все было подстроено. Как тонко! И как хитро!»

— Здравствуйте,— улыбнулся ей Ермолкин.— Вы меня помните?

— Помню,— сказала Нюра, насупившись.

Она поняла, что этот убийца маленьких детей пришел сюда не случайно. Очевидно, он уже предупредил о ее появлении. Она даже попыталась к дверям, но тут из своего кабинета выглянул Лужин и, увидев Нюру, спросил:

— Вы ко мне?

— К вам,— ответила Нюра.

— Войдите.

И Нюра вслед за Лужиным скрылась за дверью. Ермолкин долго смотрел на дверь, затем, опомнившись, подошел к секретарше, грудастой женщине в форме с двумя треугольниками в петлицах и со значком «Ворошиловский стрелок». Ермолкин попросил у нее бумаги, сел к стоявшему в дальнем углу

стола для посетителей, вынул из кармана самописку, потряс ею, пока чернила не брызнули на пол, и так начал свое печальное повествование:

«С большим трудовым подъемом встретили трудящиеся нашего района...» — Тут Ермолкин остановился. «Что я пишу? — подумал он.— С каким трудовым? Какие трудящиеся? Что встретили?»

За долгие годы службы в печати все свои статьи, заметки, передовые и фельетоны начинал он этой фразой и никогда не ошибался. И всегда фраза эта была к месту, от нее легко было переходить к развиту основной мысли, но в данном случае... Старый газетный волк, шевеля толстыми, как лепешки, губами, смотрел он на начальную строку и постепенно сознавал, что он, умеющий писать что угодно на любую заданную тему — о трудовом почине, о соцсоревновании, о стрижке овец и идеологическом единорборстве,— совершенно не находит никаких слов для описания действительного происшествия, свидетелем, или участником, или, точнее, виновником которого ему довелось быть.

Зачеркнув написанное, Ермолкин стал обдумывать новое начало, когда в коридоре послышался приближающийся грохот сапог и в приемную вошли три человека — двое военных и между ними один штатский в темно-синем костюме.

— Роман Гаврилович у себя? — спросил один из военных у секретарши.

— Он занят,— сказала она.

— Подождем.

Они сели на стулья вдоль стены — штатский посредине, а военные по бокам. Военные застыли с неподвижными лицами, штатский же, наоборот, проявлял ко всему, что он здесь видел, живейшее любопытство. Он с интересом разглядывал приемную, секретаршу и Ермолкина. Ермолкин, в свою очередь, тоже исподтишка поглядывал на штатского. Это был высокий, средних лет человек начальственного вида. Держался он так, словно хотел показать, что попал сюда случайно, по недоразумению, которое вот-вот разъяснится, и те, кто привел его сюда, будут строго наказаны.

(Продолжение следует.)



Галина
ГРИДИНА

Дебют в
ЮНОСТИ

Газетная полоса

1.
Страх, вроде забытый, ударит под дых —
и станешь онасливей второе.
И снова придется из «снов золотых»
кроить бытие золотое,
увлечься увечной, но вечной игрой —
героя лепить из повесы.
Двухтысячной пробы родился герой
под штампом старательной прессы.
В нем все гармонично.
Не то, что во мне,
в тебе или в нашем соседе.
Он верен «глубинке»,
как язь глубине,
и дальше райцентра не едет.
Он в меру умен
и собой недурен.
Он самого среднего роста.
В нем все соответствует духу времен
и главным параметрам ГОСТа.
Ряды его множатся день ото дня,
и мускулы крепнут на диво...
Когда-нибудь он укукошит меня
за то, что его породила.

2.
В отделе писем маленькой «районки»
конверты на столах редакторов.
Тот, видно, болен: почерк слишком тонкий.
А этот вызывающе здоров.
Один хитрит. Другие правду режут,
да так, что правда-матушка вопит:
вон тот клеймит кондуктора-невежу,
а этот бурно кроет общепит.
С утра идет в отделе сортировка:
конвертов горы, вьется пыль столбом,
редактор-хват по-цирковому ловко
жонглирует листками над столом.
Он не привык зазря тянуть резину:
«Вот это в номер. Это про запас.
А это что? Стихи? Стихи — в корзину.
Не засоряй умы широких масс».
В отделе писем маленькой «районки»
я наугад открою письмецо —
седой старик с наивностью ребенка
и с тайной верой глянет мне в лицо:
«Ответь, газетчик, рассуди, газетчик...» —
дрожащего пера неровный бег.
Ни перед кем на свете не ответчик,
газетчик, он ведь тоже человек.
Кому, старик, мы в этой жизни судьи,
коль сами спотыкаемся во мгле,
и кто-то сортирует наши судьбы,
как почту на редакторском столе...

☆☆☆

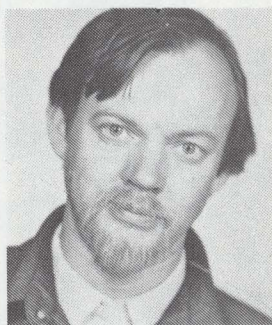
Голубиная драка
на сыром захолустном дворе.
Хвост поджала собака
и завyla в своей конуре.
Даже грешницы-кошки —
стороной, не поняв ничего:
из-за булочной крошки
все накинудись на одного.

Голубиная битва!
Воркованье? Воинственный клич!
Нынче напрочь забыта
вся тщета человеческих притч,
что вчера еще святы,
и во имя нептичьих забот
нынче насмерть собрата
голубиная стая забьет.

Им усердствовать любо,
ведь заучена роль на века:
наспех вытерев клювы,
прежним символом взмыть в облака...

Но сжигая поверье,
багровеет на небе заря,
словно липкие перья
на остывшей груди сизаря.

Волгоградская обл. г. Волжский



Андрей
НИХ

Дебют в
ЮНОСТИ

☆☆☆

Действительно, оркестрант был тот,
который пресытился любовью еще до осени.
Он лег в рожь и умер со скрипкой под мышкой.
А друзья, которые нашли его там,
были словно в лихорадке.

В знак траура они обнажили
свои пожелтевшие зубы.

Я носил смерть на своих плечах

Долго-долго я носил на своих плечах смерть,
огромную сову с расправленными крыльями:
днем она спокойная, и все-таки тяжеловато носить ее,
по вечерам испарения болотистых джунглей
плохо действуют на нее —

теперь она только и делает,
что беспрестанно гукает, гукает и гукает —
гукает, словно сумасшедшая,
гукает, словно кикимора,
гукает, словно тапир в ящуре,
гукает, словно лунатичка.
Мои уши от этого в волдырях.
Из моих ушей вытекает

некое кислое пальмовое молоко.

Моя кожа становится все серее,
словно река Ориноко в марте месяце.
Весь волосяной покров моего тела
тотчас спадает на пол.

Это мне совсем не нравится.
Слишком долго носил я на плечах смерть,
огромную сову с поникшими крыльями.
Слишком тяжелой стала она для меня.
Не остается мне другого выхода,
как пробудиться к жизни.

Перевел с эстонского В. ШИРОКОВ

Петр КОЖЕВНИКОВ

ЛИЧНАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ

Повесть

14 марта. Кабинет главного инженера. Поиск правды.

Наше вторжение прерывает приятельский дуэт Атамана с двойником Льва Лещенко. После представления новому лицу нам предлагается сесть. Санта-Клаус располагается около распаренной Эгерии: она, чувствуется, здесь давно, очевидно, до появления инспектора, и приняла фирменную порцию угроз из меню Панча. Я устраиваюсь напротив главного инженера. На стульях у окна — Дитя, Атаман и Полип. Дубль Лещенко задает всем вопросы на тему травмы. Участвующим в игре предлагается составить объяснительные записки.

Атаман не выдерживает напряжения и вопит о продолжении диспута в прокуратуре — от него не разлило спиртным, как я обозначил в докладной о проверке на заре. Мудрый Панч осаживает неуместную рьяность.

У них, конечно, затаены резервы. Пауза расшифровывается в приемной. Покидая кабинет, процессия обнаруживает отдавшего Морфею Подымите Мне Веки. Атаман трясет рабочего вместе с диваном. Из носоглотки авангарда исторгается слизь. «А где второй?» — Начальник клацает в замшелую раковину. — «Второй неделю не показывается», — доверительно распыляет выделения запасной игрок. — «Чтобы я тебя с этого дня в управе не видел!» — Я свидетельствую резюме, получая из рук Кормящего обращение ко мне с перечнем мер, умиротворяющих ретивость Атамана. Аналогичный свиток вручен Санта-Клаусу.

17 марта. Участок. Икс минус два.

Кумтыква и Портвейн сообщают мне о том, что Панч вымогал у них докладные, удостоверяющие, что они видели, будто в день травмы, направляясь к причалу, я хромал. — «Три часа домогался», — вздыхает Портвейн. — «Грозился из капитанов разжаловать». — «Нашел кого просить. Я ему столько сделал, что он до гробовой доски за то не раскидается: консервы, бензин, резину». — Тортилла хмелеет от криминального перечня. — «А денег сколько передал: за внеурочные, матпомощь?! А когда я к нему пришел, он что сказал: «Я в эти игры не играю». Так вот, теперь и я не играю. А тронуть — пусть попробует: я дорогу в прокуратуру знаю». — Вахтенный по бытовке, в прошлом директор пивбара, осевший после осечки на замутненное дно предприятия реабилитации гидросферы, замеряет сквозь диоптрии эффект риторики. — «А ты мне ничего худого не причинил, и мне тебя топтать не за что...»

18 марта. Кабинет главного инженера. Дуэль.

— Первое, о чем я хочу тебя спросить: что ты хочешь? — Сказать, что мое теперешнее желание — подольше посидеть в твоём кабинете, значит, выдать план. Нет, я буду рваться отсюда, а тебе придется меня удерживать.

— Любого положительного решения моего вопроса. — Он убежден, что моя цель — сороковник за травму. Это кстати, хотя с его хитростью он может почуять и глобальную цель.

— Если ты собираешься увольняться, то можешь добиваться положительного исхода. Только учти, что тебе окажется очень трудно устроиться на работу с клеймом жалобщика и вымогателя. Особенно если ты решил связать свою жизнь с флотом. — Что же, после выведывания намерений имеет смысл взять на испуг. Ему невдомек, что я могу хоть сейчас сделать харакири, если действительно пойму, что мне — ПОРА, так что при чем тут увольнение, флот, какой вы, однако, мелкокалиберный!

— Я не собираюсь увольняться. После окончания училища я намерен дипломироваться на капитана-

Окончание. Начало см. в № 5 за 1990 г.

механика.— Пусть усомнится в моем здравомыслии.

— Дипломироваться?! Да неужели ты не понимаешь, что станешь вечным мотористом?! И ни я, и никто тебе не сможет помочь. Ты сам выносишь себе приговор своей настырностью. Если ты останешься у нас после получения акта о производственной травме, благодаря чему наши работники лишатся возможности участвовать в социалистическом соревновании, получении тринадцатой зарплаты, возможности суточной работы и многом другом, то как ты им будешь смотреть в глаза? Я не хочу тебя пугать, но у нас четыреста человек плавсостава, многие семейные: ты не думаешь о последствиях? — Демонстрация орудий пыток и умерщвления. Панч, который заочно увольнял неугодных работников, расходует время на словесность.

— Не думаю, что продолжение моей трудодеятельности на нашем предприятии окажется связанным с конфронтацией или забвением.— Если он начинает работать в лоб, значит, дело ему действительно представляется незаурядным. Попробую протянуть гире руку — он любит маскарад миротворца.— Неужели вы не подскажите мне, что делать?

— Что делать? Отказаться от травмы! — Панч вытягивает очередную сигарету. Несмотря на вентилятор, дым окутывает и мое лицо. Ленты дыма имитируют нашу цельность в объеме кабинета, как мазки Мюнша. В дополнение к обильному филерству в окна бормашинной стрекочут неоновые трубки над нашими головами, а на столе главного зажжен светильник с эластичным хребтом. Впрочем, свет его пока эпигонствует на музыкальных акварелях Чюрлениса, угадываемых в зеркальной поверхности стола.

— Возьми бумагу, я тебе продиктую текст новой объяснительной, которой ты вернешь свое доброе имя.— Неужели он поверил, что его меркантильные пассы столь действенны? Придется симулировать, что я ослышался и услужливо побежал в другую сторону.

— Когда вы вызывали меня до профкома, то гарантировали положительное решение вопроса, однако на заседании, вместо того чтобы квалифицировать мою травму как «по дороге на работу», ее признали «бытовой».— Теперь можно загнать одну карту.— Я решил, что таким образом вы хотели меня наказать за попытку обращения за помощью в профсоюз. Поэтому я не стал вам больше надоедать, а направил письмо в газету.

— Вот этого было не надо. Ты бы пришел лучше сюда, ко мне, и все рассказал: я ведь не знал, какое там было решение. Ты думаешь, у меня только и дел, что следить за всеми сварами на предприятии? — Он недоумевает: неужели я не знал, что даже если травма была — ее не было.— Сколько ты надеялся получить за нетрудоспособность? Рублей сорок — пятьдесят? — Не больше. Ну, а я бы выписал тебе материальную помощь — это раз. Потом, получишь диплом об окончании училища, куда ты придешь за ходатайством на дипломирование? Сюда, ко мне! И я бы тебе его с удовольствием дал. Все доплаты, премии — кому? Тебе, лучшему работнику!

— В принципе я согласен, но как же я откажусь от травмы, которая зафиксирована в бюллетене, в истории болезни, в письме в редакцию, соответственно в облсовпрофе? Как я буду выглядеть? — Мысли о репутации неожиданны для нас обоих. Для масштаба моего производственного и общественного значения они не предусмотрены ГОСТом.

— Кто ты такой? Рабочий! Какой с тебя спрос?! Могу тебе обещать, если ты откажешься от травмы — никто тебя не осудит. Мы дадим ответ, что разобрались, человек просто хотел получить лишние деньги, потом одумался, и все. Таких дел сколько

угодно. О тебе никто не вспомнит. Что ты думаешь, в газету одно твое письмо пришло? Да там тысячи писем, и куда посерьезней! — Панч отламывает полтаблетки пентальгина. Протягивает мне упаковку. Отказываюсь. Пауза. Мы разглядываем друг друга. «Неужели он действительно такая сука?» — думаем мы друг о друге.— Подумай, с кем ты борешься? С Советской властью? Вспомни Сахарова, Солженицына! С чего они начинали? С мелочной погони за рублем! Одному недоплатили несколько рублей за изобретения, другому — за публикации. А где они сейчас? Что-то я о них давно ничего не слышал. Ну, так что, отказываешься?

— К своему сожалению, я уже не могу этого сделать, и это не моя вина. Относился бы ко мне непосредственный начальник по-человечески, возможно, не было бы большого или в нем действительно было бы написано «по дороге на работу», не затеял бы прораб интригу, я бы не подтвердил бюллетень объяснительной. Не отнесся бы ко мне инженер по ТБ как к преступнику, я бы не обратился в профком. Не признали бы мою травму бытовой, я бы не написал в газету.— Я сочувствую Панчу, хотя понимаю, что этого делать нельзя: оборотень изучает меня отеческими глазами, хотя, если бы мог пресечь мою жизнь, вряд ли стал бы мешкать.

— Значит, ты не намерен отказаться? Что ж, тогда я объявляю тебе войну. До сих пор я ничего не предпринимал против тебя, а только следил за тем, как ты морочишь людей, а теперь говорю тебе в глаза: я буду защищать от тебя интересы производства, то есть государственные интересы, в том числе интересы людей, которых ты втянул в свои интриги и которые по недомыслию и доверчивости выступают сегодня в твоих интересах. Кстати, несмотря на сочувствие к ним, именно их в первую очередь мне и придется наказывать. А насчет тебя я могу сказать прямо: человека всегда можно уволить.— Ему очевидно мое знание — когорты бюрократов, служившая препятствием признанию моей травмы, содержится Кормящим для нейтрализации опасных его престолу ситуаций. Несовладание со смутным финалирует производственным банкротством, а то и увольнением.— Ты понимаешь, такие люди не нужны предприятию, не нужны государству. Ну, давай, пиши. Я диктую.

— Извините, мне надо идти. Я у вас уже семь часов, у меня ведь дома — семья, я — после суточной вахты, я просто больше не в состоянии продолжать этот разговор.— Ощущение полета «по-достоевски». Я подымаюсь.— Все равно я вам смогу ответить только одно: я не могу отказаться.

— Если ты сейчас выйдешь из кабинета, то я пушу в ход вот эти документы, я знаю, с кем имею дело, и, как видишь, запасаюсь уликами.— Панч выдвигает один ящик — на дне услужливо распростерся «акт». Выдвигает другой ящик — «акт» иной конфигурации абзацев. Я подступаю.— Нет, читать тебе их ни к чему. Хочешь — иди, но потом, когда ты придешь сюда, ко мне, и будешь меня просить о милости, я тебе напомню, как ты ушел, не дав согласия на мою просьбу.

— Но я же написал вам объяснительную в первый час нашего диалога. У меня дома нет телефона, сыновья с ангиной, теща с трудом ходит, жена на работе — мне действительно необходимо идти.— Палец властно подминает клавишу селектора. Приглашен Дитя. Услужливый мальчик-старуха исчезает с бумажками для сбора подписей. Сокрушенно опускаюсь на стул.— Диктуйте.

— Если ты так боишься чьих-то мнений, можешь написать, что ты в тот день опоздал на работу и травма произошла до прихода на судно.— Панч откидывается и соразмеряет возможность рецидива непокор-

ности. — Минута, и ты свободен, поедешь к своим очаровательным малышам. Ты умный человек и понимаешь, что я мог в девять утра пустить в ход бумаги против тебя, а я трачу целый день на то, чтобы спасти тебя для тебя самого и для твоей семьи! Хотя мы с тобой сейчас в разных лагерях, я до сих пор считаю, что ты еще не настолько испорчен, чтобы на тебе ставить крест.

— Я искренне благодарен вам за доброе отношение и участие, но я все-таки не могу отказаться. — Рву лист и сую в карман. — Вы правильно сказали, что в моем деле задействовано много разных людей. Как они расценят мой отказ?

— Ну что же. Я давно проанализировал все обстоятельства твоего дела и убедился, что твоя травма всего лишь наживка для развертывания какой-то кампании. Сегодня я не сомневаюсь — за тобой кто-то стоит. Ты бы не решился морочить мне девять часов голову, если бы не имел союзников. Так вот я предлагаю: откажись от этих людей. Они же тебя просто используют! Им наплевать на то, что с тобой станет потом. — Передо мной традиционный финал детектива: поиск ахиллесовой пяты и усердное ее щекотание. Неужели он верит, что я хотя бы всерьез подумаю о варианте отказа? — Если тебе надо позвонить им — позвони. Я даже удалюсь из кабинета. Если ты их боишься, дай мне их телефоны — я сам позвоню. Ты представляешь, в какую лужу их посадишь, если от них откажешься? Для них ты сейчас — единственный козырь!

— Можно переключить разговор на другую сферу? Мы достигли такой степени откровенности и понимания, что я могу раскрыть вам причину моего, кажущегося вам неблагодарным к вам отношения. — «Теплее, теплее». — Оппонент подкрадывается с сачком лжепатриотизма, хотя вряд ли подозревает грядущий акт эксгибиционизма. — Дело в том, что за последнее время я понял, что наша организация не только не оправдывает себя перед государством, но и, напротив, существенно вредит.

— Ну, это уже любопытно. Предприятие, которое дало тебе профессию, поставило на ноги, ты обвиняешь в антисоциальной деятельности. Мало того, что ты на меня строчишь доносы, ты еще затеял скомпрометировать все предприятие. Я отработал здесь двадцать шесть лет и повидал, ты сам знаешь, всякое, но никто не вел себя так нагло, самые отъявленные пьяницы, уголовники — они все помнили свое место. — За время функционирования он достиг виртуозности в использовании законов бюрократической магии: феномены оккультизма — его обыденный арсенал. Может быть, начать перечисление его криминальных акций? Я помню его брань и побуревшее темя Атамана: «Ты это называешь деньги?» — когда тот, сменив на посту начальника участка Панча, воспарившего в главные инженеры, не смог преподнести месячной дани, скомпонованной из присвоенных «фондов», зарплат «мертвых душ», прогрессивно разрушителей всех стандартов дисциплин, добровольно жертвующих отчисления в обмен на сохранение в должности... «Я уже собственные бабки засылаю...» — доверился мне разгромленный Атаман. — «Уволься». — «Не отпустит».

Панч осваивает вторые полтаблетки, закуривает.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но об этом пока ни говорить, ни тем более писать не надо. Пройдет время, что-то изменится, тогда, может быть, что-то можно будет обнародовать. А пока, между прочим, тебе просто не позволят. Ты знаешь, что без моей подписи или начальника предприятия твои материалы никто не станет печатать? Ни про нефть, ни про древесину, ни про приписки — все это государственная тайна.

— Извините, вы не могли бы разобраться со мной, а потом уже продолжать свои споры? — Безупречная маска благородного гнева. Иным лицом, конечно, и не может быть. Дома у Санта-Клауса беспомощные старики, на другой квартире у жены — дочь. Но он, как и мы, знает, — НИЧЕГО ЭТОГО не должно быть! — Я сижу в приемной уже девять часов!

— Дорогой мой, ты мне нужен буквально на одну минуту, но я не могу сейчас начать с тобой разговор, потому что не знаю, что напишет твой моторист. — Панч привычно прищелкивает языком, подбирая слюну. Когда он брал меня к себе на участок, верхние зубы у него торчали, как картофельные клыки кино-вампира, — это слишком выдавало характер, и, став главным, он спилил излишки. — Если твой подчиненный откажется от своих показаний, я тебя тотчас отпущу. Если нет, — ты напишешь мне объяснительную.

— Знаете что, это не расследование, а издевательство. Я напишу не объяснительную, а докладную на имя начальника предприятия о ваших методах. — В проеме бдительное лицо секретаря. От удара дверью вспархивает кокон пыли. Незримый капитан завершает роль: — Он не коммунист, а инквизитор!

— Остановись! — спохватывается Панч. Я жду, когда он затаит еще одну петлю комплексного силка. — Ну вот, человек ушел с обидой на сердце. Как у вас сложатся дальнейшие отношения? Он ведь, насколько я понимаю, был твоим другом. А ему ведь теперь вряд ли удастся удержаться на командной должности. Я уже не говорю о дальнейшем дипломировании. Я лишний раз убеждаюсь, что люди часто не помнят добра... Ну что ж, не решился? Никак не подозревал, что ты такой робкий.

— Ну не могу я сейчас, сегодня сказать — да! — Кто из мафии окажется лапой, которая останется в капкане? — Разве что завтра, и то очень под большим вопросом.

— Если ты боишься позвонить своим союзникам, я могу тебе сейчас сказать, что они тебе ответят. Если они работают у нас и хотят навредить, они тебя, конечно, постараются убедить — продолжай настаивать; если они у нас не работают и по каким-нибудь причинам злы на наше предприятие, они тоже станут внушать тебе — не отступай от своего! А кто от этого выиграет? — Его прерывает зуммер селектора. Разгневанный голос Кормящего рвет мембрану. Панч похристиански визирует мою обозримую часть, пытаюсь фальсифицировать во мне адресат разнуса. — Нет, мы еще не решили вопрос. Да, я сразу доложу... Вот видишь... Ну что ж, раз ты хочешь, я признаю твою травму производственной. Считаю, что ты победил.

19 марта. Предприятие реабилитации гидросферы.

Приказ Кормящего о дополнительном расследовании был датирован тринадцатым числом со сроком исполнения пятнадцатого. Инспектор облсовпрофа вызывал нас четырнадцатого. Тогда в секретариате мне вручили ответ Кормящего от двенадцатого числа на мою докладную на Атамана от первого числа. Однако о приказе разговора не было. Таким образом, и ответ, и приказ датированы задним числом, то есть после появления инспектора с моим письмом в газету.

Теперь Кормящему вновь придется топтать своих вассалов. Я трачу очередную ночь на машинописное изложение допроса, анализирую несоответствие написания документов и событий, спрашиваю, подкрепляются ли все действия Панча имеющимися правами, отмечаю поведение комиссии при первичном расследовании. Тот же состав продублирован в приказе. На каком основании комиссия сможет изменить решение, если к предыдущим показаниям не прибавилось ни одного нового слова?

Санта-Клаус пунктиром дублирует фрагменты расследования в своей докладной. Секретарь с энтузиазмом регистрирует пачку машинописных листов.

Дом.

Меня охватывает спонтанный ужас. Успеваю осмыслить только значение ветра, фар локомотива и гула. После этого мне остается только соглашаться — да, эти лица страшны, да, эти люди безжалостны, да, они готовы в любой миг наброситься. Когда мой взгляд прыгает по кабелям, замечаю, что отражения повернуты в мою сторону — что-то не так? Нет, они несчастны, нет, они сами в перманентном страхе, нет, они не причинят мне вреда.

Бывают дни, когда космос не отвечает на мои отчаянные сигналы и я оказываюсь вне игры. Рассчитывая на выживание, я обращаюсь к идеям и схемам, я безответно осеменяю бумагу — искры нет, и мне не выдохнуть более двух-трех фраз. Они остаются, взятые боем у бытия, без продолжения — они не покидают память годами, но не имеют развития и могут быть лишь вплавлены в конструкцию, обрамлены вербальным багетом, они сами, может быть, форма, но я не чувствую надобности представлять кому-либо подобные метеориты, и вытяжки прозы вроде бы и бесполезны.

Имея отрицательный опыт, нахожу избавление в шатании. Странствую транспортом и пешком, посещаю памятные мне места, я все же рассчитываю на игру...

Я расположен в кресле в обнимку с общей тетрадью, жена стрижет ногти, дети спят, теща читает. Ситуация — не моя, и я моляще устремляю взгляд в ночное небо. Я мог бы проследить подобные траектории взгляда у близких, но я не собираюсь выделять чужую личность: я — один, я — автор. Недоступное большинству — моя обуза.

Я искренне пытался переключить себя на иной тип энергии: торгаш, политик — меня изнуляют нищета и травля. Такой же, как все, — я мечтал об этом...

Гонг. Руки Полипа отягощены сетками с пельменями.

— Я привез тебе два акта — распишись: первый — на явку завтра к десяти часам утра в кабинет главного инженера для получения акта о травме, второй — о том, что ты ознакомлен с необходимостью через две недели уйти в отпуск. — Соболезную доле прораба. Он покачивает головой-камертоном. «Ненормированный рабочий день» — и фальцетом: — Мне за это не платят!

— Да еще с грузом.

Упаковки, словно камбала, деформированы пресом часа пик.

— Взял двадцать пачек — холодильник на участке сломан, все раскисло, приеду — придется отварить, все равно в морозилку не влезет, — поедем неделю пельмени. (Он произносит: «пельмени».)

— А зачем акты?

— Главный инженер сказал: «С этим человеком можно беседовать только на бумаге».

20 марта. Кабинет главного инженера. Сатисфакция.

Судьба научила меня воспринимать ее фортели как должное. Нетривиальность ситуаций — каприз сюжета. Чем взбесить нежить? Рука направляет лезвие в станок. Легендарные кудри спархивают на линолеум.

Я в дверях кабинета. На бритом черепе рефлексит лампа.

За столом — тройка.

— Администрация предприятия приносит вам свои извинения за неправильное ведение первоначального расследования. — Голос Казнокрада вибрирует, как у кукольного человечка.

Он мог бы растрогать, если бы не его ненависть ко мне, выданная дрожью пальцев и нетерпеливым нервным помаргиванием.

Атаман и здесь не в состоянии связать два слова. Пытаясь присовокупить свои соболезнования, он вдруг инкриминирует мне обман администрации не отгуланным отпуском за прошлый год.

Как ветер из мешка, извлекается подписанный мною акт.

— Я не совсем понимаю, товарищи, вы приглашали меня, чтобы вручить акт и извиниться или для нового головоломного тура?

— Конечно, для извинения, — кудаччет резидент месткома.

— Я тебе обещал акт — ты его получил. — Так жмурится кот, когда его награждают по морде.

— Акт — ваша любезность или объективное решение комиссии по расследованию?

Я еще не подписал документ, я могу уйти, машина, гул которой сопровождает мое появление, может быть запущена на полные обороты — они чувствуют это.

— Конечно же, решение комиссии. — Атаман прикрывает Панча своим корпусом.

— Скажите, почему решение комиссии изменилось на положительное, если за время дополнительного расследования ею не было получено ни одного, по сути, иного документа, чем первоначально? Я и мой капитан были обвинены в подлоге документов, на это имелись свидетели, заседание профкома намеревалось адресовать дело в прокуратуру. Могу я знать, на основании чего моя травма признана производственной?

Немая сцена. Еще один удар в нарушение ГОСТов всех допусков общения.

— Дело в том, что облсовпроф прекратил всякие расследования по поводу вашей травмы и признал ее полученной на производстве, — решается ринуться на вырубку Казнокрад.

— Так это не ваша любезность? — Я тычу веником в ощеренную морду.

Остается расписаться в акте формы Н-1, где в графе 15.1 «причина несчастного случая» вписано: «Личная неосторожность».

В приемной секретарь торжественно предлагает мне расписаться за Кормящего, ответ которого еще странствует в заказном конверте. Мне дозволяется почитать один из дублей. За нарушение законности Атаману объявлен выговор. Панчу — служебное взыскание.

Город. Возвращение.

Зажигалка скользит в жирной руке. Огонь не погаснет от бензиновой влаги? Улыбаюсь печатке и вновь как бы изучаю памятник самодержцу. Вокруг — люди. Кто-то догадался, но не решил, разумно ли обнаружить знание. Кому-то, допуская, любопытно. Должностным шагом приближается милиционер: «Еще не все?» — «Да, еще не все». Но даже если я вспыхну, то, может быть, успею добежать до канала? Недалеко живет приятель. Подальше — мать. Наискосок через площадь удавился поэт. Остальное — словно кадры, не фиксируемые зрением. Потом...

Моя судьба — «возвращение блудного сына» — здоровомыслящего к Отчизне. Самоубийцы, эмигранты, деграданты — убедившись в том, что патриот на родине — жертва, они пытались избежать стереотипа.

Я растратил годы на попытки адаптации и негативизма, сегодня — позитивист: здесь мой отрекшийся народ, пущенная с молотка природа, самоедка-культура — «Русь, куда же несешься ты?..»

6. Два континента

* * *

— Покатай чухонку. — Капюшон брезентового плаща затеняет лицо. В этом — намек на таинство. Кумтыква, словно чуб, отбрасывает защиту. На ветру перьями заката выются рудименты огненной гривы. Он — пьян. Он иронизирует над всем миром. Капитан траулера, механик — теперь он просто «Треха» — через сутки гниет в антисанитарном кубрике шаланды, вдыхая испарения дноизвлеченного грунта.

Рядом — девушка в полинялых до белого изумрудных бриджах и голубой футболке. Стоптаные кроссовки на босу ногу. Она, видимо, плюет на упаковку. Поношенные вещи — контраст ее «новизне». «Я написал о тебе несколько вещей...» Почему я не могу сейчас сказать ей этого? «У меня больше нет потребности в самовыражении, ты — пришла. Хочу целовать твои вещи, да-да, и тапки — над ними трепещет крыльями неуклюжее слово «либидо». Ты — сестра, мать, дочь, жена, ты — я. Да, ведь прибалты, они... (ну, пропускай же строки и страницы, брось писать, застрелись, неужели ты все-таки ждешь?)»

Санта-Клаус не против. Он учтив и насторожен. Отдаю швартовы. Шаландер машет рукой. Капюшон скрывается в трюме. Идем вниз по Неве в залив, к свалке грунта.

Гостя не очень уверенно изъясняется на русском. Ожидаем, что она — иноземка. Мне чудится оклик из голубой сферы. Девушка на носу судна: «Можно?» — показывает на фотоаппарат. Развожу руками — это зависит от нее.

Катя хочет искупаться. Швартуемся к причалу Елагина острова. Санта-Клаус просит Кумтыкву присмотреть за судном. По остоу моста пробираемся на островок с беседкой. С нами соседствует компания охмеленных. Парень в облепивших бедра сморщенных фиолетовых трусах с разрезом буквой «у» откупоривает бутылку. Русалка в лифе и белых трикотажных трусах в оранжевый горошек уныло медитирует на магической этикетке. На женской спине земля и ссадины. Прометей скашивается в нашу сторону. Его правый глаз залит кровью и окантован траурным овалом. Оба мальчика в эмблемах и татуировках. Все трое прилагают максимум усилия для своего скорейшего самоуничтожения.

Катя старается изучать соседей незаметно для нас, и все мы прикидываем, пересекается ли созерцание компании с какой-либо государственной тайной.

«Здесь грязная вода», — сообщают я госте. «Я не боюсь. Дома мы купаемся вместе с коровами». — «Где же так?» — «В Техасе». Она окунается в водоем. Втроем пересекаем дистанцию до сколиозного мостика.

По системе островов курсирует милицейский мотоцикл. Представитель власти тормозит около условной переправы. Рация, шлем, кобура — человек готов сражаться с нарушителями созаконности. Он уверенно перебирается на островок. «Ваши документы?» — Соседи мямлят о дне рождения. До нас доносится — «штраф». Ребята выпребуют мелочь.

«Вы знаете, что здесь запрещено купаться?» Кандалы ощущаются отчетливой обузой. «Но ведь нет ни одного запрещающего анонса». Он чувствует «рыбу». «Государство заботится о вашем здоровье, запрещающая купание в антисанитарных водоемах. Чтобы это было в последний раз». Катя еще в воде. «Девушка», — зовет пальцем мент. Она покорно выходит. «За ваш вид вы должны быть привлечены к ответственности. Вы знаете?» — Они оба веснушчатые. Брат и сестра, Адам и Ева... «Уе», — доверчиво улыбается гостя. «Вы понимаете, она из Прибалтики. Мы — в рейсе. Вон наш теплоход», — осыпаю извинениями герб государства.

Горячая вода отключена. Взбивая мыльную пену, сдерживаю эмоции: «Это — не худшее». Насушно мытье головы, и голубей у вентиляционных бойниц наверняка настораживают мои вопли. Презентованный на получение диплома дезодорант иссяк, я не имею средств на приобретение нового и предчувствую недоумение гости — безоблачность.

Встреча у зоопарка. На территории возведение вольеров. «Они здесь на время?» — Палец указывает на соты одиночных камер животных. Выражение отчаяния напоминает гримасу ослепления внезапным светом. «Так же, как и я» — грезы младенчества, когда догадывался, что может быть другая жизнь, иные люди. Я пытался изобразить твое лицо. Я называл робкую акварель «Весна», чувствовал, что ты — всегда новая, к тебе невозможно привыкнуть... Ты — напоминание. Спасибо, я вспомнил и просыпаюсь от летаргии. Фея касается окаменевшего лба сверкающим жезлом. В заиндевевшем стволе начинается сокодвижение. Ты надеешься, я смогу разбудить уснувший народ?

Она заворожена пестротой попугаев. Мой ангел, моя муза, я счастлив созерцанием и прикосновением. Ты исчезнешь, и тогда я напишу. Да, я буду желать, страдать, стану сомневаться — было?! Неужели я не скажу тебе?

— Им лучше, чем тиграм? — Я догадываюсь о комфорте гуманно неупомянутого. Задаю вопросы. Экскурс логично завершается вполне ожидаемым: — Мы стараемся приблизить их условия к природным.

Мы обнаруживаем нагромождение туч. Когда мы около грифов — дождь.

* * *

Извлекаю из картонных папок живопись и графику. Ей нравится. Она кое-что фотографирует. Вываливаю на паркет самопальные альбомы с рисунками. Портрет, композиция, пейзаж... Она сопоставляет интерпретации классики с репродукциями и щелкает пальцами: «Да-да!» Иногда — «Прекрасно!»

Мне больно демонстрировать нереализованный потенциал. Объясню свою ситуацию. Впрочем, тут же сознаюсь, что, если бы действительно испытывал потребность изотворчества, одолел бы любые препоны.

Я готов подарить Кате все свои поделки, но она берет несколько листов и очень благодарит.

Я организую застолье. Мне еще ни к кому не приходилось испытывать такую нежность, но я не сумею думать о близости: я — каторжник, я — прокаженный!

Может быть, я должен признаться: «Знаешь, четыре года назад я...» Она поймет, она посмотрит, она даже улыбнется.

Я не смогу жить!

Можно не говорить. Зачем вновь городить эфемерное зодчество двуликой чувственности? Она отправится на родину — и все!

Может быть, мне просто окажется приятно совершить исповедальческий экспозиционизм? Что ж ограничиваться встречей? Я смогу развлечь ее не менее прониновенными реминисценциями.

— Я хочу посмотреть твою семью, — заказывает Катя вояж.

— Я тоже очень хочу, чтобы ты познакомилась с моими детьми и женой, — откликаюсь я, отнюдь не сведущий о реакции семьи на Катю.

Назначая встречу с запасом, в течение которого оказываюсь на веранде, и предлагаю жене знакомство. Виза выдана с энтузиазмом, и я ожидаю Катю в квартире. Лимит исчерпан, отправляюсь один. С но-



вым чувством приближаюсь к усадьбе. Зеленый забор, листва и небо. В саду, окутанная морской пеной белого одеяния, с тревожным воспоминанием на лице стоит Катя.

* * *

«Я вновь на грани суецида. (Сейчас ем пельмени. В ванной, в двух тазах полощутся носки, полотенца и прочее. Закипает вода. Из детской вдохновляет «ваша» музыка. Ждет ремонт, проза, сыновья... Пельмени съел. Может быть, чай?) Преддверие полета, небытия, как в детстве, напрочь забытое — было ли? Смятение, неведомый ужас — я боюсь всего: взгляда, шороха, улыбки, говора за спиной, будущего, каждого встречного, кого-то, грядущего — всего! Никто не видел моего лица, когда оказываюсь один перед зеркалом, я не могу еще описать его. Факты... (пойду отожду и развешу тряпки... Ну вот, теперь замочил наволочки и пододеяльники...) Факты сворачиваются, как кровь, не насытив мое перо. Двуликость — это то, чего ты обо мне еще не знаешь. Лишенный возможности следовать по своему руслу, поток образует протоки. Я ждал свою музу еще ребенком... (Съем вареное яйцо с булкой и выпью чаю. Прозаик с текстом как актер со своими средствами выражения: для художника всю жизнь зримое является впервые обнаруженным волшебством. Вот я и блуждаю в буквенных знаках и шалею от впечатления.) Так же как свое отражение, я не стану описывать бессилие и отчаяние... Я вновь ощущаю предтечу эпилептического припадка, которые случались со мной во время опьянения и инъекций... «Мы с тобой...» — так обращаюсь к себе. Меня сводило судорогой от смертельной дозы алкоголя, да, я стоял на коленях около напол-

няющейся ванной с лезвием в руке... Я сидел около метрополитена и угадывал во встречных твою страну... Я звал тебя очень долго, вспомни детство, оглянись, ты должна меня увидеть! Конверт в твоих руках, посмотри, как я весел, ах, эти русские!»

* * *

Письмо прочитано. Я замер с улыбкой. Ты тоже улыбаешься. Ты почти ничего не поняла. Я обещаю отпечатать на машинке. «Ты хорошо читал». И это все? Я мог бы... Хочу сказать все — что никогда не встречал такой, как ты, что мне будет больно, когда... Я ничего не могу сказать — я пишу о прошлом.

* * *

Я сидел, стиснув кулаками виски, у открытого окна. Видел, как она отделилась от автобуса и направилась к дому. Магазин, телефоны-автоматы, пустырь, асфальт — ты вне видимости, но я вижу, как ты ожидаешь лифт, стоишь в нем, идешь к моей двери.

Боль от звонка. Второй. Больше ты не позвонишь — да. Она растерянно идет к остановке. Почему не открыл? Я смогу подкараулить тебя у метро. Я это сделаю, да, но что мне помешало? Завтра...

* * *

«Дорогой, уже два часа ночи, а я сижу на кровати, глядя на картины, которые ты подарил мне (они висят на стене). Понимаю, что уже поздно, пора спать, но спать не могу, потому что думаю о тебе и обо всем, что ты сказал мне сегодня.

Просто ужасно, что мне надо было просто сидеть и слушать тебя и не суметь ответить ничем, кроме какого-то детского лепета. Я так много хочу сказать тебе, так много хочу о тебе узнать, но так мало понимаю, когда ты пытаешься объяснить мне что-то по-русски! Когда мы с тобой глядим друг другу в глаза, я чувствую, что мы очень похожи, мы думаем и чувствуем одинаково. Мы понимаем друг друга даже без слов. Но когда ты прощался со мной, твои глаза были такими грустными, что я поняла, что в тебе и вообще в русских людях столько такого, чего я не понимаю и не пойму никогда. Даже если попытаюсь, я все равно не смогу понять всего, потому что не существую в таком мире страха и унижения, который, по-моему, довлеет над твоей жизнью. Даже здесь я чувствую себя далекой от всего этого, потому что я «иностранка» и, следовательно, защищена от «них».

Мне так хочется отдать тебе хоть кусочек моей свободы: ты заслуживаешь ее гораздо больше, чем я. Такой талант — столько прекрасных мыслей, такие надежды — и все это заперто, спрятано, никому не известно, когда всем этим надо делиться, когда все это надо ценить и восхищаться этим.

Ты — мой первый русский друг. Узнать тебя — это было похоже, будто меня кинули в ледяной поток. «Проснись, Катя! Выйди из своего уютного, ненастоящего мирка и посмотри, узнай, какова реальность, что такое зло». Только все это гораздо сильнее — узнав тебя, я будто погрузила руки в чистую родниковую воду — неиссякаемый источник оптимизма и чистоты в мире кошмаров.

Я очень полюбила тебя. Знаю, что не могу помочь тебе (да и кто может?), но ты не сдавайся. Нельзя, чтобы они тебя сломали. Ведь люди, подобные тебе, когда-нибудь освободят Россию».

7. Встречный огонь

Подобно всем удержавшимся в ПРГ более пяти лет, Мурзилка поменяла такое же число должностей на участках, рассеянных по всему городу. Подобно другим, ее ловили на нарушениях, спровоцированных видимой анархией трудового дня и дисциплины, обкладывали докладными и объяснительными, уличали в подлогах и прочем, как бы криминале, а далее шантажировали, вынуждая проводить «негласные проверки трудовой дисциплины» и тому подобное, чтобы сформировать из нее истового вассала Кормящего.

Приветствие. Улыбка. Ей важна информация — писал ли я, что и куда. Мы оба знаем о предстоящей игре. Ритуальный обмен: здоровье? Дом? Работа? Мы — на площадке. Нас минуют узники ада: Атаман, Кормящий, Гапон. Она — рискует, но ей необходимо расстаться, обретая добычу. Она вдохновенно ринется в кабинет Панча или Кормящего: сообщит и искупит былые грехи и теперешний, смертный.

— Так что ты писал?

— О травме. Помнишь, как меня пытал главный?

— Да, я в курсе этих дел. А сейчас-то что случилось? Не знаю, что им от меня надо. Главный вызывает людей, компрометирует меня всеми способами, убеждает их изложить в письменной форме неодобрение моей порочной натуры. Сегодня — опять собрание.

— Может быть, им стало известно, что ты сообщил об их махинациях в верха? Ты, говорят, передал письмо лично Горбачеву?

Ступеньки преодолевает Казнокрад. Ракурс — сверху вниз, — он представляется заспиртованным в колбе.

— Тебе надо научиться людей уважать и ерундой не заниматься! — назидательно орет Мурзилка.

Казнокрад соизмеряет меня как безвременно усопшего, но, хоть покойников и не принято хулить, беззастенчиво напакостившего трудовому коллективу.

— Извини, — ощеривается Мурзилка.

— Ну что ты.

* * *

Я еще не сориентировался в поведении Ришарова (Санта-Клауса): «за» или «против»? Я оскорбил его? Он тяготится возможным влиянием?

Около парадной суетятся коллеги. «На кого сегодня будем акт составлять?» — Я пожимаю руку Воднику (Рыбаку). «Павло, что старые грехи вспоминать?» — Водник обшаривает воздух в диапазоне своего биополя, помаргивает — от перенасыщения алкоголем у него синдром помехи. — «Каждый может ошибиться». С подобным апеллирую к Редько (Портвейну). «А как бы ты поступил на моем месте?» — Редько обнаруживает готовность оборонять кредо — «Не я, так другой». К тому же Ришару за это ничего не будет. Подумаешь, восемь минут.

— Ты ведь знаешь, какая сейчас ситуация. Как говорится, мал золотник... — Я проникаю в парадную. Молотов (Подымите Мне Веки) откупоривает «фауст» и бьет с горла в пульсирующую глотку. Жму асбестовую ладонь. — Федя, ты что, обвинитель?

— Я в основном по электричеству. — Бригадир небрежно отирает нос. — Особенно когда оно светит.

Персонал преимущественно пьян. Меня покидают иллюзии в плане прогнозов — затеяно уличение. Ариадна (Эгерия) подымает и опускает глаза — ей уже стыдно. — «Я никого не виню!» — желаю я заорать, но стопорю эмоции — не здесь, не сейчас...

— Павлик, распишись в графе отпусков. — Гроб (Полин) солидарно концентрирует губы. Против фамилии Дельтов — февраль.

— Руководство решило сдвоить мне отпуска? Ты же сам мне вписал — в декабре. Значит, я выйду в январе — феврале и — опять на отдых? — Я извлекаю непричастные к теме клочки. — Прораб мрачно согладается.

— Дорогой мой, я ведь ничего не решаю. Это предложение цехкома. — Гроб как бы невзначай помаргивает в направлении Мичурина (Атамана).

— Аркаша, родной мой, первый раз ты нарушил закон — не ознакомив меня с графиком моего отпуска, второй — сейчас, пытаюсь навязать мне во второй раз подряд отпуск в зимнее время. — Я заплетаю в аркан свою перманентную учебу, сыновей, отсутствие нареканий — прораб отмахивается. Мичурин через полифонию производственного бреда внимает уроку строптивости.

Администрации, оказывается, трудно скомпоновать контингент в кабинете начальника — люди рассредоточиваются по прочим отсекам.

Мичурин и Реестрова (Мурзилка) — за столом. Я определяюсь рядом. Начальник объявляет старт и повестку.

— Какие будут предложения по кандидатурам председателя и секретаря собрания?

— Взгляд фиксируется, как палец на кнопках. Председателем выдвигают Мичурина, секретарем — Реестрову. Предлагается голосовать. Единогласно.

— Товарищи. Первый пункт нашего собрания касается оздоровления морального климата на нашем участке. Я не новичок в коллективе и скажу прямо — климат нездоровый. Я должен заявить собранию, что, по имеющимся у нас данным, на участке есть клеветники и предатели, которые задались целью разложить наш коллектив доносами в различные инстанции, вплоть до ЦК КПСС. — Партитура на пульте начальника участка вибрирует. Совесть? Страх?

Неуверенность в удаче? — Я считаю, что эти люди должны проявить гражданскую смелость: встать и назвать себя и своих сообщников. — Мичурин как бы просматривает ауры сидящих. — Нет, ну хорошо, значит, мы сами попробуем указать наших врагов и исключить их из коллектива. Слово предоставляется товарищу Дамбову.

Меня ободряет круглое плечо Льва Николаевича. «Они — пьяны, у них есть совесть».

Дамбов бодро уличает меня в интригах и фальсификациях — все толки финалируют на моем имени. Все ЧП на участке становятся достоянием прокуратуры и ОБХСС.

— Ты можешь доказать? Ты видел хоть одну строчку доноса? — Я осеняю себя магическим кругом творчества и здоровья. Я обрамляю лик улыбкой и смотрю на Ришарова. Он не воздевает глаз. Я опасаюсь, как бы он не перекипел и не выпалил чрезвычайного.

Мичурин пресекает никчемные дебаты. На очереди — Жуков (Черная Кость). Репрессированное алкоголем лицо в аппликациях нарывов, пальцы в незаживающих ссадинах стиснули могущую, видимо, упорхнуть шаргалку.

— Кто вам дал право считать себя таким умным? Если вы считаете себя писателем, поступили в институт корреспондентов, то это еще не значит, что вы имеете право презирать коллектив: вон вы как сидите — нога на ногу, с улыбкой. Больно вы гордый. — Аудитория медитирует в ожидании фактов.

— Извините, но я вас не знаю. Кажется, я вас видел в день полочки, когда вас сопровождал Дамбов, но мы даже не разговаривали. — Стоп-кадром вспыхивают фигуры. — Вы ведь у нас недавно работаете?

— Да, я работаю недавно, а о вас уже наслышан. Везде только и говорят — Дельтов написал на того донос, на другого донос. — Обвинитель изучает конспект — очевидно, он захватил только преамбулу к тираде, наметанной главным инженером.

— А вы сами, персонально читали или видели то, что вы именуете доносом? — Вопреки тому, что в сегодняшней лотерее мне не на что уповать, я не отрекаюсь от роли.

— Я на них и смотреть не стану. Мне и так все ясно. У меня, между прочим, на таких, как товарищ Дельтов, революционное чутье. — Маршальская фамилия героически садится.

Я вновь обращаюсь к Николаю. Он — в другом углу. Почему мы не разместились вблизи? Ему бы надо потребовать факты и занесение претензий в протокол.

Слово — Редько. Рудименты мозга не в силах реминисцировать ничего, кроме якобы сказанного мною в день вторичного расследования травмы: «Они у меня еще попляшут!»

— Ты, может быть, не помнишь этих слов, а я вот не забыл, — резюмирует капитан и гипсует с ощеренными устами — я должен что-то возразить, и он усугубит натиск или вдруг спонтанно дезертирует, и я займею союзника — он, увы, фригиден к свету и тьме — он познает экстаз в унылом хмелю: потомок создателей Сахары.

— Как ты мог написать про меня, что я — пьяница? — встает уязвленный Позднев. — Я-то тебе ничего плохого не сделал.

— И я тебе тоже. Откуда у тебя такая информация? — На Страшном Суде кому-либо из участников правилки будет не по совести присягнуть, что капитан земснаряды — не пьяница.

— Мне сказал об этом товарищ Киста (Панч), а ему можно верить — на то он и главный инженер. — Тот ли это Позднев, который рьяно хулил Кисту, — кон-

кретно от него я услышал апологию главного инженера с момента его устройства до сегодняшнего триумфа. Примитивное мышление дезинфицирует себя после общения со мной публичной анафемой. — Если не хочешь трудиться как все — увольняйся, а людей порочить не надо.

Береговой матрос Хоев (Кумтыква) присовокупляет свое возмущение моим недостойным амплуа в контексте ПРГ — изъять!

Гроб сообщает, что следовательно, явившийся на участок, по стопам очередного пасквиля, утверждал, что на улице Каляева имеется копия заказа-наряда № 24, выданная на буксировку кошель с бесхозной дровесиной, снятая и подписанная Дельтовым.

— Прошу зафиксировать сказанное в протоколе и также то, что послезавтра я обращусь на улицу Каляева по мотиву предъявленного мне в качестве, насколько я понимаю, обвинения, сообщения. — Никто, естественно, не застенографирует реплики, но в докладной в адрес Иогансона (Кормящего), райкома и так далее я напишу и это, и заявлю, что не внесли, и вопрошу: почему? Уж если сражаться словом, то здесь, пожалуй, сильнее — я.

— Павлик, никуда не надо ходить, — как ослик на магнит, кивает прораб. — Ты меня не так понял.

— Вот так и появляются сплетни, товарищи. Видите, товарищ Дельтов сам признается, что пойдет на улицу Каляева о чем-то сообщать. — Мичурин форсирует акт разоблачения. Он явно купирует спектакль. — Я считаю, надо выслушать мнение капитана «Эпицентра» товарища Ружьева (Адидаса).

Ружьев по-вороньи сворачивает голову в мою сторону — жертвенные глаза — я затаю петлю, ты не в беде?

— Мне стыдно, что в моем экипаже работает Дельтов. В конторе со мной никто уже не разговаривает. Когда я захожу на шестую, то сразу слышу: «Этот «Эпицентр!», «Опять этот «Эпицентр!»», «А этого «Эпицентра!»» Мне это надоело! Мы устраивались на работу, чтобы работать, а не травить людей. — Новый урон головы. Говоря, он постепенно поворачивается. Теперь я читаю его профиль. Николай замер через два человека от Ружьева. О чем он сейчас думает? Как травмировать капитана? — Если ты считаешь, что Ружьев — дерьмо, так и скажи: «Ружьев, ты дерьмо!», а так больше продолжаться не должно. Я считаю, чтобы оздоровить атмосферу в команде, надо убрать Дельтова.

В дверях — Ариадна. Лицо в кляксах румянца. Она куда-то телефонирует? Второй мой союзник тает в проеме. Один?

Первый тур голосования — 11:9 — не в мою пользу. Обнаруживается, что участвовали не все. Из отсеков извлекаются дезертиры. Второй раунд, 9:11.

— Мужики, да вы что, обалдели? — выкрикивает Водник. — Да, я уже знаю: этого не должно было случиться по их сценарию, но мои... — нет! Я должен молчать! — Разве можно предъявлять человеку такие огульные обвинения? Кто из вас видел хоть один из этих доносов? Кто может доказать, что они вообще есть? Это что же, сегодня Павло выкинут, а завтра — тебя (Дамбов улыбается), его (Молотов разводит руками), меня?!

— Водник, задержитесь после собрания. — Мичурин совершает помету в конспекте: капитан — пьяный, и самое время наказать его за дерзость.

— Я вас понял, товарищ Мичурин, но так дело все равно не пойдет. — А эти что, как шалавы, попрятались? Выдерните там шпингалеты в галльоне, тащите их сюда, чего они дрейфят?

Желая воспринимать как должное, но глотая спазм, я наблюдаю, как со своих мест восстанут люди:

«Водник прав», «Не имея фактов...», Гроб предлагает Ришарову: «Коленька, ну скажи...»

— Если я начну говорить, то кое-кому из присутствующих это очень не понравится. — Ришаров ограничивается демонстрацией сжатого кулака, в котором, может быть, таится граната. — А Дельтова, я считаю, убирать не за что, тем более пока ничего не известно.

— Я вот что скажу. Это вообще не по-людски. Чтобы Павло кому-то там что-то плохое. — С трудом, но считая необходимым, подымается Тургенев (Аптека). Трагически спившийся, он наиболее уязвим. — Я знаю, что со мной будет потом разговор и какой, знаю, но вы-то? — Он озирается на содержащихся в камере административного помещения. — Вы-то приедете домой и то да се, а он как?

— Товарищ Тургенев, у вас все? — В изреченном «все» не угроза, а факт — тебя уже нет. Мичурин взглядывает на часы. Я отмечаю, что это не в первый раз — у него лимит? Кто-то ждет итог? — Предлагается проголосовать в последний раз за удаление Дельтова из нашего коллектива.

— Пусть каждый голосует по совести, — напутствует Водник. — И пусть каждый смотрит Павлу в глаза.

Третья попытка — 10:10. Мичурин тшится что-то переиницировать, он вновь обзирает циферблат, но даже «обвинение» в массе за то, чтобы отсрочить процесс до начала навигации...

...Через некоторый интервал я набираю Ариаднин номер.

— Если бы ты видел, что творилось с Мичуриным! Они с Гробом перед собранием пили с рабочими и плавсоставом, а потом лакали валерьянку, чтобы выдержать собрание. А когда ты ушел, Мичурин набросился на Водника чуть ли не с кулаками: «Провокатор, зачинщик! Уволю по статье за пьянство!» — в общем; и ему, и Тургеневу — всем еще достанется за то, что они посмели высказать свое мнение. А в 16.57, когда почти все разошлись, был звонок. Я сняла трубку — молчание, кто-то дышит. Спрашиваю: «Алло? Вам кого?» Говорит хриплый голос: «Мичурина». Тут снимает трубку Мичурин. Я слышу: «Ну, как?» — «Как?! Никак! Десять на десять!» Я повесила трубку. Это еще не все. Клера Реестрова сказала, что на шестой сидела вся верхушка, — ждали результатов. А дальше я тебе сообщу такое, что ты упадешь. Клеопатра сказала, что на участок звонил сам Иогансон. Это у него такой хриплый голос! Он так орал! Реестрова говорит, что все летало по кабинету. Он орал Мичурину: «Вы отдайте себе отчет в том, с чем вы не справились?! Вы не понимаете, как это серьезно!» Клера говорит, после разговора с Мичуриным он стал невменяемым: стал звонить всем начальникам участков, а никого нет на месте. Орет на мастеров: «У них что, все в идеальном порядке? Пять часов, а они уже ушли!» В общем, Клеопатра думала, что у него сейчас будет удар.

* * *

— Я знаю, что ты писал и правильно сделал. — Львенок порывист и эфемерен, словно гимнастка с предметом. — Я считаю, что на каждом предприятии должен быть такой человек, который бы не давал покоя всякой нечисти. Но то, что ты пытаешься кого-то разоблачить, — бесполезно. Ты учти, что очень многие, увлеченные с нашего предприятия, за таили обиду и стараются всячески мстить: куда-то ходят, что-то пишут. Из-за этого нас постоянно трясут комиссии и проверки, так что на предприятии просто не успевает накопиться никакого криминала.

Я имею в виду, что по бумагам придаться не к чему — все чисто. Если уж ты хотел посадить кого-то в тюрьму, тебе надо было собрать неопровержимые улики, а то, что, как говорят, ты написал про приписки и взятки, так этого никто не докажет. Я тебе повторяю: по отчетам у них все нормально.

— Ты знаешь, я решил дипломироваться, как это сделать?

— Чтобы дипломироваться на должность капитана-механика, нужно в течение полугода пройти стажировку. Без акта о стажировке никто тебя дипломировать не станет.

— Так направь меня на стажировку.

— У нас нет должности стажера.

— А как же стажируются?

— По согласованию с начальством. Обратись к начальнику своего участка: пусть он напишет ходатайство на имя заместителя начальника по работе флота, где укажет, на каком судне предоставит тебе работу после получения диплома. Понимаешь, предприятие дипломирует столько работников командного состава, сколько требует производство.

— Что ты выдумываешь? Эти акты о стажировке — фикция и даются тому, кто попросит.

— Давались. Теперь с «липой» покончено. Ты писал? Писал. Вот — результат. Теперь все по закону. Вот положение. Читаю... Лица... Предприятию... Резерв... Вот. Ты мог бы попасть в резерв, но, по согласованию с руководством, так что обратись к начальнику участка, если он сочтет необходимым тебя дипломировать — будешь дипломироваться. Нет — ничем не могу помочь. Во всем виновато твоё правдоборство... Кстати, у меня есть для тебя тема статьи. У меня сел элемент в часах. Я пошел в Дом быта купить новый. Это было в феврале. Мне заменили элемент. Я пришел домой и сразу его вытащил. Посмотрел на дату изготовления — август прошлого года. Представляешь, как они там наживаются на одних элементах? Вот, напиши об этом. Пусть все прочтут. Тогда за них возьмутся!

* * *

Комиссия обрекает нас на ожидание. Имея волю, они объявили бы тайм-аут — у них еще не все отрепетировано. Из тех, что мигрируют в мареве райкомовских декораций, причастность к нашему делу обнаруживается по трем фиксируемым параметрам: биополе, пластика, взгляд. Что-то как бы еще решается — решилось, и мы ангажированы в зал заседаний. Ритуальные рукопожатия — и мы дислоцируемся по периметру опрокинутой вертикали т-образного алтаря. Вий запечатлевается не на полюсе «жениха и невесты», а на периферии правого фланга — это не пересортица в калибровке в целях маскировки — маневр реализован ввиду наличия Мецената. Четверо — по другую сторону кровавого плюшевого русла, один — у подножия алтаря, двое — в нашей чередке рядом с Санта-Клаусом.

Семерых функционеров абсолютно не заботит судьба гидросферы: для меня это — данность, они — камикадзе. Меценат обеспокоен деградацией бассейна, но из своего арсенала он может предложить ликвидацию пожара исключительно встречным огнем. Санта-Клаус ввергнут в эйфорию из-за коктейля былой учтивости к самозванным отцам и нынешнего сарказма к их экологическому реквиему. Я не исключаю шанса, что мне предложат сплестись на осколках моих обвинений, которые наверняка заактивированы как «бой при транспортировке» на маршрутах: обком — райком — предприятие реабилитации гидросферы — комиссия по расследованию — райком. Шанс уравнивается с алиби — я пытался помочь, но я не ведал,

простите, я... да, они все в общем-то не дурные люди, да, они позитивисты, больше — волшебники, я завидую их уникальной доле — они являются компостом для грядущих судеб.

Меценат и Вий настраиваются по идеологическому камертону на ноту «до». «Карающий меч революции», — эскизировал Меценат председателя парткомитета в минуту нашей компоновки у врат райкома. Неверие чревато отчаянием, но я пеленгую фонтаны трех опор нашего бытия: сколько монстров зачато летаргией присвоивших право ответственности.

Меценат реминисцирует хронику моего подряда на тему реабилитации гидросферы, гипертрофированной из очерка в обращение в обком КПСС.

— Вы подали отличную инициативу. — Вий высвечивает меня всевидящими бельмами. — Мы все благодарим вас за ту кропотливую работу, которой вы посвятили, как мы сейчас узнали, больше года. Но знаете ли вы, что из-за того, что вы где-то не смогли, а где-то не сочли необходимым выверить факты, вы заимели значительное количество врагов, причем многие из них раньше были вашими друзьями?

— Знаю, но у меня отсутствовал выбор. Если бы метастазы черного рынка поражали исключительно аспекты экономики, я бы вообще не дебютировал в амплуа обличителя, но в моем варианте саркома самоуничтожения определенного типа людей сопряжена с экологическими интересами страны, а значит, мира вообще и, естественно, меня лично — здесь я не волен блюсти индифферентность. — Настороженные взгляды — свидетельство зашкаливания индикаторов допустимых концепций: Меценат убавляет «высокие». Вий благодарно канючит: «До-о-о...»

Лица шестерых игроков команды Вия шаблонны, как лозунги, подобно словам из идеологического конструктора: партия, план, народ.

Члены комиссии по очереди сообщают результаты проверки представленных данных. Большинство из указанных antagonистов клана Кормящего не явились. Иного я не ожидал — их элементарно не пригласили в райком. Посетившие преимущественно отказались от вмененных им обвинений. Таким образом, выясняется, что перечисленные нарушения — следствие доверчивости слухам, плод творческой фантазии или, чего никто, конечно, не утверждает, но вполне ясно — клевета! И еще: чаще всех склоняется фамилия главного инженера. Вначале это — странно. Именно он брал автора обращения на работу, он же содействовал освоению начинающим литератором флотской профессии. Чем же главный инженер мог спровоцировать негативную реакцию? Кое-кто ведь может классифицировать новое отношение автора обращения как меркантильную зависть к чужой карьере.

— Мы не собираемся формулировать возможные выводы в таком стиле — вы не имели опыта подобной деятельности, но в будущем постарайтесь не браться за то, в чем недостаточно ориентируетесь. Вий зондирует мою готовность ратифицировать неудачу. — Представьте, сколько людей задействовано в проверке ваших недостоверных данных.

— Вы готовы утверждать, что я — фальсификатор? Так же как на погромных собраниях я должен прозвонить все провода, чтобы вывить местонахождение метафорической иголки. Она, безусловно, недоступна, но знание того, что она есть и где хранится, — успех ментальной фазы работорства.

— Да нет, ни в коем случае. Вы меня неправильно поняли. Вы много и хорошо потрудились. Ряд замечаний достаточно актуален. Например, фиктивные рейсы с пустыми шаландами. Верно! А вот приказы начальника предприятия о наказании работников, допустивших такого рода нарушения. Пьянство в рабочее время. Вот приказы о привлечении к администра-

тивной ответственности персонала, оказавшегося в рабочее время в нетрезвом состоянии. — Председатель продолжает идентификацию параметров нарушений и карающих мер.

Не окажусь ли я удален с поля, если заявляю, что комиссия по расследованию приложила максимум сил не для обличения нарушителей, а для их дальнейшего криминального функционирования?

— Вы знаете, что каждый человек, чьи претензии я выразил в обращении, вызывался к руководству, которое шантажировало его самыми ухищренными методами, чтобы он не только отказался от своих слов, но и произнес диаметрально иные? — Семерка не ожидала агрессии. Интерполирую трепет, с которым томится у аппарата клан Кормящего и он сам, ошалевший от прожектов и аудиенций. Меня разжигает смех: массирую лицо, склоняю голову — супостаты вольны трактовать новую рефлексию как раскаяние от словесного прорыва.

Вий сознается, что не подозревал о подобных действиях моего начальства, — могло ли такое вообще состояться? Ну, да, да, он не оспаривает моего сообщения, но вот недавний пример с данными о нарушениях. Да нет же, и там он не настаивал на их необъективности.

— Поймите, дорогие товарищи, мы — не работники милиции, мы не располагаем теми полномочиями и средствами, которые имеются у следователей. — Председатель дозирует и сглатывает слюну — он с очевидного перепоя. Гадаю о сумме, которая определила его позицию по отношению к летальной участи акватории. — Взятки, приписки, подлоги — все это в компетенции УВД. Мы даже не вправе настаивать, чтобы человек к нам явился: не хочет — заставить не можем. Вследствие этих причин мы не смогли разобрать все пункты адресованных нам документов. И, главное, авторы сообщений хотели сохранить анонимность: нам сразу поставили условие авторов не передавать бумаги в следственные органы. Нам указали на это как на главное требование составителей. — Наши глаза сверяют фразы — полагаю, что если Меценат мыслит ограничиться партийным уровнем, то я не стану в пику ему настаивать на оплодотворении обращения милицией.

Чтобы гарантировать себя в перспективе своей дальнейшей трудоемкости, присовокупляю факты, доказывающие версию о том, что руководство пыталось меня и Санта-Клауса по программе-максимум — ликвидировать, по программе-минимум — скомпрометировать до визита в райком. Первое — фиктивная проверка дисциплины на участке и составление подложного акта об опоздании Санта-Клауса; второе — составление акта о том, что мы с Санта-Клаусом несем суточную вахту — в контексте тотальной суточной работы на всем предприятии; третье — собрания разного уровня с целью удалить меня с клеймом клеветника за недоверие коллектива. Акцентировано на том, что все кампании осуществлялись под руководством Шакаленка — нового начальника участка, воздвигнутого исключительно в целях моего изгнания.

— Этот человек назначен начальником без уведомления и согласия коллектива. — Целюсь в «десятку». — Факт его роста обусловлен определенными заслугами: месяц назад он был задержан работниками милиции в нетрезвом состоянии и за сопротивление представителям власти доставлен в вытрезвитель.

— Очень важно то, что вы нам это сообщили. Вообще имейте в виду, что мы и в будущем заинтересованы в вашей информации. — Вий конспектирует новые данные. — Я завтра свяжусь с вашим руководством и выясню, как они допустили подобные вещи. Тем более сейчас, когда они знают о том, что на

предприятия работает комиссия партийного контроля.

Не считаю себя наивным, — для меня бы их методы борьбы предстали банальными, если бы я их принял всерьез. Только в этот миг меня озаряет: все акции, предшествовавшие собраниям, и они сами санкционированы Вием и представителями более высоких каст. Семерка по-семейному прощается. Председатель сетует на неосведомленность о моем творчестве.

Мы вновь на ступенях райкома.

— А что он имел в виду под условиями составителей относительно перепаса обращения в УВД? — ощущаю преддверие фиаско — Вий обмешурил нас, но нам еще предстоит визит к начальнику районной милиции — может быть, там мы откроем для себя синтез инспектора в стиле Бельмондо и Анискина?

— Я понял тебя — ты тоже не ставил таких условий, что ж, впредь нам надо постараться избежать таких ловушек. — Меценат прощается с Санта-Клаусом. Я тоже жму длань соратника. Перемигиваемся. Санта-Клаус сигает в автобус. Мы дефилируем по проспекту, сворачиваем на бульвар и замираем на траверзе входа в отделение.

— Я помню вашу характеристику председателя... — Из фургона ухарски пикирует милиционер и выволакивает нечто, что формируется в пьяного пенсионера. Представитель власти направляет задержанного к дверям пикета, конвоируемый человек вновь обращается в нечто. — Может быть, он и представлял собой когда-то «карающий меч», но сейчас, по-моему, пьяница и взяточник.

Меценат поднимает брови, но не возражает. Заходим в отделение, путаемся в дверях, ориентируемся при участии дежурного, поднимаемся на второй этаж и запасаемся озоном перед дверью с искомой табличкой...

* * *

«Вторично обращаюсь в партийную комиссию по поводу предприятия реабилитации гидросферы (ПРГ) в связи с тем, что первоначальное расследование оказалось безрезультатным. Хотя комиссия не предъявляла мне результатов своей деятельности, я заключаю это из того, что вместо привлечения указанных мною лиц к ответственности они неуклонно продолжают продвигаться по восходящей.

Считаю необходимым еще раз декларировать эколого-экономические постулаты, определившие мою позицию по отношению к ПРГ. Моя глобальная цель — спасение системы «Ладога—Нева—залив», то есть сохранения возможности проживания в Ленинграде и области и улучшения всех аспектов жизни населения (см. приложение № 1).

ПРГ, которому доверена реанимация водного бассейна и прочее оперативное обслуживание дна и берегов, свои задачи не выполняет и затраты государства не оправдывает. Причины коррупции предприятия обусловлены тем, что ПРГ не курируется должным образом организациями, компетентными в природоохранной деятельности (см. приложение № 2).

Будучи бесконтрольным и некомпетентным, персонал ПРГ увлечен отнюдь не проблемами реабилитации гидросферы. Необходимо реорганизовать ПРГ, изменить его структуру, подчинив ее интересам сохранения водного бассейна Северо-Запада, привлечь к ответственности деградировавших работников, нанесших так или иначе вред природе и государству (см. приложение № 3).

Причины безрезультатности работы комиссии следующие:

1. Незаинтересованность в подтверждении указанных мною фактов.

2. Игнорирование лиц, фигурировавших в обращении в качестве свидетелей негативной деятельности ПРГ.

3. Убеждение руководством ПРГ лиц, направляемых в райком, что я — их враг, преследующий корыстные цели, и т. п.

Вопреки гарантиям сохранения инкогнито моих союзников оно было раскрыто руководству ПРГ. Люди подверглись репрессиям: официально несанкционированные проверки, фальсифицированные акты, собрания, имевшие целью удалить этих сотрудников из структуры ПРГ и пр. (см. приложение № 4).

Парадокс кадровой политики ПРГ по-прежнему в том, что работники продвигаются по принципам, описанным еще М. Е. Салтыковым-Щедриным. Это было не так, если бы руководство ПРГ не знало об акциях своих подчиненных — так ведь знает! Однако начальник ПРГ утверждает на руководящие должности именно тех, в чьем послужном списке зажим требований гласности, критики, попыток разоблачения деформаций в работе ПРГ. Абсолютная убежденность в безнаказанности — единственное, чем можно объяснить откровенность криминальной практики руководства ПРГ (см. приложение № 5).

Итог работы комиссии — неверие людей партийным работникам и страх перед последствиями за каждое нелояльное слово в адрес руководства ПРГ, имеющего, как убедила реальность, опекунов в самых разных официальных сферах и на самом разном уровне. В чем секрет могущества ПРГ? В принадлежности к горисполкому? (См. приложение № 6.)

Прилагаю свое первоначальное обращение, по которому, считаю, необходимо провести вторичное расследование, но не «в одни ворота», как это случилось, а с привлечением сил, не связанных и не могущих быть связанными с ПРГ какими-либо узами, благодаря которым, к примеру, работники ПРГ становятся работниками райкома партии и пр. (см. приложение № 7).

8.

Утром был звонок по телефону. Я подняла трубку — молчание. Кто-то вроде дышит. Где-то в 12 у меня вдруг екнуло сердце. Опять звонок по телефону. Я сняла трубку, спрашивают Павла. Говорю, он на работе. Спрашивают, когда ушел. Когда вернется. Я на все отвечаю. Сказали: спасибо, повесили трубку. Мне уже было как-то не по себе. Не знаю, почему, но я начала волноваться. Часа в 2 опять звонок. Спрашиваю: «Алло! Вам кого?» Никто не отвечает. И вроде как опять дышат. Минут через 15 звонок в дверь. Открываю — стоят двое. Один, что пониже, черный, все молчал, а тот, кто повыше, с усами, спрашивает: «Дельтов здесь живет?» Я отвечаю: «да» и сразу спрашиваю: «С ним что-нибудь случилось?» Они не отвечают. Спрашивают, кто еще дома есть, кроме меня. Я говорю — отец, мать, но вы мне скажите, что с Павлом, не томите меня, пусть самое страшное, я с утра покоя не нахожу. Он опять: позовите отца. Я говорю, позову, но вы мне-то скажите, что с ним, он в больнице? Он опять просит отца. Я позвала отца, сама тут же стою, говорю, ну, скажите скорее, что с ним? Он говорит, с Павлом произошел несчастный случай и дальше начинает выражаться производственными терминами, которых я не понимаю. Я спрашиваю, так он жив, где он, может быть, в реанимации? Он говорит, нет, Павел погиб. Я спрашиваю, где он, как мне его увидеть? Он говорит, сейчас нельзя, его должны отправить в морг, там я смогу его увидеть. Дает мне много телефонов. Начинаю звонить. Одни телефоны неправильные, по другим не отвечают, по третьим отвечают, что тех, кто мне нужен, нет. Стала искать морги. В милиции

узнала, что их в городе два. Ни в одном из них Павла нет. Вечером дозвонилась диспетчеру, спрашиваю, где Павел? Он говорит, что пока ничего не знает, когда узнает, позвонит. Около семи выяснила (или позвонили, не помню!), Павла повезли в морг на Авангардной. Поехали туда. Мне говорят — нельзя, его будут анатомировать. Сидела-сидела, заснула. Толкают, зайдите. Я его прямо не узнала! Кроме швов на груди и животе, у него был страшный шов на шее, зашитый толстой бумажной ниткой. На лбу такая рана, как будто сковырнуто, на лице, у усов — кровь, как была, так и засохла, а руки все, даже не знаю, как это могло получиться, словно изгрызены... И часов нет. Мне их жалко, потому что это мой подарок. Он начал заниматься водолазным спортом, и я ему купила часы «Амфибия»: он их никогда не снимал, и они на нем должны были быть. Спрашиваю: а где же вещи? Что же он — голый? Мне сказали, что они утонули вместе со всеми документами и что их будут искать водолазы. Потом сказали, что нашли только куртку, что ее отдали просушить. Не знаю, что ж, они и по закону не обязаны выплатить стоимость вещей? Мама не выдержала, позвонила председателю профкома. Стала его стыдить за то, что они так равнодушны к семье своего погибшего работника. Он попросил меня к телефону. Спрашивает, какая мне нужна помощь? Я говорю, уже никакая, я все оформила, только пусть дадут второй автобус: мы не знали, сколько народу будет на похоронах и сможем ли мы всех уместить в одну машину. Он сказал, что они, конечно, дадут автобус и чтобы я, если брала счета, то отдала им — они все оплатят. Но они оплатили не все — только 180 рублей, а я истратила где-то 230... Капитан мне все время звонил, спрашивал, как я себя чувствую, утешал. Я его несколько раз просила подробно мне рассказать, как все произошло. Он сказал, что не видел, как это случилось, потому что находился внизу, а Павел вышел на палубу посмотреть, в чем дело, когда трос лопнул и их понесло под мост. Говорил, что от удара его выбросило в окно рубки, он упал в воду и поэтому спасся. А на поминках, когда я из-за того, что выпила, стала говорить все, что обо всем этом думаю, один из двоих пожилых мужчин, которые раньше работали с Павлом, на такой же машине, сказал, что в окно рубки даже голова не пролезет. Я спрашиваю капитана: «Ну, расскажи мне, как все было с самого начала: вот Павел пришел утром на работу, вот вас повели на работу. А дальше что?..»

1989 год

НАША АНКЕТА

Дорогие друзья!

Нам очень помогает в работе ваше мнение о журнале. Мы хотим знать, какие произведения, какие авторы привлекли ваше особенное внимание среди публикаций конца прошлого года и первой половины этого, о чем хотели бы вы прочитать в будущих номерах «Юности».

В вопросах 3—6 обведите кружочком соответствующий пункт.

Мы обобщим отклики на анкету и опубликуем их во второй половине 1990 года.

1. Что понравилось из напечатанного за последний период?

2. Какие темы или имена хотелось бы встретить на страницах журнала в дальнейшем?

3. «Юность» получаете

1. По подписке
2. Покупаете в киоске
3. Берете в библиотеке
4. У друзей

4. Ваш возраст

1. до 16
2. 17—21
3. 22—28
4. 29—35
5. 36—45
6. 46 и старше

5. Основной род занятий

1. Учащийся
2. Студент
3. Рабочий
4. Сельский труженик
5. Инженерно-технический работник
6. Служащий
7. Учитель, врач, научный работник
8. Пенсионер, домохозяйка
9. Другое занятие

6. Место жительства

1. Город
2. Село

Благодарим за помощь!

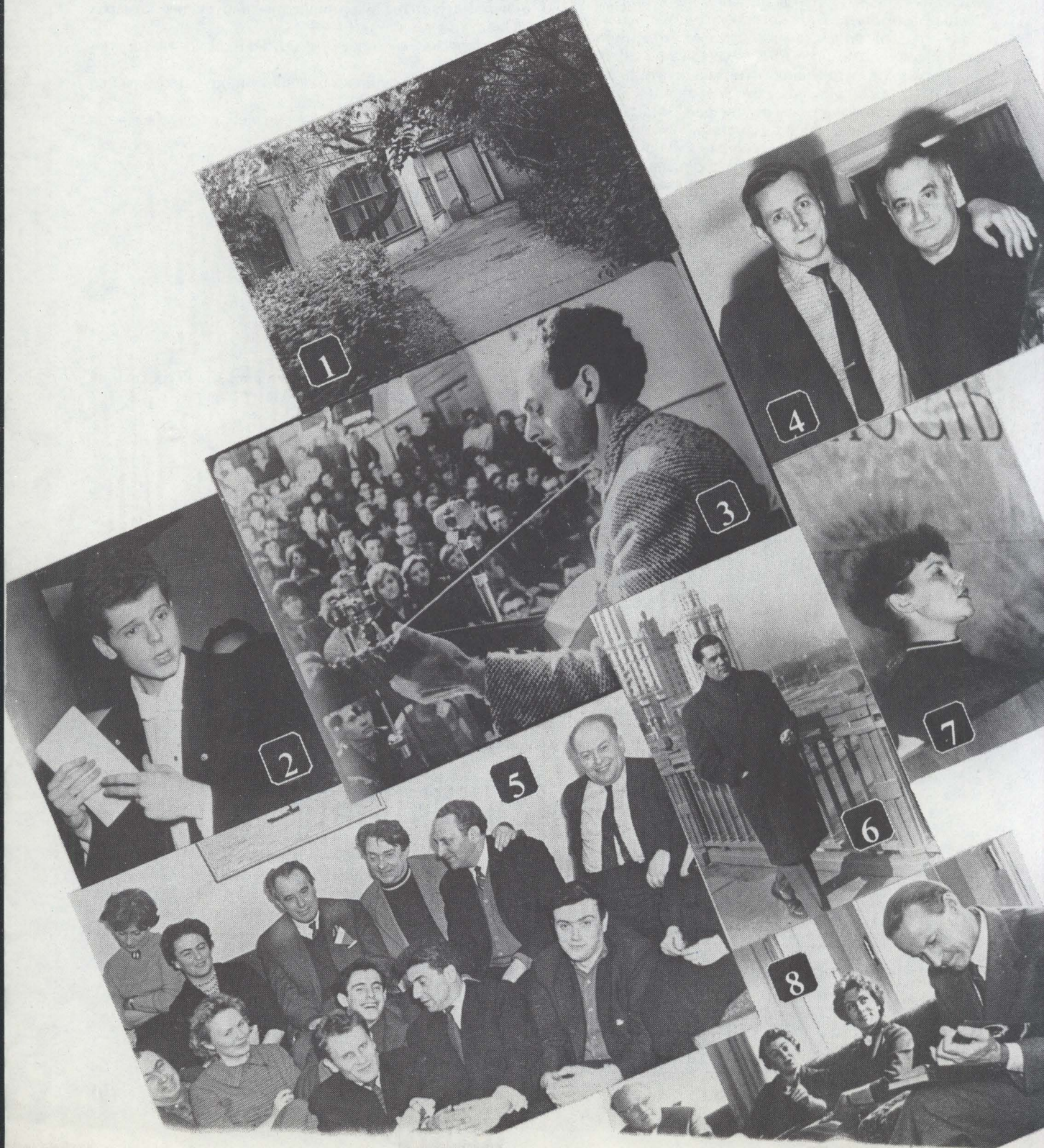
«ЮНОСТЬ»

«ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО...» «Юность» 1955—1990

1. Здесь, на улице Воровского, начиналась «Юность». 2. К нам пришел Ван Клиберн. 3. «Ванечку Морозова!» — просят Булата Окуджаву. 4. Валентин Катаев, наш первый главный редактор, и его любимый автор Евгений Евтушенко. 5. Валентин Катаев передает бразды правления Борису Полевою. 6. Роберт Рождественский на пути в свою «Юность». 7. И Римма Казакова начинала у нас. 8. Как и Тур Хейердал, которого наш журнал открыл советскому читателю. 9. Виктор Розов, стоявший у истоков «Юности», и ныне с нами. 10. Уже первая повесть Бориса Васильева в «Юности» — «А зори здесь тихие...» принесла ему громкий успех. 11. Много лет Ираклий Андроников входил в редколлегия «Юности». 12. Однажды, плывя на пароходе, мы спровадили за борт этого «графомана». Приговор зачитали Аркадий Арканов и Григорий Горин. 13. Алексей Пьянов, которого щедрая «Юность» отдала «Крокодилу». 14. Присмотритесь внимательнее — Анатолий Алексин держит в руке бокал. Его тост, как всегда, — за любимую «Юность». 15. Андрей Вознесенский, уже написавший «Антимирры». 16. А Белла Ахмадулина — «Мою родос-

ловную». 17. Андрей Дементьев, еще не ведая, что настанет час и этот кабинет главного редактора станет его кабинетом, принес в редакцию стихи. 18. Исторический футбольный матч «Юность-1» — «Юность-2». В свалке у мяча — Стасис Красаускас, а за ним грозные форварды — Фазиль Искандер, Владимир Амлинский и Сергей Дрофенко. 19. Этот снимок был сделан на одном из бывших юбилеев журнала. Нет сомнений, Борис Полевой выпрашивает Василия Аксенова, что он пишет сейчас для «Юности»... 20. Еще один юбилейный снимок. Гармонист — Николай Старшинов. 21. В редакции уже не раз менялась за эти годы мебель. Где тот диван, на который прилег однажды Корней Чуковский? 22. Наши художники Виталий Горяев и Юрий Цишевский принимают в редакции Антона Рефрежье. 23. А у нас во дворе (на улице Горького мы еще не переехали): Фазиль Искандер и Олег Чухонцев. 24. Идея создать новый журнал, который сделался «Юностью», принадлежала Марии Прилежаевой.

Фото из архива Сергея ВАСИНА.





9

12

13

11

16

10

15

19

14

18

17

22

21

20

23

24

Владимир ЛУКЪЯЕВ

ВВЕРХ ПО ЮЖНОЙ СТЕНЕ

Это восхождение, которое задумали Сергей Бершов и Михаил Туркевич, не имеет равных по сложности в истории альпинизма. Наши славные «гималайцы» намерены пройти в сентябре южную стену Лхотзе!

Лхотзе — четвертый по высоте восьмитысячник мира (8511 метров). В 1956 году на его вершину по наиболее доступному северо-западному склону впервые взойшли швейцарцы Лухдингер и Райз. Восхождением на Лхотзе завершил покорение всех четырнадцати восьмитысячников мира и величайший альпинист наших дней Рейнхольд Месснер. Но и он поднялся на Лхотзе не по южной стене...

В позапрошлом году, когда я сопровождал Месснера и его жену Сабину в поездке на Памир, он рассказывал:

— Южную стену Лхотзе хорошо видно уже от монастыря Тяньбоче, рядом с которым обычно останавливаются все экспедиционные караваны, идущие к подножиям Эвереста и Лхотзе. Каждый день в любую погоду в шесть утра монахи начинают дуть в свои трубы, и этот звук, громкий и тягучий, достигает священных для шерпов вершин Ама Даблама и Кангтеги, Нупце и Лхотзе и, отразившись от вершины Эвереста, возвращается вниз в долину Соло Кхумбу.

Первую попытку пройти южную стену Лхотзе Месснер предпринял еще в 1974 году в составе итальянской экспедиции. И хотя по центру стены они подниматься не решились, а пошли немного левее, по снежным полкам, и установили уже два промежуточных лагеря, но тут на базовый лагерь одна за другой сошли две лавины. К счастью, никто не погиб, им даже удалось установить на высоте 7500 метров еще один промежуточный лагерь, но дальше идти не рискнули.

А в восьмидесятом году Месснер отказался от попытки взойти на Лхотзе даже с противоположной — северной — стороны. Он мне так рассказывал:

— По ледопаду Кхумбу к западному эверестовскому цирку я планировал подняться в «альпийском стиле» — без установок промежуточных лагерей, только в сопровождении шерпа Дати, а с высоты 7300 и до вершины Лхотзе собирался идти «соло». Но в день выхода из базового лагеря Дати сказал, что не может сопровождать меня по религиозным мотивам. Я его понял и не стал уговаривать.

— Что же остановило шерпа? — спрашивал я.

— Видишь ли, все шерпы перед выходом на гору молятся Будде и просят его покровительства. Дати тоже помолился, но не получил согласия. Только ты не подумай, что он побоялся идти со мной через Кхумбу. Дати очень смелый и верный товарищ. Я доверял ему полностью.

Одним из самых «заковыристых» мест в Гималаях считается ледопад Кхумбу, сползающий невообразимо громадным и хаотичным потоком со склонов Эвереста и Лхотзе. Пройти Кхумбу в одиночку — гарантированное самоубийство даже для такого аса, как Месснер.

В те же дни на южной стороне Лхотзе французский альпинист Егер вышел на стену с намерением не только подняться на вершину, но и пройти потом по гребню Лхотзе — Эверест и на вершину Эвереста. Замысел фантастический. К тому же рядом с Егером не было шерпа, который мог бы сказать ему, что боги сейчас не желают видеть людей на Лхотзе и «закрыли» вершину. Егер поднялся в одиночку до 6000 метров и пропал...

А весной восемьдесят первого года была сделана первая серьезная попытка пройти южную стену Лхотзе по самому сложному маршруту. Есть в альпинизме термин «логичный маршрут», означающий подъем от основания на вершину по прямой линии. Эталон логичного маршрута в Гималаях,



по мнению многих специалистов, считается прямая, проходящая по центру южной стены Лхотзе.

Сильная югославская экспедиция под руководством А. Кунавера поднялась по логичному маршруту стены до 8000 метров. До вершины оставалось еще полкилометра по вертикали, но ребята повернули назад. И правильно сделали, потому что основные трудности на стене начинаются выше 8000 метров, а силы уже иссякли.

В 1985 году польские альпинисты начали свой маршрут не по центру, как югославы, а с правой части стены — по крутому, но не очень сложному склону. Им удалось выйти на 8100 метров, но тут один из них погиб, и экспедиция была свернута. На валуне у подножия стены был выведен черной краской крест и имя погибшего альпиниста. В восемьдесят седьмом состоялась еще одна польская экспедиция на стену. Они пошли наверх по пути, начатому их земляками два года назад. Но опять случилось несчастье, и появился на этом валуне еще один черный крест.

А два года назад, на Памире, когда мы с Месснером жили у подножия пика Ленина в международном альплагере «Ачикташ» и однажды, прогуливаясь по окрестностям, были приглашены «на кумыс» в киргизскую юрту, Рейнхольд, осушив свою пиалу, вдруг признался мне, что решил идти на южную стену Лхотзе.

— Этот человек, — сказал я старому киргизу, хозяину юрты, показывая на Месснера, — в следующем году хочет подняться на очень высокую гору по самому трудному пути.

— Зачем он себя мучает, — философски заметил старик, — не лучше ли сидеть внизу и просто смотреть на высокую гору.

— Он прав, — рассмеялся Месснер, — я наверх не пойду.

— А кто пойдет? — спросил я удивленно.

— Я еще не решил окончательно, на ком остановить свой выбор, но это будут самые сильные альпинисты Европы. А я буду руководить экспедицией.

Вернувшись с Памира домой, Рейнхольд Месснер официально объявил о своем намерении штурмовать стену весной 1989 года в роли руководителя экспедиции. А на вопрос, почему он решил не участвовать лично в прохождении стены, ответил, что еще ранее пообещал своей маме не ходить на большие горы после того, как взойдет на все 14 восьмитысячников.

Я знал об этом обещании. «Смерть брата Гюнтера на Нанга Парбате в 1975 году была для меня очень сильным ударом, — признался он мне как-то в один из наших памирских вечеров. — Ударом, от которого я не мог оправиться в течение нескольких лет. А в восемьдесят пятом погиб в горах и другой мой брат — Зигфрид. Известие о его гибели застало меня в Тибете. Я очень люблю эту страну и разделяю тибетские мировоззрение и философию. Тибетцы не драматизируют смерть, как делаем это мы, европейцы, а воспринимают ее как продолжение жизни. И все же я очень переживал. Зигфрид убило молнией во время восхождения на одну из вершин в Альпах. А незадолго до этого я чудом избежал гибели, и тоже от молнии на вершине Дхаулагири. И я не раз задавался вопросом: почему он, а не я. Моя мама, потеряв двух сыновей в горах, нашла в себе силы и не потребовала, чтобы я прекратил восхождения. Но я понимал ее состояние и, вернувшись с Тибета домой, пообещал, что взойду на два оставшихся из четырнадцати восьмиты-

На снимке: С. Бершов и М. Туркевич у подножия южной стены Лхотзе.



«НОЧЬ». Холст, масло. 1980 г.

Андрей ВОЛКОВ. г. Москва.

Московский живописец Андрей Волков — мой ровесник. Знакомы мы давно. К тому же он сосед мой по мастерской, и получилось так, что его окна обращены к моим. Иногда я замечаю, что свет в его мастерской не гаснет всю ночь. Андрей Волков принадлежит к редкой породе художников одной темы: городские крыши, окна, лунный свет или солнечный луч, медленно скользящий по скупому интерьеру комнаты. Изредка возникающие на его холстах фигуры не мешают чуткому зрителю ощутить за всей достоверностью письма какую-то тайну. Андрея Волкова часто относят к группе художников-гиперреалистов, появившихся у нас в начале 70-х годов. Но это не так. Андрей никогда не переходил ту границу — фотореализма, где изображение слайда сознательно переносится на холст. Он вовремя понял, что это слишком просто.

Как бы часто ни менял художник свою мастерскую на новую с большим пространством или лучшими бытовыми условиями, он всегда вспоминает свою первую мастерскую — самую интимную и плодотворную. Именно такой была первая мастерская Волкова — классическая мансарда во дворе дома на Покровском бульваре. А вокруг, от Яуз-

ских до Сретенских ворот, вязь московских переулков. Я помню эту первую волковскую мастерскую с одним окном. Почти все публикуемые на нашей вкладке работы Андрея сделаны там.

«За мной, зритель!» — беззвучно зовет Андрей. Вы чувствуете поэзию одиночества, так нужного художнику, поэзию Окна как барьера между мастерской и пространством внешнего мира. Наконец, поэзию остывающей крыши другого дома напротив и окон, где мерцают чужие судьбы. А безлюдные переулки у Волкова? Они полны звуками хлопающих парадных дверей, шарканьем ворчливых московских старушек. А может, вы услышите одинокий детский крик: «Андрюха! Выходи гулять!» Вот так. Давайте вспомним коммуналки послевоенной Москвы — теплого нашего детства пятидесятых годов.

Живопись Андрея Волкова находится в Третьяковке, в музеях Вологды и Томска, в галереях Кёльна и Варшавы. Одну из работ он назвал «Никаких новостей». Но вот новость, очень даже какая — в ноябре в Центральном Доме художника на Крымской набережной откроется его персональная выставка.

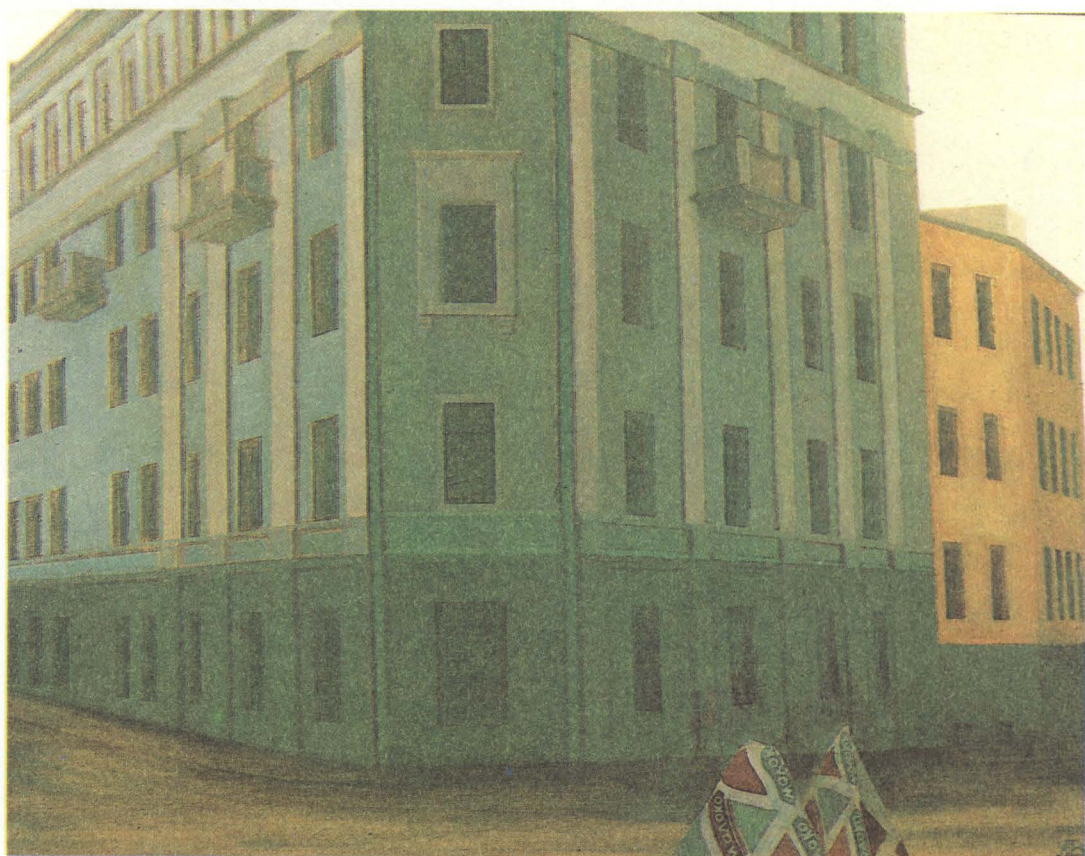
Олег КОКИН



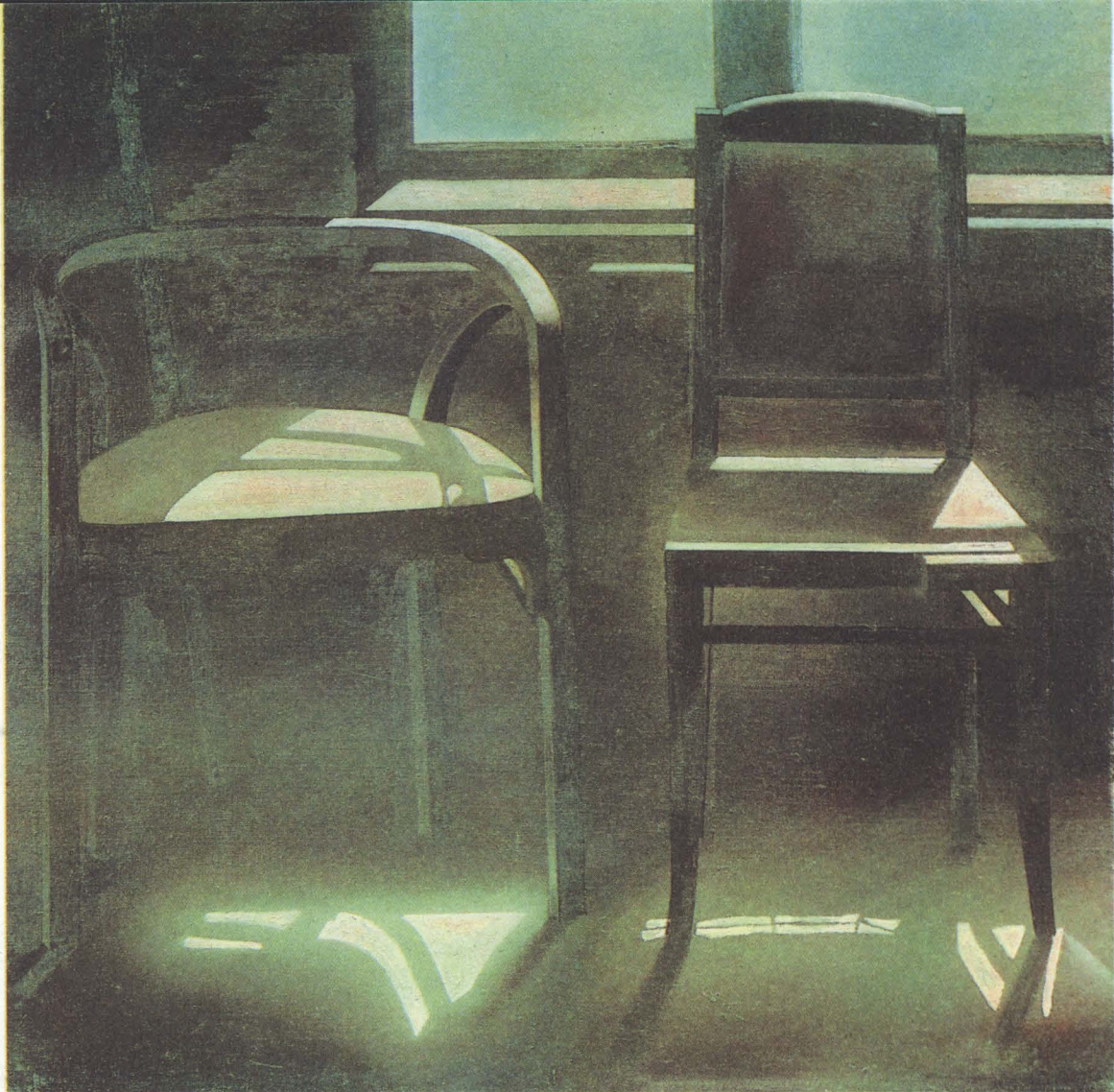
**«НИКАКИХ
НОВОСТЕЙ».**
Холст, масло.
1989 г.



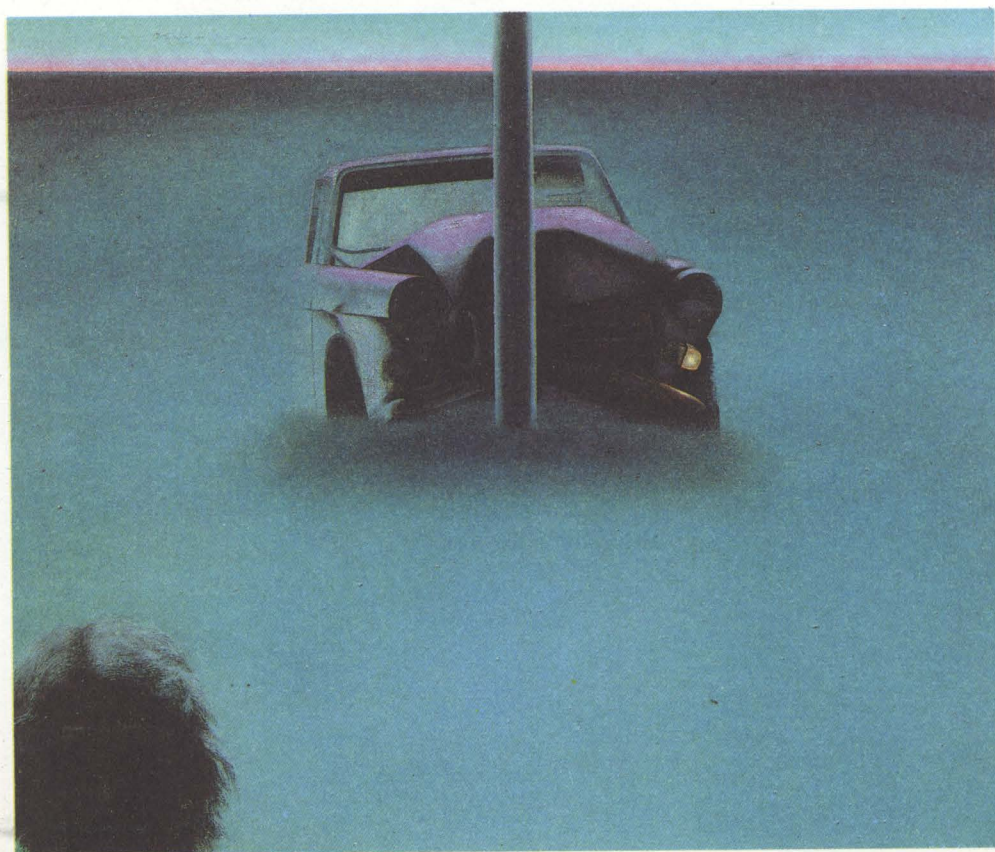
«НА БАЛКОНЕ».
Холст, масло.
1980 г.



**«ПОДКОЛОКОЛЬНЫЙ
ПЕРЕУЛОК»**
Холст, масло.
1980 г.



«СВЕТ ИЗ ОКНА».
Холст, масло
1979 г.



«АВАРИЯ».
Холст, масло
1977 г.

саячников и больше на них ходить не буду. И восхождением на Лхотзе, хоть и не по южной стене, я план выполнил».

В феврале прошлого года я был в Мюнхене и зашел к Месснерам в гости. Основную часть года Рейнхольд и Сабина проводят в своем замке в горах Италии, а на пару зимних месяцев, как правило, перебираются в Мюнхен. Приняли меня они очень радушно, вспомнили Кавказ, Памир.

— А скажи честно, — попросил я у Рейнхольда, — разве тебе не хочется самому попробовать пройти стену? А что, если в этот раз получится?

— Нет, я уже стал другим человеком. И дело не столько в возрасте, сколько в ином отношении к горам и к восхождениям. Стена Лхотзе не просто восхождение на восьмистысячник, а кульминация альпинизма. Конечно, есть и еще останутся и другие непройденные стены в Гималаях и Каракоруме, но равных стене Лхотзе в мире нет. И неважно, кто из моих ребят первым пройдет ее до конца — эта победа будет и моей победой тоже. — Он улыбнулся и, подмигнув, лукаво добавил: — Но, может быть, я тоже поднимусь по стене, но только до 8000 метров. Если, конечно, все будет нормально.

А через несколько месяцев альпинистский мир был взбодражен известием о неожиданном завершении экспедиции Месснера. Свой маршрут они начали на много правее центра стены по снежному склону и, пройдя менее половины пути, повернули назад. Я узнал некоторые подробности, лишь когда возвратилась наша вторая гималайская экспедиция.

Ребята совершили траверс четырех вершин — достижение в альпинизме уникальное. Встреча гималайцев второго поколения в Шерметьево-2 совсем не походила на триумфальное прибытие наших первых эверестовцев. Не было духового оркестра, алых стягов, пламенных речей. Понятное дело, в стране идет борьба с показухой. Но ведь эти альпинисты — подлинные герои.

Вечером в гостинице «Спорт» в номере у Миши Туркевича собралась вся наша компания. После обычных вопросов: «Ну как там? Траверс сложный? Гора крутая?» — и столь же обычных ответов: «Да ничего, нормальный траверс», «Гора кое-где крутая, но идти можно», — я спросил Мишу и Сережу, что же случилось с экспедицией Месснера.

— Мы и сами в недоумении, — сказал Бершов. — Хлопцев он набрал очень сильных, и они должны были пройти стену, но с самого начала у них все пошло наперекосяк. — Мы встречались в Катманду с участником экспедиции французом Профитом. Сам знаешь, что это альпинист и скалолаз высочайшего класса...

Я видел фильм о Профите, как он в одиночку лез на Пти Дрю. Стена Пти Дрю считается одной из самых сложных в Альпах. Эту стену проходят, как правило, в связках за два дня с применением крючьев, закладок, френдов и другого альпинистского «вооружения». Профит же прошел Пти Дрю за один день в одиночку и без всякой вспомогательной техники.

— По его словам, великий Месснер оказался никудышным руководителем экспедиции, — заметил Туркевич.

— Команда у него была интернациональная: поляки, немцы, французы, испанцы, — продолжал Бершов. — Ребята молодые, сильные, но многие из них впервые встретились друг с другом только в Катманду. О какой схоженности и совместности может идти речь? А чтобы пройти такую стену, нужна работа всей команды, за счет своих суперальпинистских способностей там ничего не сделаешь.

— Неужели Месснер всерьез надеялся, что его ребята смогут с ходу проскочить стену, — удивлялся Туркевич. — У них ведь минимальной акклиматизации не было. Прилетели в Катманду, перепрыгнули по воздуху в Луклу, подошли к стене и сразу рванули вверх. Так даже и на Кавказе не каждую гору пройдешь. В общем, нечего нам мусолить эту тему, чужая душа — потемки, и пусть это поражение станет еще одной «загадкой» Месснера. А мы давай бабахнем по маленькой за успех теперь уже нашей экспедиции на южную стену Лхотзе.

— То есть? — Я чуть было не поперхнулся. — Какой это «нашей»?

— Да вот мы с Михал Михальчем, — хитро улыбнулся в усы Сережа Бершов, — подумали, мол, чем мы хуже Месснера и шо бы нам не попробовать себя на этой стене.

— Ну и что вы задумали?

— Шо задумали, то и сделали, — сказал Туркевич. — Когда спустились с Канченджанги, нашли в Катманду посредническую фирму, сходили в министерство туризма Непала и получили разрешение на проведение экспедиции на южную стену Лхотзе осенью девяностого года.

Вот это новость! И сидят, помалкивают, травят за Месснера и его дела, а сами, можно сказать, уже одной ногой стоят в базовом лагере под Лхотзе. И ведь на что замахнулись — на стену!

А почему бы и нет? Если кто из наших альпинистов и имеет право пойти на эту стену, то Бершов и Туркевич. Кто не знает, какую роль сыграла эта связка при прохождении юго-западной стены Эвереста, где им выпало «работать» на самом сложном участке и как они проявили себя в критические моменты и на вершине Эвереста, и во время первого зимнего восхождения на пик Коммунизма?! Да и на Канченджанге самый сложный участок работы на стене Южной вершины достался пятерке Бершова. «Я на этой стене выдохся намного больше, чем на траверсе четырех вершин», — признался мне как-то Туркевич.

В конце прошедшего сентября я в очередной раз провожал Сережу и Мишу в Гималаи. Вместе с ними летели Александр Васильевич Шевченко — давний «менеджер» и тренер чемпионской связки Бершов — Туркевич, назначенный руководителем предстоящей экспедиции на южную стену Лхотзе, и еще два тренера, Моногаров и Непомнящий. Целью поездки была разведка и выбор пути вверх.

За неделю до вылета ребят в газетах появилось сообщение о гибели знаменитого польского альпиниста Ежи Кукучки во время восхождения на южную стену Лхотзе. О подробностях трагедии ничего не сообщалось.

Заявление вечного соперника Месснера о намерении пройти стену осенью восьмидесят девятого было неожиданно для всей альпинистской общественности. «Когда мы весной делали заявку на стену, — вспомнил Туркевич, — то перед нами никто в очереди на этот маршрут не стоял. Была экспедиция Месснера и вслед за ней наша. Очевидно, неудача Месснера подстегнула Кукучку, и он решил взять реванш».

Ну что же, и такое возможно. А, может быть, причиной этой «внеочередной» атаки стены послужила и заявка наших ребят? Кто-то из друзей говорил мне, что в одном из последних интервью польской прессе Кукучка говорил, что если он не пройдет стену в восьмидесят девятом, то в девяностом это сделают русские. Плюнем три раза, чтобы не сглазить, но Кукучка действительно мог так сказать. Он прекрасно разбирался, кто есть кто.

Ежи Кукучка сорвался со стены, не дойдя ста метров по вертикали до вершины Лхотзе, а его тело нашли в трех километрах ниже, на леднике. Похоронили его там же, где погребены и двое других польских альпинистов, а на валуне появилось еще одно имя под черным крестом. Мир праху его, он был великим спортсменом.

Фиаско суперкоманды Месснера и гибель Ежи Кукучки на стене распалили амбиции ведущих альпинистов мира. Насколько известно, весной на стену заявили болгарская команда, французы и кто-то из альпинистов-одиночек. Удастся ли кому-нибудь из них пройти стену, будет уже известно к моменту выхода этого номера журнала.

— Если даже кому-нибудь и удастся до нас пройти стену, — сказал мне Сергей Бершов, — вряд ли это будет сделано по тому маршруту, который мы наметили, — по самому центру стены. Из всех ребят, которые будут на Лхотзе весной, самым сильным соперником для нас является француз Профит. Парень он честолюбивый, и неудачная попытка, в которой он обвиняет Месснера, сильно раззадорила его, и он теперь будет «лезть изо всех сил». Но и он тоже, мне кажется, не начнет свой маршрут по центру. Правая сторона стены ему уже знакома, там провешаны «польские» веревки почти до 7500 метров, а это ох как соблазнительно. В общем, поживем — увидим.

В январе этого года в Приэльбрусье проходил отбор кандидатов на южную стену Лхотзе. «Ребята, — обратился к ним с приветственной речью Миша Туркевич, — когда мы отбирались на Эверест, мы знали, что кому-то места в команде были обеспечены заранее и без всякой борьбы. Отбор на Канченджангу проходил справедливее, но все же, все же... Вас здесь двадцать два человека, а нам нужно отобрать пятнадцать. Кое-кого из вас мы с Серегой знаем лично, остальных заочно. Орлы! Вы все равны перед нами, «блатных» нет и не будет. И в Гималаи поедут те, кто будет сильнее по всем пунктам, а не по звонку какого-то дяди».

Я видел команду. Много молодежи, но есть и корифеи Канченджанги. Лето ребята проведут на Памире, акклиматизируются на пике Коммунизма, а в начале сентября полетят в Непал. В добрый вам путь!

20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

Уходя...

Прощай, школа.

Время дарит нам взгляд свысока: и маленьким, и смешным кажется нынче все, что составляло этот мир с гитарным перебором в школьном коридоре и сигаретами втихаря. Время тихонько подталкивает нас в спину, и вот мы выходим, пошатываясь, и вместо твердой почвы под ногами липкая грязь. Мы выходим, слегка ошалевшие от собственной пустоты. Мы не умеем высказываться, спорить и творить. Мы не умеем быть разными. Зато знаем, как удобно быть никем, и как приятно при этом строить из себя Кого-то. Маски намертво приклеились к нам. Мы знаем эту «полную и страшную свободу маски», как писала Цветаева, «полную безответственность и полную беззащитность».

Как много времени потрачено даром. Как мало мы успели...

Теперь мы — будущее страны, не умеющей жить. Но, расправляя крылышки, мы еще не знаем — воспарим или шлепнемся в грязь.

Мы отправляемся на поиски самих себя.

Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ

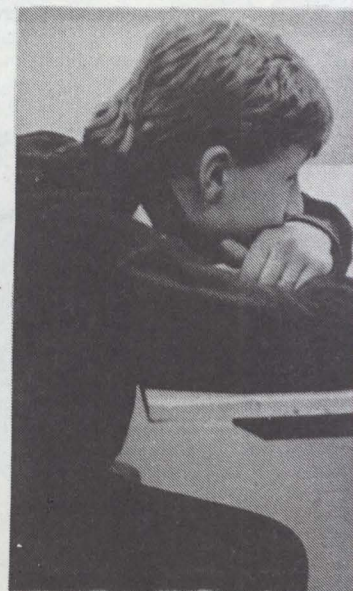
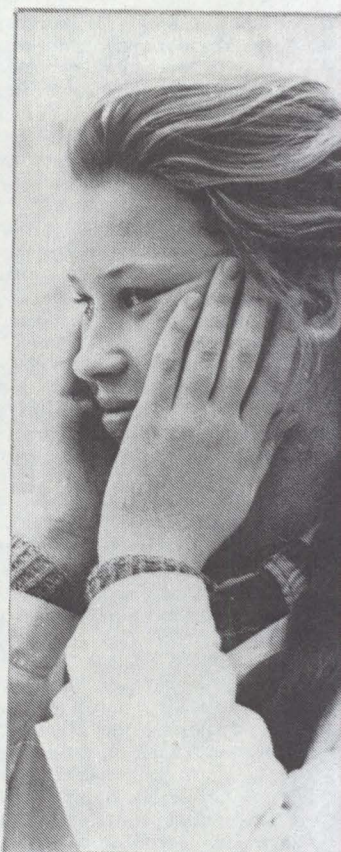


Фото Юрия Владимирова

Тусовка

Света-Феня
ЗЛОБИНА-КУТЯВИНА

Mojo
poslednee
Leto



Двадцать последнее ноября, пятница, 86.
Утро, 13.00.

Телефонный звонок. Инка!

— Привет, спишь?

— Нет, уже не сплю...

— Говорить можешь? Как жизнь?

— Отлично!!!

— Ой, Светка, как здорово! Я тебя люблю, а то с кем ни поговоришь — «Ну, все ужасно...», «Ну так, ничего, сама понимаешь...». И тут — ты! Ну, давай, рассказывай...

— Открылась выставка на Кузнецком. Авангардисты. Они замечательные...

— Кто-кто, а они и вправду замечательные. Мы тут ходили на «Звуки Му», и они там были, все прикинутые, и каждый в своем имидже. Приятно, что это есть хотя бы внешне. Ой, Фенька, мне там один ужасно понравился!

— Эх, и мне тоже!

— Тебе какой?

— А ты опиши сначала, какой тебе!

— Ну, одет под 50-е годы, высокий, светлые глаза, ну, волосы — назад, с внешностью... знаешь, советского разведчика того времени...

— ...и пальто длинное, тоже годов 50-х...

— Да!!! Кто это?

— Не знаю, тот ли, но если тот, то — Коля.

— Вот так, Инчик, как в старые добрые времена, мы с тобой влюбляемся в одного, иначе и быть не может, все меняется, но наши с тобой вкусы остаются.

— Да уж, завидное постоянство. Только я-то в него не влюблена, я ж мужа люблю, а этот просто клевый...

— Так я ж тоже! Вот! Десятого ЕГО однодневка, пойдем и все выясним!

А выяснить есть что — вот что.

Позавчера открылась выставка на Кузнецком. XVII Молодежная. «Молодых художников Москвы». Мы со Шварциком за день до сего «исторического» события решили испить

* Of course, журнальный вариант.

кофе в Доме художника. У ворот Мархи встречаем Катю с Антошей и Зайделя, направляющихся туда же.

А там все вешают, ставят, клеят. Художницы колдуют вокруг картонных манекенов, прикрепляя яркие клипсы к их черным, плоским головам.

У входа в кафе висит огромная картина, и на ее фоне возникает еще одна — человек в красном свитере и черных галифе. Все кидаются к нему с воплями и поцелуями: доходит очередь и до меня.

— Коля, ты, по-моему, единственный, кто так на картине расписался: Филатов! — сразу видно. А как называется сие произведение? — говорит Антоша.

— «Марионетка»; впрочем, придут умные дяди и тети — искусствоведы и все объяснят. Пошли лучше кофе пить, я уже очередь занял.

Заказывая десятую чашку, Коля наконец: «Ага, вспомнил, где виделись». — «Ага (это уже я «вспомнила»), у Бажанова в мастерской, на концерте «Алисы». У тебя еще болела голова, и Шварцик кормил тебя анальгином». — «Только не помню, как зовут». — «А мы и не представлены. Светлана...» «Можно и Фенечка!!!» — радостно вопит Шварцик, и мы наконец-то садимся за стол.

Хочется курить, но у всех, как назло, либо «Астра», либо «Легерос». Поймав мой жаждущий никотина взгляд, Коля с очаровательным львовским прононом, кажущимся еще более очаровательным в красно-черно-галифежном антураже, как цветок, протягивает мне сигарету:

— Барышням исключительно с фильтром!

Курим, болтаем. Но вот бычок потушен в кофейном блюде и я спешу в ЦДЛ на «Плюмбум», а Шварцик-маленький к Шварцу-большому.

В лучших традициях Принстона и Йеля (я-то это по Фицу* знаю, а вот он, наверное, по «Детскому саду»?*). Коля вылетает за нами на улицу, и происходит трогательный обмен телефонами.

Вот как оно бывает:

— Я же забыл телефон спросить — если завтра будут трудности с пригласительными... позвоню...

— Ну, записывай, раз трудности, — я и диктую свой номер.

— И мой запиши, на всякий случай, — говорит Шварцик.

Может быть, он и смотрел бы нам вслед гораздо дольше... но уже и так посинел от холода.

В мастерской у Лени Бажанова — «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!» — песня вечера.

Модный Никола, утопая в огромном кресле, при первых аккордах вскочил и стал прыгать, а Шварцик в ритме танго с Жорой, открывая двери мастерской, вываливались на улицу.

Все почти разошлись. Жора показывал комиксы, Гоша хихикал, а мы со Шварцом курили «БТ». («Делать было нечего, дело было вечером: кто на лавочке сидел, кто на улице глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал».)

В метро, на проспекте Маркса, Коля и Гоша раскланились, касаясь полами огромных пальто и своими цветными шарфами пола. А мы со Шварциком умчались в туннель, на последней электричке.

«И вот уж ушла последняя электричка...

Мы с табаком вместе встретим день рождения зари.

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МЫР, ПАСМАТРЫ!!!»

4 февраля 1987 года, среда.

Уже целый месяц новый год!

Звонила Машка:

— Света, в четверг мы с тобой идем в Дом медиков. Там наши друзья-авангардисты дают какой-то музыкальный концерт. Мы тут с Каткой встретили Колю, так она на него запала, и просто взбесилась, когда я сказала, что он твой поклонник.

— Да он такой же мой поклонник, как я — его...

— Это совершенно не важно, он передавал тебе привет. В полшестого у Никитских ворот! Тебе два билета?

* Фиц — Фрэнсис Скотт Ки Фицджеральд. «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат» и «Мой милый цыпленок».

** «Детский сад» — Детский сад на капремонте. (Адрес: как пойдешь от Ногина, так все вверх, в сторону Яузского бульвара); члены объединения: Гарик Виноградов (БИКАПО), Ройтер, Леша Иванов (не авангардист, но скульптор: «Я буду вас лепить» — и так каждому входящему) и, of course, Kolja Filatov (!!!).

9 февраля, понедельник.

А в четверг Машка опоздала, но это уже не суть. Пришла Катька в потрясающей желтой кофте. Ну и, конечно, вся тусовка. Официально вечер назывался «Металлисты и наркомания». И естественно, сначала дискуссия о вреде наркотиков. Все это было достаточно забавно, если учесть, что часть находящихся в зале подтарчивали. Фикция. Но как-то все же должно начинаться.

Потом «Среднерусская возвышенность».

— Наш музыкальный коллектив обрел большую популярность... — вещал человек в пижамных штанах, голубеньком платице и красных трусах поверх одного — Сережа Ануфриев. — Народные и фольклорные традиции коллектива хорошо известны советским слушателям...

Триумфально состоялась премьера песни «Гая, гуляй»: Свен с двумя хвостиками, очки, сапоги, блестящая рубашка; красивая девочка с аккордеоном; Никола в белом костюме, расписанном тушью. «Гая, гуляй, Гая, гуляй, Гая, гуляй, меня забывай, соки-пиво-воды-табак-пельмени — дай мне уткнуться лицом в твои колени».

Под последнюю песню «Мама, завари мне чай» на сцену выбежали все, кто хотел, конечно, и очень жалостливо просили маму заварить им чай. Но буфет был закрыт.

Зато открылась темная комната, где Жора Литичевский устроил слайд-показ своих комиксов (сюжеты простые, немного глупые и уже потому смешные). Но все же его простынно-ковровая роспись «Долгая дорога на Юг»: «Ду-ду-ду, к тебе иду», «Жу-жу-жу, на траве лежу», «Юг — пуза друг» — это один из шедевров комикс-живописи.

13 февраля, пятница.

В Доме кино от Кузнецкого остались жалкие ошметки выставки. Но все можно купить, и многое продано. Две картины Филатова, по 600 рублей каждая. И Ройтера картинки — «городская каллиграфия». Под стеклом и в рамочках.

Отзвуки XVII Молодежной проникли в стены самого перестроенного союза и в конце концов через месяц на страницах не менее перестроенного «ОГОНЬКА».

«...порой парадоксально выявляется талант молодого ищущего автора. Пример: большая картина Филатова, хотя она и напоминает образцы живописи «новых диких», все-таки здесь видны талант, творческая интенсивность. Согласитесь, жалко было бы высчеркивать творческие потенции такого рода художника из нашего круга зрения» (Согласимся?), — с полной ответственностью констатирует искусствовед А. Морозов со страниц вполне серьезного журнала...

«...весьма спорные работы Филатова, Шутова (его пресловутый «Барсучонок больше не ленился»), Н. Овчинникова... Вещи крайне наивные по рисунку и вместе с тем провоцирующие по своему темпераменту, по эмоциональному всплеску, который они рождают у зрителя...»

И, конечно же, «укрепленная под потолком выставочного зала конструкция Г. Виноградова («БИКАПО») — звуковой и эмоциональный центр экспозиции».

26 февраля, четверг.

А вчера на Каширке — пресс-экскурсия по очередной выставке. Мы с Инкой туда пошли. Был Ленчик со своей новой подружкой Дуней Смирновой, очень смешная девочка, чума. Ленчик вернулся из очередной командировки, похорошевший.

Замерев напротив очередного эпохального шедевра кисти Филатова, мы с Инчиком грустно признали правоту нашей проницательной Катьки, которая некогда изрекла: «Коля — сам произведение искусства, и если бы он еще и рисовал хорошо, это был бы нонсенс...»

24 марта, вторник.

Мы с Катькой встретились на факультете, ходили по всем коридорам, ели во всех столовых (хотя она у нас там всего одна, но какая...) и не наелись и пошли в Консу*. Ностальгичность нашей прогулки по родному городу вылилась в тоску по любви. Впрочем, припомнив, что любим нами единственный, мы решили пойти в гости к Гоше (т.е. к НЕМУ). Навязчивая идея с весной превратилась в манию.

Катя, воркуя, в трубку:

— Го-о-ша, прив-е-ет... Помнишь, мы пластикой занимались?..

Я (про себя): пятый «Б»...

— Мы со Светкой стоим на Белорусской, замерзли... совсем...

Я (про себя): не так уж тут, в Консе, и холодно!

— Какой но-о-омер квартиры?..

Гоша болел, одинок и талантлив. Кончились сигареты. А Коли и след простыл. В его бывшей комнате висят не его картины и кровать свернута. Нету Коли...

Но в большом количестве есть Гошины поролоновые куклы в разобранном состоянии + куча всяческого полиэтилена и пластмассы для будущих или уже существующих коллажей.

— Он у Зайделя ремонт делает, — внезапно говорит Гоша. — Каждое утро Коля очень тщательно выбирает, что бы ему надеть... Надевает костюм, берет дрель — и к Зайделю. Ремонт делать. Приходит домой ночевать, таинственный и веселый.

Колю мы так и не дождались. И пошли домой, невеселые и нетаинственные. А Гоша — учить французский.

А в ночи мы со Шварциками долго и упорно курили по телефону... И я вспомнила, как год назад, в начале лета, оказалась в Коктебеле и в первый же день зашла к тете Ляле, на улицу Жуковского. Дом пустой, никто там еще не живет, во всех нижних комнатах («...птички пищат да охарики бегают»). И кошка Марципан (Мурка). А «доброкачественный секс» Ляля забелила. «Да тут все приезжают, смотрят да смеются, вон Сашкин брат приехал, так ходил все ухмылялся, а потом милиция с обходом пришла, кто, говорят, написал? Да я, что ль, прямо? Я вообще не знаю, что это такое, вот и забелила. Ты мне скажи хоть, что это такое, секс-то?» Мы пили брагу Лялиного изготовления. «Ну, значит, так, килограммов десять песку, полкило дрожжей и в бидон, как у меня, так литров на 20», — объясняла Ляля свой рецепт. Шел солнечный дождь, мы сидели на кухне, курили «Приму», пили кисловатый напиток. «Ну, еще по стаканчику», и Ляля исчезала в недрах кухни, вынося пол-литровую банку с брагой. А как будто и года не было, такой родной наш дом, весь увитый цветущим плющом и множеством кривых, неровных каменных лестниц без перил. Бесчисленное количество комнат с жильцами, которые оказывались давно или недавно знакомыми и постоянно ходили друг к другу в гости, путаясь в бесконечных ступеньках и цветах. А на заднем дворе дома жил белый индюк, священный белый индюк, хранитель очага. У него было большое зеркало, в которое он кокетливо смотрелся, при этом как-то довольно урча, и все его оберегали и никогда не обижали. Иногда по ночам, когда мы со Шварцами курили на лавочке и смотрели на огромные звезды, он тихо прогуливался по закоулкам зеленого двора, как бы проверяя свои владения. А однажды утром я увидела под кустом перо белого индюка и спрятала его где-то на дне сумки, и в Новый год подарила Шварцику...

Как же этот фильм Антониони называется, и роман Набокова, и курю я почему-то «Беломор».

1 апреля, среда.

Сегодня был вечерок на Автозаводской (временное пристанище Клуба авангардистов). Там бал правил Дмитрий Саныч Пригов. Овчинниковские эпохаки — «Что делать?» и «Кто виноват?»; Свен борется с рекламной продукцией фирмы «Ямамото» — японочки забрызганы ленинградской акварелью. После апокалиптических признаний Пригова (Анна Андреевна Ахматова — «Мне голос был. Он звал утешно...», Александр Сергеевич Пушкин — «Мой дядя самых честных правил...», Дмитрий Александрович Пригов — «В полдневный зной в долине Дагестана...») заведенная публика приветствовала Театр — Театр Бори Юхананова, наполовину московский, наполовину питерский: Женья и Анжей, «Космические войны» «Оберманекенов»; спектакль назывался «Игра в ХО» — крестики-нолики? Ну что нолики, это точно: торжественно под ноль на сцене обрили человека Борю Матросова. Впечатляет. Гоша танцевал в обнимку со своими огромными поролоновыми куклами. Картинки Гоши и Литичевского удачно вписывались в действо на сцене.

Инчик чего-то развздыхался, живут же, говорит, люди, творят!

А Катька наклоняется ко мне и, кивая головой в сторону сцены, на которой вовсю идет действие, загадочно произносит: «Светик, посмотри-и... правее... это Коля или нет?» Смотрю... Правее... Рядом со сценой, в дверном проеме, опоздавшие зрители и ОН среди них. Прямо «...вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку...».

* Конса — Московская государственная консерватория (разг.).

— Да Коля это, Коля,— разрешает Катькины сомнения Инчик.— Та-ак! Как все заканчивается, подходим и признаемся v Lubvi.

— Прямо так вот, сразу,— удивляется Катька.— Я боюсь...

— Катькин, так уже нечестно,— возмущаюсь я.

— Ну, конечно,— так всегда — вы все «играте в Колю», а я, может быть, по-настоящему,— улыбается Катька со свойственной ей загадочностью...

Мы с Инчиком еще раз взглянули на Колю, призадумались о Катькином «высоком чувстве» и получили клетчатую записку с признанием в любви, на этот раз от Дуни.

По окончании действия курум на улице очередную последнюю сигарету. В который раз «привет!», и мимо проносятся Зайдель под ручку с красивой девушкой, Дуня с художниками, Оберманекены, роскошные юноши в длинных и черных пальто. А мы стоим — три «подарочных издания» (по авангардизму), цедим сквозь сигаретный дым что-то в ответ в надежде увидеть объект признания. И сами не признаемся себе в том, что объекту-то нет до нас равным счетом никакого дела. И дабы утешить уязвленное отсутствием внимания тщеславие, первичной организацией Всесоюзного общества ФИЛАТелисток было принято решение: любить имидж на расстоянии (увь! это единственный возможный вариант). Да и признания-то нужны в первую очередь нам самим! И пошли мы, такие три «непризнанные», Катька — к «мужу», Инка — к мужу, я — домой...

5 мая, вторник.

А сейчас жара! Ура! Я живу на балконе. А еще у меня на завтра на 11.30 назначена аудиенция с Ю. Королевым, главным директором Третьяковки,— пишу для «Л. Пр-ти» к Дню музея.

А в субботу была тусовка в Манеже, там «Молодость страны», и должен был быть, как сказал Инчик, хепенинг. И он был!

А Литичевский налетел на меня с поцелуями и сказал:

— Ах! Злобина-Кутявина! Вот сидишь холодными, долгими вечерами и вспоминаешь... Я думал, это мой последний выход в свет, но тебя увидел...

— Да, Жора, я продлила тебе тусовку до конца жизни.

Жора смутился и пошел курить.

Мы прошли с Инкой до Кропоткинской и разъехались по домам. Но жара настала так внезапно, что даже листья не успели распуститься. И уже хочется к морю. Гурзуф. Коктебель. Персики, груши, портвейн... Beatles — самый лучший портвейн на свете.

27 января, вторник.

«С тех пор прошла неделя, и ей уж надоели и Джимми, и миндаль...» И вот она действительно прошла, но если вернуться на 10 строк выше и на 10 дней назад, то мы все-таки пошли на выставку. Малевич, Родченко, Маяковский, Шагал и т. д. Настоящий первый авангард. И удивительно — потрескавшиеся полотна... И, как всегда, тоскуя о любви к «произведению искусства», мы с Катькой томно вздохнули и решили пойти в гости к Коле. Навязчивая идея, со временем превратившаяся в манию, теперь стала просто доброй традицией. Звоним в «Эрмитаж» — там глухо, еще раз вздохнув, звоним Зайделечку, который нас к себе в гостечки зовет, чаек попить. Ну мы, делать нечего, идем, вернее, едем на метро до Беляева, и, конечно же, по пути заходим в «Эрмитаж», и, естественно, дверь нам открывает Коля!!!!!!!, собравшийся уже оттуда сваливать. Но, увидев нас и обрадовавшись нежданно (это нам так показалось), мы спускаемся вниз в мастерскую, которая вскоре станет каким-нибудь складом или еще чем-нибудь нетворческим. Мы слушаем какую-то «африканскую» музыку, сидя на полу в окружении огромного количества мятых цветных тканей, а Коля что-то вещает за искусство. Мы с ним символично-ностальгично станцевали рок-ролл, и все вместе поехали к Зайделю, вскочив в уже уходящий автобус. «Те-еплый стан-ни» — загадочное название, — не менее загадочно произносит Коля. А Зайделечек в фартучке с цветочками, такой домашний. Решительно порвав с незаконченным архитектурным образованием, он решил стать модным художником, и одна из двух комнат тут же превратилась в мастерскую. Коля-«учитель», как называл его Зайдель, нахваливал творения «своего ученика». Мы сидим на кухне с красно-белыми клетчатыми заштопанными занавесочками и курум три «Казбека» на «четверых. Булькает чайник, и жарится колбаса. Зайделечек с Колей мечтают об авангардной ком-

муне в деревне, где луга, коровы, доярки, стога сена, и хотят быть трактористами, и лежать на печке. А Катька сонная, а я веселая. Уж полночь близится, и нету сигарет. А мы на улице, и позади окно на пятом этаже с красными уютными занавесками. Мы с Катькой едем в метро и рассматриваем фотографию Зайделя, которую он торжественно мне вручил, после того как я его подписала* быть манекеном у нас в редакции.

29 января, пятница.

Вчера у нас в редакции был вечер-праздник авангардной моды. Гошик и Жорик пришли с утра, развесили в зале свои простынные плакатища, у Литичевского новое «Я твое солнце, ты мое солнце». А Гоша — 6х6 м «Малевич. Острцов. Гагарин». А к вечеру подошли Лена Худякова, Катя Микульская, Катя Филиппова, Иренчик Бурмистрова и Сергей Чернов из Ленинграда приехал. Во всех комнатах переодеваются, красятся, шум, гам, суета.

24 апреля, воскресенье.

И опять воскресенье, снова вечер. А в прошлое (воскресенье) я поехала в гости к Верке, был вкусный торт с орехами и клубникой, пиво, вино и музыка. Немного грустно и скучно. Солнце, весна. Верка — красивая. А ближе к вечеру я поехала к Инчику в театр, она теперь там «живет». В неизвестной квартире № 4 были Юхананов, БИКАПО в рыжем парике, ОБЕРМАНЕКЕНЫ и иностранцы, с трудом говорящие по-русски и по-английски, какая-то девушка спала в шкафу под мирное стукание печатной машинки. БИКАПО, невзирая на телефоны, чай и актеров, играл на гитаре, глядя на потолок и на свою жизнь в искусстве. Инчик придумывал костюм актрисе к спектаклю юханановскому, на который он меня, после того как сама напросилась, пригласил. А мы пошли в комнату к БИКАПО, играть!

Потрясающая комната, которая живет своей жизнью, и музыка в ней. Железки звенят, нет, они не звенят, они дышат сами по себе, когда ты уже про них забыл — вдруг перезвон, шелест и — набат. Там можно сидеть и слушать чуть тронутую звуком тишину, пока совсем не остановится время.

10 августа, среда.

Лето, Москва. Тепло и грустно... Впрочем, не так уж и тепло, особенно в последние дни. А вообще в этом городе происходит масса невероятностей. В прошлую среду иду я после работы, печальная такая, «душа», как водится, «влечется в примитив». Выхожу на «Красных воротах», хочу в кино на «Красную пустыню» во «Встречу», но сеанс через два часа... Дай-ка, думаю, я на Фурманский загляну. Постучала в дверочку, и она открылась!!! А там Коля!!!, который мне: «Поехали на прием?!» Какой прием, чего прием — я толком не поняла. Перебегаем Садовое кольцо, я прощаюсь с афишей «Красной пустыни» и, выскользнув из-под колес грузовика, попадаю в объятия Коли... Ловим тачку, едем, по пути Коля рассказывает, как жил в Новом Свете, десять дней, в полном одиночестве, в какой-то немисливо заповедной зоне, куда его егеря пустил, звезды, деревья, море, цветы... Вылезает у метро — ждем Жорочку Литичевского и Ройтера. А их все нет и нет. Мы уже совсем обиделись и совсем замерзли — даже объятия Коли, после того как мы опять чуть не угодили под «КамАЗ», не согрели меня (душа горела синим пламенем). Влезаем в автобус — тут и Жора подбегает, на меня не смотрит и все Колю выговаривает, что как же без него... Поднимаемся на 11-й этаж дипломатического дома с кучей folksvagen(ов) и mercedes(ов) у подъезда. «О! Моя маленькая оранжевая мечта! Мой маленький оранжевый folksvagen!», — подумала я, но тут открылась дверь. Лицо КГБешней домработницы не дрогнуло. Очаровательная молодая женщина и сам хозяин — «покровители изящных искусств», как их называл Коля. Под изящным искусством он, видимо, подразумевал свои полотна, которые висели в квартире в количестве трех штук (+ одна картина Ройтера) и заполняли собой все пространство абсолютно белых комнат. Домработница аккуратно открывала дверь, впуская новых гостей. Постепенно белые комнаты заполнились цветными шелковыми юбками и черными строгими костюмами. Белая полка у зеркала раскрасилась разноцветными кожаными сумками и яркими пакетами.

— Андрей Ройтер, Ольга Ройтер, — представлял хозяин гостей.

* уговорила.

— Николай Филатов, Светлана м-м-м...

Тонкие бокалы наполнялись шампанским. Жора говорил на трех языках одновременно и наконец-то обратил на меня внимание. «Ах! Злобина-Кутявина», — молвил он и вспомнил про написанный им, но так и не напечатанный нашей редакцией материал про Гошины украшения. — Ах! Злобина-Кутявина! Как жалко, ведь с душой же так написано, ладно, теперь одна надежда на тебя». И пошел за второй порцией ужины. КГБешная домработница нещедрой рукой накладывала в большие белые тарелки маленькие порции салата, грибов и всяких прочих вкусностей. «Вы знаете, ожидается еще восемь человек гостей», — сообщила она Жоре, наложив ему риса с луком-пореем. «Лук-порей. А что это?» — сказал Жора и принялся за еду. Ожидаемыми восемью людьми были, наверное, Ленья Бажанов с каким-то приятелем и двумя девушками, которые все время хохотали, попивая джин. А Коля предложил выпить за платоническую любовь и дружбу между мужчиной и женщиной. Сказал и сам задумался! А я не задумываясь пригласила Жору на «белый танец». И после белого грузинского вина и разбитого на балконе пустого бокала под мой замечательный, без акцента, как сказали немцы, немецкий «Jag, Jag, Folcksvagen*» — мы решили ехать в гости, естественно, на Folcksvagen(e). И не очень трезвый Алекс с не менее трезвой Биргит под громкую музыку в машине привезли нас с Колей и Жорой к себе. «У нас две сибирские кошки и сынок», — сказала Биргит. А мы, усевшись на ковре, попили jip + тоник, Коля и Жора упорно меня рисовали, но у них ничего не получалось. Два «портрета» я сожгла, один — Колин! — оставила себе на долгуу ramjat. И вот, развалившись на заднем сиденье такси, Жора все загадочнее вздыхает: «Ах! Злобина-Кутявина!..» — и Коля целует мне руку. У Коли в мастерской Жора, оказавшись в горизонтальном положении, сразу заснул, а Коля мне что-то вещал про неплатоническую любовь... Я уверяла его в том, что он лишь имидж. Но Коля, утыкаясь головой в плед: «Я не хочу быть имиджем, не хочу...» И я про себя: «Хочешь не хочешь, а есть...»

И... гордая и непокорная, как море, к которому меня, впрочем, влекло больше, чем к Коле, я отбыла в ночь.

25 августа, четверг.

Жара жуткая, хожу на работу в шортах и хочу на море... Но море лишь в заставках о погоде программы «Время» да в песнях Жанны Агузаровой, которая, сама не ведая того, призывает солдат из программы «Служу Советскому Союзу» «Быть всегда с нею рядом». Программа «Взгляд» буквально взрывается новыми видеоклипами Б. Г. «Полковник Васин» идет сразу по московской и ленинградской программам, Цой пляшет в ленинградских подворотнях. «Видели ночь, гуляла всю ночь до утра», а «Среднерусская возвышенность» исполняет свою «Четвертый сон Веры Павловны» под сводами мужского отделения «Сандунов» во главе со Свеном, завернутым в простыню, и сопровождает документальный фильм «Лимита» по сценарию Ю. Щекочихина. Дуня Смирнова вещает по радио и по телевидению, как «молодой критик» при объединении С. А. Соловьева «Круг», Гошу Острецова, расписывающего свои огромные полотна, последний раз тоже видела в телемосте «СССР — Австрия», Катя Микульская взирает на мир в своих моделях со страниц журнала «Штерн», и Гоша там же. Театр авангардной моды «Ирэн» имеет огромную рекламу в западной прессе и присылает к нам своего директора исключительно с меркантильными соображениями; Артем Троицкий, издав свою книгу «Rock in the USSR» сначала в Англии, теперь печатается частями в рижском журнале «Родник», на аукционе «Сотбис» под всемирные аплодисменты уплыла за рубеж «Линия» Александра Родченко. «Выплыл» и Коля Филатов, получив всемирную же известность. Так что все продается, покупается (особенно за валюту), снимается, показывается — растворяется в perestrojke and glastnosti. Хорошо, плохо ли (далеко ли, близко ли?). Не знаю, наверное, все так, как и должно быть, — просто немного грустно... а может, и не так уж грустно, но tolko tebjа, Kolja, ja bolshe ne lublu...

Москва — Коктебель — Москва
1986—1988 гг.

* «Да, да, «Жигули».

Правозащита

20
КОМНАТА

Злобина
Михаил
Казачков



Михаил Казачков провел в заключении 14 лет. Он находится сейчас в Чистопольской тюрьме...

Вся вина Михаила Казачкова состояла в том, что у него возникло желание выехать за рубеж. Он дважды встречался с американским вице-консулом из Ленинградского консульства США, просил оказать содействие в выезде из страны. В 1975 году подал документы в ОВИР. И через неделю был арестован.

Следствие возбудили по 64-й статье — «Измена Родине». Работа в Физико-техническом институте, встречи с американским вице-консулом — неплохая канва для фабрикации дела о шпионаже в духе недоброй памяти тех лет. И следствие полностью проигнорировало тот факт, что отдел, в котором работал Михаил, не был секретным. К секретным материалам по работе Казачков доступа не имел.

Но 64-я статья предусматривает высшую меру. Это дало возможность следствию вытягивать из подследственного ложные самообвинения под угрозой смертной казни. 64-я статья предусматривает также конфискацию имущества. Это дало возможность изъять уникальную коллекцию картин Казачковых.

Итак, суд обвинил Казачкова в «измене Родине» и «контрбанде»: попытке выдать секретную информацию и вывезти за рубеж картины из семейной коллекции. Суд был закрыт, родственников в зал суда не пустили. На суде Казачков отказался от показаний, к которым следствие его вынудило незаконным путем. Отказался от показаний, данных под давлением предварительного следствия, и единственный свидетель, бывший сослуживец Казачкова, — Ганин.

Однако приговор прозвучал: пятнадцать лет строгого режима с конфискацией имущества.

Оказавшись в лагере, Михаил Казачков столкнулся с грубым произволом и беззаконием администрации и активно включился в борьбу находившихся в лагерях правозащитников за честь и достоинство политзаключенного. Его трижды приговаривали к тюремному режиму. Из 14 проведенных в заключении лет Казачков только три с небольшим года находился в зонах строгого режима, и то, как правило, в штрафном изоляторе или помещении камерного типа. Остальное время местом его пребывания была Чистопольская тюрьма.

Во взаимоотношениях с администрацией основным камнем преткновения у Михаила была переписка с матерью. Он писал длинные письма, администрация без основания их конфисковывала. В знак протеста Михаил нередко объявлял голодовки. Один раз он держал голодовку подряд 9 месяцев, другой раз — 6 месяцев.

Желая отомстить Казачкову за непокорное поведение, администрация в ноябре 1980 года сфабриковала против него дело по ст. 206 УК РСФСР, и к неотбытому сроку ему добавили еще три года с половиной.

В феврале 1989 года Михаил Казачков организовал в зоне группу «Хельсинки — Вена-89». Несколько заключенных начали неравную борьбу с администрацией, в частности за условия содержания их в соответствии с международными требованиями статуса политзаключенного, предусмотренными Венской договоренностью.

С февраля по август Казачков находился в штрафном изоляторе и помещении камерного типа. 25 августа был отправлен в Чистопольскую тюрьму, где находится по сей день.

8 апреля 1989 года Дора Аркадьевна Казачкова составила обращение к общественности, в котором, в частности, писала:

«...В чем же виновен мой сын М. П. Казачков?

По мнению суда, вина моего сына доказана следующим:

1) Признанием Казачкова, что, намереваясь выехать из СССР на постоянное жительство за границу, он «вступил в преступные отношения с вице-консулом в Ленинграде, сообщил ему о своем желании выехать из СССР».

Это обстоятельство — единственное, что бесспорно установлено судом. Совершенно очевидно, что данный факт ни одним судом ни одной цивилизованной страны не может рассматриваться в качестве преступления.

2) По мнению суда, Казачков при очередной встрече с дипломатом «сообщил ему сведения секретного характера, составляющие военную тайну, которые могли быть использованы в ущерб интересам СССР».

Указанный вывод суда носит характер голой декларации. Американский дипломат ни следствием, ни судом не допрашивался, никаких свидетелей или документов, характеризующих беседу Казачкова и дипломата, в деле нет. Какие именно сведения, какие тайны, какой ущерб *мог быть* причинен — об этом приговор молчит. Единственное доказательство данного обвинения заключается, по мнению суда, в том, что «подсудимый не отрицал этих обстоятельств». Это утверждение суда является ложным и разоблачено многочисленными заявлениями Казачкова, с которыми он обращался в различные инстанции.

3) Суд сделал вывод о том, что Казачков якобы склонял своего знакомого Ганина к передаче сведений иностранному разведчику — вице-консулу США. Казачков это обстоятельство категорически отрицает. Таким образом, любой здравомыслящий человек может убедиться, что приговор Казачкову за измену Родине вынесен на основании предположения, а не достоверных доказательств, вынесен не на основании закона, а вопреки ему.

В этой связи любопытно отметить, что в 1986 году Ленинградское УКГБ предлагало Казачкову немедленное освобождение в обмен на публичное признание всех этих сомнительных обвинений.

Тринадцать с лишним лет мой сын в заключении. Все эти годы я жду вестей от него, живу надеждами на встречу. И ничего, кроме равнодушных или издевательских отписок, не получила в ответ.

Я далека от большой политики. Я просто мать, а Миша — мой единственный сын, больше у меня никого нет. И именно поэтому я обращаюсь ко всем людям, которые могут откликнуться на боль материнского сердца. Прошу вас, ПОМОГИТЕ!»

Из письма матери

сентябрь. 1989 г.

...Я только что минут 30 ходил по камере и слушал, как Ефремов читает последнюю главу «Мастера и Маргариты»: мизансцена очень знакома по прежним годам в Чистополье. В этой главе, как ты помнишь, речь идет о ПОКОЕ. Удивительно, но я предчувствую, что не скоро буду так ПОКОЕН, как здесь и сейчас... Булгаков награждал своих героев ПОКОЕМ после того, как свою земную жизнь они изжили до конца. Может быть, и мой покой в Чистопольской тюрьме объясняется схоже: здесь все изжито сполна, мое пребывание тут сейчас абсурдно: для работников тюрьмы, может быть, больше, чем для меня, который все же ценит паузу перед рождением в мир — и в свободный мир; и свободным в мир несвободы; во всяком случае, никто тут не скрывает ни радости видеть меня, ни того, что считает это нелепым и вызывающим противоречием наставшим временам.

Феномен доброжелательного отношения в данном случае весьма интересен и умоизрядителен. В самом деле, почему? Вот ведь и у Битова в «Пушкинском доме» дед пьянствует в выданной после реабилитации квартире с бывшим начальником его зоны. Между тем ничего странного, если вдуматься, тут нет. В основе — общественная природа человека: если ты общался с людьми долгие годы, то они волевым образом становятся частью твоего прошлого, т. е. и тебя самого. Затем действует формула Пушкина: «...что пройдет, то будет мило». Конечно, «никто не забыт, и ничто не

забыто», но... Но если у меня хватало духа быть свободным от ненависти тогда, в самый момент совершения зла, так откуда же быть недоброжелательности сейчас? Это прекрасно чувствуют люди и чаще всего ценят тем выше, чем больше зла в свое время было ими совершено. Тезис о людской неблагодарности вообще весьма сомнителен. Для тех, кто калькирует, кто рассчитывает на эту самую благодарность, тезис обычно верен. Но если то, как человек поступает, не есть результат расчета, а просто самовыражение его, и если он искренне и органично следует заповеди «прости им, ибо не ведают, что творят», то благодарность будет всегда. Все очень просто: нужно противостоять злу, но не отвечать на него злом, не быть злым самому, в том числе и на того, кто оказался его орудием. Тогда цепь зла прерывается на тебе, и именно за это люди окажутся тебе благодарны. Зла не любит никто, а уважать того, кто сумел то, что не сумели они — прервать цепь зла, — люди просто обречены. Конечно, если это не поза, а сущность: уважать позу вообще невозможно...

7.09 меня посетил «с обходом» прокурор, хорошо знакомый по прошлому...

Проблему пониженной нормы питания я перед ним ставить не стал... Меня уже давно интересовало, почему введенные приказом МВД голодные нормы питания отменять пришлось Указом ПВС РСФСР. Боюсь, что верным оказалось подозрение, что МВД упирается и не желает «гуманизироваться». Оказалось, что в приказе, изданном на базе Указа год с лишним назад, в тюрьме питание нормализовали только в КАРЦЕРАХ, а первый месяц на строгом тюремном — по-прежнему 1350 ккал в сутки!..

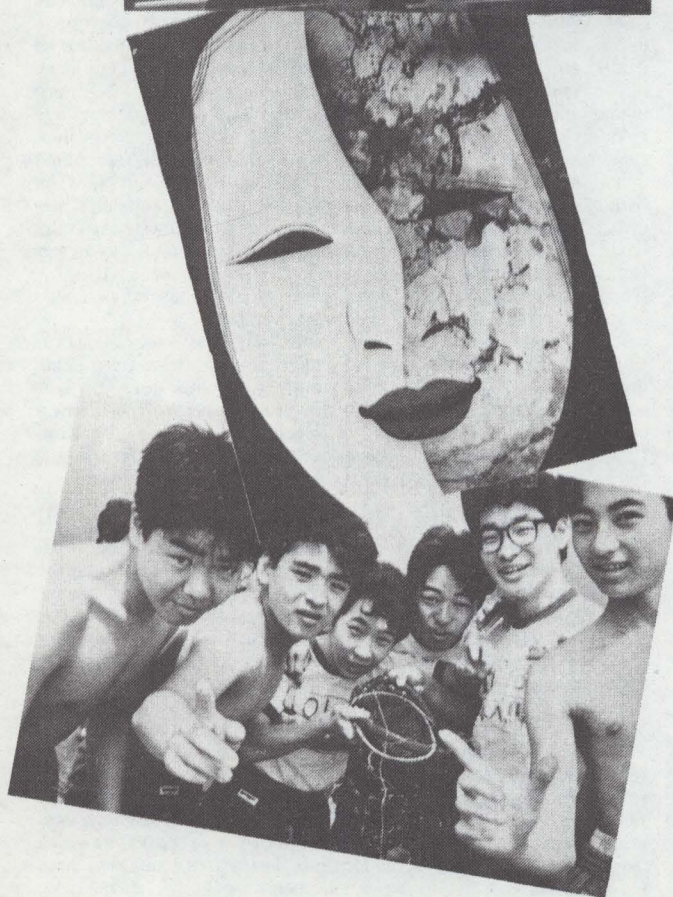
...Да, остается только жалеть, что я оказался в заключении с практически никчемным тут образованием физика. Гуманитарий — скажем, психолог — мог бы сделать здесь и немало профессионально значимых наблюдений. Работники в любой области меняются под влиянием своей ежедневной, привычной деятельности — ожидать от тюремщика гуманизма и сострадания не больше оснований, чем от скотобойца любви к животным: такие там просто не задерживаются. Особенно резко эта специфика видна на стыках нашего островка с морем остального ГУЛАГа. Тебя вот пугали описанием моей сухой голодовки в Мордовии (болтуны безответственные!), но на меня-то во всем этом эпизоде самое сильное впечатление произвел врач-майор, которого вызвали на первую попытку принудительного кормления из основной «бытовой» зоны. Я умею мешать вводу зонда даже при открытом, как у галчонка, рте (высший пилотаж!), это и сохранило мне зубы, кроме одного (после него и освоил эту технику). Но этот эскулап выбил бы мне все передние резцы, даже не обратив внимания на то, что в том ни малейшей функциональной нужды не было бы — с таким ражем он было на меня бросился. По счастью, знающие меня местные начальники так редко слышали от меня настоящий «рык», что тут немедленно подчинились и сей вивисектор тут же навсегда исчез с моего горизонта. А это ведь ВРАЧ... Представляешь степень возможного озверения служащего рядом с ним начальника режима, например?..

...Все чаще тоненькая книжечка «Нового завета» заставляет меня откладывать в сторону толстые журналы и даже монографии. Умные там вещи написаны, слов нет, «но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и (1-е Кор. 1.27). А ведь так и случилось, если оглянуться на две тысячи лет назад! Кем были первые христиане, да и христианство их было каким — а вот ведь зерно это дало глобод закономерным образом «всемирно-исторический» плод. Не уместно ли такое предвидение и впрямь считать божественным? Да и есть ли иной способ так далеко провидеть, кроме простейше-близорукоего, НРАВСТВЕННОГО императива Любви? Любовь ведь всегда к человеку (или к Богу в его образе — это одно, по сути дела), и так точно и ясно, с современной истинно Божественной последовательностью христианство воплощает Бога в человеке; но не навсегда, чтобы не заземлить, а лишь на одну подлинную жизнь Христа, чтобы ПОРОДНИТЬ.

...Знаешь, Истина — вроде кургана в степи: к ней бесчисленное множество путей. Только естественно, что не получившие вовремя НАЧАЛЬНОГО религиозного просвещения люди вроде нас с тобой (тебя еще и на атеизм наускивали в «мягком» возрасте!) так непросто и непрямо, каждый своей дорогой идут к этой Истине. Но что же делать, если вот Она: торчит прямо перед глазами на равнине! Но далеко еще...

Юрий ЯКИМАЙНЕН

ОСТРОВА ВОСХОДЯЩЕГО ПИВА



Джонни

Он аристократ. Его родословная уходит в глубину веков. Его предки участвовали в крестовых походах, служили у короля Артура, служили Прекрасным Дамам, искали Священный Грааль.

Он встречался с Джорджем Бушем пять раз, еще до того, как тот стал президентом, с Рональдом Рейганом один, когда тот уже был президентом. Было время, когда с Улофом Пальме они были влюблены в одну женщину. Пабло Пикассо в 1952 году написал его портрет. Он лично знает секретарей ООН, министров многих стран мира — тех, что работают, и тех, кто уже в отставке; писателей и кинорежиссеров. Он снимался в кино. Марсель Марсо — его друг.

Джонни Квинтус, когда ему было восемнадцать, танцевал в балете, а в девятнадцать работал в цирке в Буэнос-Айресе манежным клоуном.

Если Джонни смеется, то во весь рот; если говорит, то обязательно громко.

Он отбил женщину (немку), которая стала его женой, у барона Мюнхаузена. Не у самого, конечно (известного фантазера, который жил двести лет назад и был описан Эмилем Распе), а у родственника барона, прямого наследника рода.

Я познакомился с ним в Москве, в аэропорту Шереметьево, между контролем и регистрацией. В распахнутом плаще, лысоватый, толстоносы, он расхаживал свободно, он смотрел вольно, он курил и сбрасывал пепел на пол. Он, кажется, тоже был рад, что вырвался, что улетает. У него, как у меня, был билет на другое число, позднее; мы, как там выражались, «шли на досадку».

— Ну, — спросил он меня, — как ты себя чувствуешь, молодой человек?

— Неважно я себя чувствую, — ответил ему, — боюсь, не знаю почему, что меня завернут. Может, комплекс границы, железный занавес влияет? Я с семи лет мечтал о дальних странах. Сейчас мне тридцать пять. Можете себе представить, как я устал. Это моя первая поездка за границу вообще.

— А к кому?

— К жене.

— Она японка?

— Японка.

— Где научился по-английски?

— Мы с женой говорим по-английски. Это наш язык межнационального общения.

— Меня зовут Джонни, — сказал он. — Чем занимаешься?

— Пишу рассказы.

— Я тоже, — сказал он...

Мы подошли к двум бдительным пограничникам, что сидели в будке, как два зеленых попугая. Спросили, куда лечу и зачем, будто они что-то решают.

— В командировку летите?

— В командировку.

— Но здесь написано, что к жене.

— Значит, к жене...

Они отодвинули засов, мы прошли за калитку и оказались как бы на свободной территории — впечатление создавалось из-за близости дьюти-фри-шопа, магазина, напичканного всевозможными товарами. А если много товаров, помнится, подумалось мне, если изобилие, то это, значит, уже не Советский Союз, не развитой социализм.

Мы пропили с Джонни последние рубли в баре.

— Твое здоровье, янг мен! Скоро ты увидишь другой мир, другую планету. Восемь часов полета — и ты в тридцатом царстве. Япония — фантастическая страна. Тебе повезло, молодой человек! Я уверен, что ты растеряешься, когда увидишь все своими глазами...

Здесь девушки в мини-юбках дарят вам пиво — попробуйте! Новый сорт!

Здесь девушки в мини-юбках предлагают вам сигарету бесплатно — закурите! Новый сорт! И поднесут огонек.

Здесь, если ведешь ладонью по небритой щеке, то это звук «джори-джори», а если мочалкой по спине, то «гоши-гоши».

Воробы здесь кричат «чун-чун». Кошки мяукают «няу-няу». Собаки лают «уан-уан», а маленькая собачка, укушенная большой, кричит «кян-кян-кян»...

Здесь в любом магазине для животных консервы, а в районе Роппонги, например, рядом с посольством СССР, в спецмагазине для них же (для собак и кошек, разумеется, а не для чиновников советского МИДа) можно купить одежду (жилетки, платья) и даже игрушки. И двери настежь, и никаких пропусков!

Вороны кричат здесь: «ка-а! ка-а!».

Здесь младенца зовут «акатян», «ака» — красный, а «тян» — уменьшительно-ласкательный суффикс. И если в России, скажем, детей находят в капусте, то акатянов, как правило, под мостом.

Здесь на улицах прохожим дарят косметику: кремы, лосьоны. Новый вид рекламы!

Здесь без конца и налево-направо раздают мягкие салфетки. На упаковке тоже реклама.

Когда здесь выходишь из дома, тебе нежно поют: «Итераща-а-ай». И ты в такт подпеваешь: «Итекима-а-ас». «Тадаима» — здравствуйте, вот и я. «Окаерина-сай» — добро пожаловать, что вернулся (так переводится). «Оясуминаса-а-ай» — прощаются перед сном. Школьницы в метро щебечут-щебечут и вдруг доехали, и нужно расставаться. «Бай-ба-ай», — поют друг дружке, и это уже по-английски, но уже и как бы японское слово.

Здесь люди взяли все лучшее и все, что показалось нужным, из Америки и Европы и сохранили свое.

Здесь женщины женственны и даже у пожилых стройные молодые фигурки.

Здесь мужчины корректны, вежливы и скромны.

Здесь чисто до невозможности: заборы, крыши, дома, тротуары, дороги — все несет на себе отпечаток участия и заботы.

Здесь даже птица в клетке, какая-то помесь скворца и вороны, свернув голову набок и раскрыв желтый клюв, говорит по-японски: «Охае гозаимас!» — «Доброе утро».

Здесь малые дети разбираются в иероглифах: девочка лет восьми, от горшка два вершка, в соломенной форменной шляпке, ранец за спиной, но в одной руке план метро, а другой водит пальчиком по линиям, буквам — соображает, куда ехать, где пересечь...

А сиденья в метро бархатные. Бордового цвета — для всех, а серебристо-серые — для «серебристого возраста».

Здесь глубокой ночью можно спокойно, невооруженным, выйти из дома, не опасаясь хулиганов. Можно пойти в видеосалон и взять напрокат любую кассету или зайти в магазин «Севен-Элевен». В таком магазине можно проявить фотопленку, заплатить за газ, купить билеты в кино, попросить разогреть любое блюдо — и через минуту-две оно будет готово, можно почитать журнал или комикс.

Здесь популярно легкое чтиво в картинках.

Здесь комиксы на любой вкус: от сусальных мечтаний и романтических представлений до тяжелого порно...

Когда вы входите в кафе, в магазин, вы слышите здесь: «Ирашшай масэ!» А выходя: «Домо аригато», «Аригато гозаимашита!»

Здесь в любом продуктовом или книжном магазине стоит копировальный автомат.

Здесь автоматы продают билеты и меняют банкноты.

Здесь автоматы не только меняют, но и выдают деньги, достаточно набрать нужный код.

Из телефонного автомата на улице можно позвонить в любую другую страну земного шара. Рядом телефонная книга в несколько килограммов. Никто ее не ворует.

Автоматы продают кока-колу, фанту, разные соки, кофе и чай (холодный или горячий, смотря на какую кнопку нажмешь).

Здесь автоматы продают пиво...

Я лично предпочитал японские сорта: «Асахи» (восходящее солнце), «Асахи драй», «Асахи иист» (дрожжевое), «Саппоро драй», «Саппоро кулер», «Саппоро блэк», «Лагер», «Кири кулер», «Мольтс».

«Саппоро кул драй» — последний крик. Я выпил ящик, и мне даже подарили три металлических ведра с рекламой этого пива.

На улицах, очень редко, мне попадались люди в кимоно. Преимущественно пожилые и во время праздников, например, Золотой Недели, которая приходится на конец апреля — начало мая: 5 мая — День Детей, 3 мая — День Конституции, 29 апреля — День рождения императора Хирохито (после его смерти парламент решил не трогать сложившуюся традицию отмечать этот день. 64 года правления — ни один император за всю историю Японии не находился у власти так долго)... Сам я тоже рядился не раз — во время свадебной церемонии, или дома, распаренный, после принятия ванны (и, разумеется, неизменное пиво), расхаживал в этой очень удобной и свободной одежде, или во время путешествия в типичной гостинице рекане, где раздвижные стены, скрипящие половицы, низкая мебель, где тебя всегда ждет чистое проглаженное свежее кимоно... Я не видел гейш, сада камней, я не видел чайной церемонии. Я думаю, что для жителей современной Японии последняя все равно что для русских катание на тройках. Икебаной, искусством составлять букеты, тоже никто при мне не занимался. Есть, наверно, какие-то кружки. В больших универмагах, учреждениях, отелях можно увидеть дизайн, исполненный лучшими дизайнерами мира. И, конечно, икебана или какие-то элементы икебаны присутствуют.

Мне повезло. Наш дом традиционный, типичный. «Ты счастливый, — заметил мне один мой родственник, учитель английского, — твой дом почти в центре, в десяти минутах на метро от Синдзюку...»

Дом небольшой, деревянный. Стены, а также окна и ставни в нем раздвижные. Есть и татами — плотные толстые циновки. Они лежат под коврами на первом этаже, предохраняют от излишней влажности, потому что влажность в период дождей (середина июня — середина июля) может достигать и девяноста процентов.

Там же, на первом этаже, у нас холл, ванная комната с глубокой квадратной ванной, в которую (предварительно помывшись) погружаются по шею и сидят до обалдения в горячей воде. Рядом с ванной кухня. На втором этаже еще две комнаты и довольно большой балкон. При желании тот же холл можно разделить на две комнатки или увеличить за счет коридора, раздвинув стены.

Телевизор последней марки с громадным экраном, с прекрасной цветопередачей (7 рабочих каналов плюс два для тех, кто имеет антенну-параболу), видеосистема, проигрыватель, в том числе для компакт-дисков, пара миниатюрных плееров, диктофон — это как бы

само собой разумеется. Но кроме того, наш уютный японский дом начинен всяческими приборами и приборчиками, которые, как я понимаю, облегчают жизнь человеку.

Например, всегда на столе стоит бойлер для кипятка. Залил в него воду, и через несколько минут она закипает и дальше в таком горячем состоянии пребывает и днем и ночью. Он мне напоминает солидного независимого дядю, прекрасно одетого — отблескивает пластмассовый костюм, предупредительного, готового к услугам в любое время. Достаточно нажать ему ладонью на темя, и он выдаст из горбатого носа порцию кипятка. И тут же начинает посапывать, соображает внутри себя — то ли ему подогреть еще, то ли достаточно. Подрагивает зеленой лампочкой и успокаивается...

Электрическая рисоварка. Она похожа на кастрюлю. В магазинах я видел десятки видов: побольше, поменьше, попроще, посложнее. Наша с таймером. Засыпают в нее рис, наливают до отметки воду и уходят на работу. Собственно, через полчаса рис уже готов и так в горячем состоянии может пребывать весь день.

А таймер нужен для того, чтобы рисоварка включалась сама, скажем, за сколько-нибудь минут до прихода хозяйки.

Конечно, холодильник и автоматическая с программным управлением стиральная машина. К слову, у нас никогда не собирается для стирки много белья, потому что стирают почти каждый день... Есть еще разные нагреватели, вентиляторы, сушилки для волос, утюг с прозрачным корпусом, сквозь который, как в аквариуме, видна вода; прибор для мягких контактных линз, для их стерилизации; несколько калькуляторов, миксеры и проч., но, пожалуй, самая замечательная вещь «денширенджи» — микроволновая электрическая печь. Хочешь чего-нибудь подогреть или приготовить — туда. Выставляешь цифру — одна, две, три или больше минут. Звякнуло — значит готово. Сосиски требуют минуты две. Кукурузу я приготовил за три минуты. Чтобы разогреть суп, достаточно минуты полторы... Я заложил яйцо — через несколько секунд оно сварилось и взорвалось.

Моя жена возвращается с работы и минут за двадцать накрывает стол для всей семьи.

Современная японская кухня очень разнообразна. Перечислю лишь кое-что. Но для начала еще скажу, что первые, вторые блюда, салаты едят почти всегда одновременно, набирая в свою тарелку понемногу из обихих. Индивидуально у каждого пиала с рисом, а также пиала с супом — оттуда периодически прихлебывают, и это нередко суп из ракушек (их много видов, и продаются они свежими. В магазинах лежат в воде, в специальных ванночках). Или суп из рыбного бульона (из сушеного тунца), бульон из морской капусты (тоже продается в сухом виде), или суп-потаж из кукурузы. Отдельно каждому могут подать большую креветку или рыбу жареную, гриль-рыбу с соевым соусом и джиджей (имбирем), вареную рыбу с соевым соусом и сахаром. Популярны морской карась, голубой тунец, ставрида, морской угорь (паровой с соевым соусом и сахаром). Икра красная. Осьминоги и кальмары, по-разному приготовленные — или с небольшим добавлением уксуса, или совсем свежие, или в составе различных блюд. Сырая рыба — ее едят с соевым соусом или хреном.

Белый рис, иногда он с грибами, с луком. С соевым соусом, иногда в него разбивают сырое яйцо, но чаще в чистом виде. Белый рис заменяет хлеб. Красный рис клейкой консистенции, и он обычно для праздников, а если точнее, то это вареный рис с красной фасолью.

Суси — кушанье из вареного, приправленного укусом риса. Ему придают форму лепешечки и сверху

кладут кусок рыбы, или мясо ракушек, или креветки, или кальмара, или осьминога и т. д.

Норимаки — от названия сушеной морской водоросли нори (порфира), в которую завернут рис и в центре его омлет, шпинат, иногда в рис добавлен рыбный порошок с сахаром или рис в виде рулета и со стружкой сушеной тыквы («кампио»), отваренной в соевом соусе. Норимаки обычно цилиндрической формы. Своей структурой водоросль напоминает зеленую промокашку, и запах у нее гнилостный, но это то, что гниет у моря, и поэтому, когда я ел, мне не только мерещились груды гниющих водорослей, но и морской ветер, и стихия до горизонта, суровые волны. Это, по-моему, один из немногих продуктов, к которым все-таки нужна привычка.

Инари-суси — это суси, но завернутое в блиновидный жареный соевый мягкий творог. Он получается из отваренной в соляном растворе сои и в состоянии, напоминающем мусс, носит название «тофу». И его часто едят отдельно, как самостоятельное блюдо.

Чираси-суси — первая часть буквально означает «разбросанный», и это бесформенное суси и все блюдо похоже на салат.

Рисовые колобки готовятся без уксуса, только с солью, и в центре шарика помещается печеный лосось, или маринованные умэ (род сливы), или клешня краба, а шарики сами обжарены, или сладкая кукуруза с соевым соусом, или тресковая икра, или говядина с сакэ и соевым соусом, или лук с сыром и жареной креветкой, говядина с карри-пудрой и кетчупом, водоросль и т. д.

В японской кухне много вареных овощей: тыква, картофель (в том числе картофель сладкий), маринованная репа с добавлением сахара, соли (ее хорошо есть с пивом), морковь, редька. А также: гобо-лопушник большой, капуста китайская хакусай, вареные побеги бамбука — они немного горьковатого вкуса, стручки бобов, фасоль, грибы — их японцы любят особенно. Экзотическое блюдо: грибы с хризантемами.

Мясные блюда в основном заимствованы из Китая. Еще лет сто назад в Японии почти не ели мяса, в особенности говядину, но сейчас мясо любят, пожалуй, даже больше, чем рыбу и овощи. Например, курица, обжаренная в муке с соевым соусом, с добавлением яйца. «Вантан» — пельмени, но тесто тонкое, тает на языке. «Геза» — жареные пельмени с луком-пореем и капустой, с соевым острым соусом, маслом и уксусом. «Харумаки» — китайские блины, внутри которых жареное мясо с капустой и луком (жаренное в большом количестве масла), иначе называется «весенний рулет». Плов китайский: рис, свинина, омлет — все перемешано.

Множество видов лапши китайской. Она бывает с супом, без супа, жареной, вареной, с добавлением креветок, грибов, капусты китайской и мяса... Для супа предусмотрена короткая фарфоровая ложечка, но обычно используют только палочки — «хаши», а суп пьют через край. Нередко лапшу едят еще со втягивающим звуком («дзуру-дзуру» или «дзу-дзу», если перевести на японский), что означает хороший аппетит, что блюдо очень вкусное, и означает своеобразную похвалу хозяйке. Кстати, этот звук намного приятнее чавканья и, если угодно, вполне аристократичен. Есть палочками, по-моему, значительно вкуснее и приятнее, чем металлическими приборами: вилкой, ложкой, ножом.

Из японских мясных блюд можно отметить «кама-меси» — слово состоит из двух частей: «меси» — рис и «кама» — котелок. Рис, курица, креветки, соевые бобы парятся, и туда же яйцо, имбирь, соевый соус, немного сахара... Другое блюдо — «скияки» — готовится в жаровне, без масла, в небольшом количестве

рыбного бульона и соевого соуса (немного водки — сакэ), говядина с овощами. Жаровня стоит прямо на столе, она постоянно должна быть горячей. Каждый берет себе сколько надо при помощи «хаши». Едят, смешивая с сырым яйцом. «Ски» — любимый, «яки» — жареный, и все вместе означает «любимое жареное блюдо».

Очень популярна итальянская кухня и особенно спагетти. В магазинах продается много видов спагетти и соусов к ним. Спагетти, между прочим, удобнее есть вилкой. Рис с белым соусом тоже заимствован из Италии.

Индийское карри похоже по виду на рагу, очень острое. В ресторанах обычно его едят с индийским хлебом-лепешкой («нан»), а дома и в небольших барах едят с рисом. Но в Японии карри скорее всего английского стиля, потому что готовится из коровьего масла, а в Индии из буйволиного. К тому же добавляется в масло мука, чего индусы не делают.

«Адзуки» — вид фасоли. Ее варят много времени, смешивают с таким же количеством сахара — это основание почти для всех традиционных сладостей. Затем этой массой покрывают пареный клейкий рис. Или без риса, используя агар-агар, продукт морских водорослей и растительный желатин, из которых делается желе... Вкусовая палитра небогатая, но зато внешний вид очень разнообразен. Внешний вид может соответствовать и сезону: фигурки вишни, хурмы, осенью она может быть желтой и красной, напоминать листок, а зимой снег. Иногда это рыбка или цветок. Иногда, чтобы вызвать чувство холодного, сладость делается прозрачной.

Едим мы за обычным круглым столом и сидим на обычных стульях. Только один раз, когда приходили родственники поздравить нас со свадьбой, мы сидели за низким традиционным столом, для чего пришлось достать его из кладовки. Мы ели традиционные суси, которые заказали по телефону в ближайшем кафе, и незадолго до прихода гостей мальчик их нам принес. Мама-тян и бабушка пили традиционный зеленый чай, остальные — пиво.

Я видел традиционные деревца, корни которых в молодом возрасте специально расшатывают и держат их на голодном пайке, чтобы они не вырастали и при этом были бы, как взрослые, — искусство бонсай. Около нашего дома есть такой дворик. В другом дворике в бассейне плавают карпы, тоже традиционные рыбы. Карп — это сила, энергия, целеустремленность, красота.

Честно говоря, до того, как все увидеть своими глазами, я думал, что Токио чистый и красивый только в центре, а чуть в сторону и... вот они, грязные кварталы, бедная жизнь, опасные люди. Не знаю, почему у меня было такое представление. Может быть, под впечатлением каких-то старых кинофильмов? И я был удивлен, конечно, тому обстоятельству, что куда ни поедешь — везде почти центр, то есть высотные здания, потоки суперавтомашин, мосты-развязки, мосты переходные, огромные универмаги и километровые торговые улицы... А чуть в сторону от магистрали — и тихие кварталы лепящихся друг к другу домов и дворов. И все аккуратно, чисто, добротно, из современных материалов, везде гладкий асфальт. Улочки со своими продуктовыми магазинами, овощными лавками, автоматами.

Я заметил, что дорожные работы на оживленных улицах японцы стараются выполнять во время праздников или ночью. Ну а в тихих жилых кварталах, естественно, работают днем, когда большая часть людей на службе.

Около нашего дома однажды затеяли большие работы. Что-то случилось с газопроводом. Начинали часов в девять утра, причем специальные люди от

службы дорожного движения или из числа рабочих заботились о прохожих: показывали им, где нужно обходить. Когда они копали канаву, то разбрызгивали воду, чтобы не пылило. А к вечеру, к пяти часам, они быстренько свою канаву закапывали и снова асфальтировали дорогу. Напоследок асфальт поливался водой — думаю, чтобы он быстрее остыл...

Я сидел дома, писал статью, когда услышал, как на улице что-то грохнуло... Мало ли что там у рабочих упало, надо сказать, пошумели они в тот день предостаточно. Я выглядывать не стал. Но потом услышал прямо под нашими окнами осторожное шевеление и все-таки выглянул. Смотрю сверху со второго этажа: «Ай-я-яй»... Рабочий разбил цветочный горшок Минако, младшей сестры моей жены, в котором рос ее любимый цветок. И вот этот молодой парень уже где-то раздобыл новый горшок, точно такой же, и любовно закапывает цветок. Я увидел последние, так сказать, штрихи его быстрых движений. А затем я вышел со стаканом воды, чтобы полить бедное растение, но рабочий, оказалось, уже успел сделать и это — посадил по всем правилам. Я ничего не сказал Мина-тян. Зачем волновать девушку зря...

Утром по нашей узенькой улице медленно едет низкий грузовичок. Во время движения голосом сквозь мегафон шофер объявляет, что за сданную макулатуру можно получить деньги или отличную туалетную бумагу. Такое происходит не менее одного раза в неделю. Есть день, когда забирают битое стекло. Есть день, когда забирают крупные вещи.

Откровенно признаюсь, я не раз любовался всем тем, что японцы выбрасывают. Конечно, я имею в виду не какие-нибудь там неприятные пищевые отходы. Для них, кажется, существуют специальные пластмассовые ящики. Я говорю, например, о самых разнообразных журналах — про рок-музыку, комиксы, порно, по архитектуре, культуре, для женщин, и для детей, и для подростков без царя в голове. И все это в достатке, и выбор изумительный. Хочешь — забирай, хочешь — мимо проходи. Выбрасывают хорошие зонтики, циновки, шкатулки. Я видел гитару, тостер, несколько телевизоров. Наконец, я увидел видео... И не выдержал... Взял и понес, делая вид, что коробочка не такая уж и тяжелая, стараясь держаться прямо и не слишком часто менять руки. Может быть, я коллекционер и меня интересуют вот такие старинные образцы. Это был скорее всего один из первых более-менее компактных видео под кассету «Бетамакс». Несколько раз мне все же хотелось от него избавиться, но было поздно — сыграл спортивный азарт. Принес домой. Включил... Как я и думал — работает! И внутри кассета об итальянском искусстве, итальянских музеях.

Мой фильм

Жизнь в Токио настолько многообразна, интересна, динамична, полна всяких затей, что снимать можно практически все, что попадает в поле видеокамеры. Необычна сама конфигурация букв, обилие рекламы, а применительно к человеку из соцлагеря, такому, как я, необычны автомобили, мотоциклы, витрины магазинов, сами магазины, сумасшедшее обилие и разнообразие товаров, россыпи электронных часов, калькуляторов на стеллажах; торговые центры, которые тянутся на километры, самые разные журналы на любой вкус и возраст. Необычно то, что японцы ездят по тротуарам на велосипедах (стоянки которых могут тянуться на сотни метров. Некоторые стоят уже давно, даже заржавели). На тротуарах оставляют и мотоциклы. Велосипедисты пересекают дорогу по пешеходным переходам. По небольшим наклонным

улицам (по тротуару) несутся нередко с громадной скоростью. Вообще надо сказать, что реакция участников движения удивляет, а точность, с которой они ездят, особенно по узким улочкам, потрясает. Непривычно движение — оно, как в Англии, левостороннее, то есть руль в автомобиле с другой стороны. Преимущество отдано пешеходам.

Необычна манера имитировать блюда. Перед каждым кафе, баром, забегаловкой, рестораном — витрина, на которой все, что можно отвесть в данном месте: то ли борщ, икра, пирожки, пельмени, если ресторан русский, то ли спагетти или кальмар в собственных чернилах, если итальянский, то ли сосиски с капустой, если немецкий — и, конечно, всегда не одно-два, а с десяток и более блюд, и все эти крабы, и рис, и лапша, и креветки, и взбитые сливки, и пирожные совершенно не отличаются по виду от настоящих: рис — зернышко к зернышку, и кажется, что от него идет пар, видны как бы капельки жира, или масла, или соевого, или фисташкового, или устричного, или томатного соуса. А сделано все из клея, пластика, папье-маше, бумаги, смолы...

Когда я снимал фильм, я хотел показать, какой это современный фантастический город. Я использовал те звуки и шумы, которые слышал на улицах, — по моему, они лучше всяких комментариев передают атмосферу...

Пригородная электричка, голос, объявляющий остановки, геометрические линии домов набегают или сливаются, когда слышится нарастающий или слабеющий вой и вместе с ним шорох колес, мягкое покачивание, и в унисон покачиваются люди, сидящие или стоящие, последние держатся за кольца, что висят на коротких ремнях... Поезд с переходного моста, провода, арматура, скрежет на повороте, уха-нье и монотонный утробный сигнал, шум раскрываемой-закрываемой двери... Поезд, пронесшийся в виду высотных кварталов. Шлагбаум открывается, и начинается уличное движение. Музыка, какая-то простая популярная песня на японском языке, торговый перекресток, проходящие, нередко в такт музыке, люди... Часы в Синдзюку, циферблат уползает вверх, в нише появляются куклы, которые приветствуют, кланяются. Часы играют механически угловатую мелодию, и в сочетании с ней камера все выше по этажам, затем ступенчато с одной на другую крышу небоскреба, наезжая-отъезжая, выделяет слова реклам. Другая музыка у кафе, где движется лента блюд, — это похоже на движение поезда, только звуки более мягкие: колокольчик у двери, позвякивание посуды, шорох входящих-выходящих ног... Пятна света и звуки автомобилей в тоннеле, и в то же время над тоннелем стук колес электрички... Квартал, расцвеченный рекламой, огромный телевизионный экран, где ритмично меняются картины — наезд-отъезд. Между двумя магистралями тихая пешеходная улица с аллеей высоких деревьев. Несколько витрин, кафе, ресторанов — имитация, о которой я говорил. Торговец кричит в микрофон, и мощные динамики усиливают его голос, он расхваливает-предлагает товар. И крупным планом этот товар: развалы одежды, кроссовки. Навстречу идут люди густой толпой. Если приглядеться, то видно, что одеты они все очень хорошо, а на первый взгляд обычно. За углом, уже на магистрали, другой, но подобный по интонациям голос попеременно с музыкой выкрикивает: «Ирашай массэ! Ирашай массэ!.. Камера! Видео! Тайп-рекордес!.. Телевизоры! Видео пленки! Кассеты! И так далее и так далее! Покупай, налетай, подешевело! — Ирашай массэ!» И опять более тихие переулочки с автоматами прохладительных напитков, вращается гигантская чашка перед кафе, телевизоры при входе в магазин — там извивается певица Мадонна...

Зеркальные эскалаторы универмага Кейо, опять вокзал в Синдзюку, чучело большой панды. Панда сидит в избушке и ставит большую круглую печать на листок, к удовольствию детей, шевелит телом и головой, открывает рот и девичьим голосом говорит-говорит... Снова электричка — это чтобы вырваться из разгула цивилизации и обилия информации, чтобы сменить обстановку — за окном мелькают крыши низких домов... И вот тихий квартал и внезапный дождь. Струи бьют с тропической силой: стены, крыши, листья пальмы, булькающие лужи, притихшие мотоциклы и велосипеды... Проезжает на велосипеде под зонтиком женщина. Идет навстречу школьник, промокший насвозь, — воротничок-стойка, форменный китель... Намокают яркие афиши — на них депутаты и парламент, все они улыбаются... Это наш тихий квартал. Дождь быстро проходит, желтые пятна света, застыли крупные капли, слышно, как поют птицы. Мандарин рядом с нашим домом. Сквозь его ветки и листья многоцветное солнце — сине-фиолетовые, зелено-изумрудные россыпи кристаллов и призм, радужное сияние, круги, похожие на гало. Когда согласишься долго на солнце, то небо темнеет, ты видишь лучи — прямые, они протягиваются, мельчаться на куски. обретая нередко симметрию и порядок... И вот снова солнце, но уже над эстакадой, по которой несется поезд в Гиндзе, шумная улица, движение автомобилей, движение людей через переход. Камера описывает круг, забирая весь перекресток, целый хорюд людей... Гиндза слишком фешенебельная, слишком европейская, слишком столичная. Мне по душе более узкие японские улочки других кварталов, набитые до отказа товарами, лавчонки и магазинчики. Там, в Гиндзе, тоже есть гигантские часы, они золотистые, и в них как бы литые фигурки и механизмы, вращаются шары... но от них впечатление искусственности. Мне нравятся все же те, что в Синдзюку, там куклы: поросенок, медвежонок, лисенок, зайчонок — очень милые, душевные... Синдзюку — второй центр Токио. Первый — Касумигасеки, где здание парламента, министерство иностранных дел, почти все министерства, представительства. Синдзюку — это японский Манхэттен по внешнему виду. Здесь небоскребы, все более 50 этажей: компаний «Номура», «КДД», «Ясуда», Сумимото-банк, Мицуи-банк, Кейо-плаза отель... Потом в моем фильме летит дирижабль: равномерное, неотвратимое сильное гудение. Вот он, с рекламной пива «Асахи». Приближая ракурс, мы можем увидеть и прочитать рекламу и опять отдалим его, и он уходит в левый нижний угол кадра, уходит постепенно...

Вечерний квартал Токио, улица рядом с моим домом. Лихие мотоциклисты, автобус с иероглифами над ветровым стеклом остановился. Мальчик, подняв руку, мол, еду, через улицу по переходу, крутит педали. Люди на велосипедах по тротуару. Люди, выходящие из метро, оно называется здесь «сабвей». Затем моя улица, перекресток и мелькающий посреди перекрестка прямо на асфальте красный огонек (он мне очень нравился — укрытый сверху маленький фонарик). Проехал велосипедист, проходя с сумками (пожилая хозяйка), идет девочка (вид сзади) в светлых джинсах, идет задумчивой, неспешной походкой. Проехал мотоциклист (протарахтел). Ритмично красный огонек на асфальте — может быть, он напомнит сердце. Мягкий свет от автоматов: за стеклом кока-кола, фанта, соки и т. п.

Прошла еще женщина деловой походкой, темная улица, пульсирует красный фонарик на асфальте на перекрестке; уходящая девочка в светлых джинсах, задумчивая походка...

Примерно такой мой фильм. Камеру мне одолжили на время, потому что японцы очень добрые люди.

Профессор Токийского института иностранных языков Масаджи Ватанабе попросил меня выступить перед студентами. Мне кажется, он подумал так: в любом случае — хорошая будет лекция или не очень, но польза очевидная, потому что я использую язык, к тому же товарищ пишущий и в курсе происходящих в нашей стране событий (что видно было хотя бы из моей предыдущей встречи с профессорами Такуя Хара, Минору Нитта, а также самим Ватанабе, когда я говорил без умолку около пяти часов, выпил все, какое было в холодильнике, пиво, а потом с Ватанабе еще посетил бар «Джон Монджиро», где он член — словом, он уже знал, кого приглашает), к тому же я филолог по образованию и приехал по частному приглашению, а значит, свободный человек, не замуренный инструкциями, отбором, проверками, не инкубаторский.

Естественно, что я начал с «гласности» и «перестройки», с терминов, которые у всех на слуху, о том, что в нашей стране вдруг поняли: все у нас плохо, все у нас не так, и того нет, и сего не хватает, и там ошибки, и там напортачили, загрязнили, уничтожили, безнадежно отстали и так далее, но о «нехватках» я говорил вскользь, потому что это скучно, а больше распространялся о том, чего у нас в избытке: о молодой, молодой и свежей культуре. О том, что есть такое понятие, как «официальная культура», которая остается и ее предостаточно и которую не надо путать с искренней и настоящей. О том, где искать последнюю и на что прежде всего следует обращать внимание.

В рок-музыке я выделил группы «Аквариум», «ДДТ», «Наутилус», «Авиа», «Облачный край». Говорил о лидере «Аквариума» Борисе Гребенщикове, поэте, композиторе — именно после него стало возможно говорить серьезно о русском роке, исполнять песни на русском языке. Его тексты органичны, искренни, очень конкретны, многие четко ориентированы на мировые религии и философии, в частности на Восток. А с другой стороны, есть дешевый официоз и то, что легко переходит в разряд официоза в силу неразвитого вкуса и желания плыть по поверхности, потакать обывателю. Сюда можно отнести безликие «Август», «Черный кофе», «Земля» и т. п., и как будто сделавшую что-то когда-то «Машину времени», и группу Стаса Намина. Японцы знают «Мы желаем счастья вам, в этом мире большом»... Они слышали имя певички Пугачевой... — я объяснил, что это все песенки из одной оперы.

Я говорил о журнале «УР ЛАЙТ», где главным редактором Илья Смирнов (г. Москва). Что журнал этот как бы вырос из «Зеркала» и «Уха», которые впервые в Союзе стали освещать деятельность того же «Аквариума» и которые в начале 80-х годов запрещали, редакторов их изгоняли.

Я поинтересовался, знают ли студенты что-нибудь о поэзии Давида Самойлова. Семь его стихотворений несколько лет назад перевел на японский профессор Такуро Курода. Оказалось — никто ничего, а стихи Самойлова являются образцом русской поэзии.

Да, впрочем, пробелы могут наблюдаться и с нашей стороны. Пример: великолепный стилист писатель Осама Дазай. Я видел переводы его книг на английский, но не знаю ни одного на русском языке, а он известен и почитается не меньше, чем Акутагава Рюноске. Могила Акутагавы рядом с университетом, недалеко. Небольшое кладбище, маленькое надгробие. Его пониже, жены повыше. Те, может быть, пять минут, что я стоял рядом с Акутагавой (мы спешили в университет, где нас ждали), были для меня важными и торжественными. На кладбище мно-

го высоких деревьев. Оно рядом с буддийским храмом.

Я показывал студентам фотографии с картин представителей московского авангарда Дмитрия Врубеля (соц-арт), Михаила Смекалкина (мультипликационный сюр), Юрия Непехарева (картины-карикатуры). Одно время они были вместе и составляли группу «Новые унылые», устраивали квартирные выставки (кварт-арт), где были не только их картины, но и стихи, проза, политические журналы и хроники, магнитофонные записи. Кварт-арт — это как бы квинтэссенция московской жизни, это общение, желание сделать искусство динамичным, когда в пространство выставки включаются и прихожая, и кухня, и туалет, и сами художники. С ними выступали также Константин Звездочетов и Константин Латышев (группа «Чемпионы мира»), Дмитрий Плоткин, Михаил Куприков, Александр Джикия...

Я говорил о мартовских демонстрациях в поддержку Б. Ельцина. Что я тогда искренне удивился активности народа — я-то думал, что в людях уничтожена всякая надежда на всякие изменения в сфере власти. Оказалось, что не совсем так. В Москве расклеивали листовки «Борис, борись!», митинговали, спорили. Я сам участвовал в одной демонстрации, держал плакат с надписью «Слуги народа — в общую очередь!» (текст Ю. Непехарева).

Я говорил об обществе «Память», о столкновении с его членами в народном суде Свердловского района г. Москвы. Как нам с друзьями пришлось буквально врукопашную защищать фотокорреспондента, у которого они хотели отобрать пленку, испортить дорогую аппаратуру. Они «болели» за некоего Романенко — тот подал в суд на газету «Советская культура», уличившую его в статье «Ширма» в шовинистической пропаганде.

Прямо в зале суда, во время перерыва, «памятники» вели свою агитацию. Тип, рядящийся под русского патриота, с иконой на груди и со значком «Георгий Победоносца» на лацкане показывал публике стиральный порошок «Славянка» и все допытывался, почему его назвали не «Иудейка». Он видел в этом проишки «врагов», «русофобов». У него был целый портфель подобных вещдоков... Он демонстрировал фотографию лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, талантливого человека с яркой семитской внешностью; он открыл рот, чтобы сказать очередное свое слово. Мы его оборвали...

Я говорил японским студентам, что подобные люди, члены «патриотических» обществ вроде «Памяти», — порождение всего темного и гадкого, что есть в человеке, что они продукты соцстроа — сталинщины, оттепели и застоя, когда специально искали «врагов», чтобы сваливать на них свои недостатки.

Там же, на суде, находился их идейный вождь Емельянов, автор книги «Десионизация». Сейчас по Москве много подобных книжонков. В одной из них обсуждается совершенно серьезно вопрос, что ежели бросить на Израиль атомную бомбу, то вступится Америка или нет, и автор приходит к выводу, что не вступится и можно, значит, действовать смело... Студенты даже как-то недоверчиво зароптали. Пугал я, стало быть, их коричневой чумой, черной опасностью, советским фашизмом. Прибавим сюда мощную армию, практически не затронутый перестройкой аппарат КГБ, где работают еще те, кто бил диссидентов ногами, прибавим общий уровень жизни и поймем, что все значительно серьезнее.

Потом мы пили на кафедре «пиво» (как говорил Ватанабе), среди книг отборнейших, о такой библиотеке можно только мечтать — на полках стояли и В. Хлебников, и А. Ахматова, и журнал «Аполлон», и весь «Континент», и весь А. Солженицын...

— Бери что хочешь, читай,— сказал Ватанабе,— потому что здесь у меня много всего, а времени не хватает, и это все зря...

Он хотел сказать, что это как бы ни к чему — ошибся, но вообще-то он прекрасно говорит по-русски, со смешливыми интонациями и, как грузин, часто переспрашивает: «Да?»

— А твоя жена печатает стихи в русском журнале? Молодец, да?.. Я думаю она необычная женщина, да? Я еще, когда Макико училась у нас, замечал, что она особенная. Что-то в ней такое... Сейчас мы закусим, да?

Множество японских закусок из упаковок: сушеные крабы, кальмары полосками, лентами, сыр, орешки, рыбки — специально под пиво:

— Мы любим все это, да?

М. Ватанабе не раз бывал в России. Он следит за русской литературой, занимается переводами. Его жена написала книгу о периоде оттепели, о людях, о поэтах и писателях того времени, с которыми она была лично знакома. Приходили аспиранты, и мы говорили с ними. Это была уже «встреча с аспирантами кафедры русского языка». И при всем при том «пиво» и немного виски. Поинтересовались, какие у меня впечатления о Токио, о Японии... Я вспомнил, как гулял по наклонным улицам (от Синдзюку в сторону Йойоги), и у меня было чувство, что я в Крыму, в зажатой горами Ялте — здесь, правда, горы не нависают над городом, их можно увидеть вдалеке с высоты десятого этажа, но улицы узкие, дома впрытык... Там, на перекрестке, под пальмой, у выпуклого отражателя, делающего картину еще более фантастической, я вспомнил роман В. Аксенова «Остров Крым». Я тогда подумал, что будь Крым автономен и проживай в нем татары (если бы их не выслали всех во время войны), то Ялта была бы еще похожа на Токио... Я даже представил крымские видео и компьютеры... При условии, конечно, полной автономии, как в романе... Что еще? Вчера, например, видел в небе дирижабль...

Оказалось, что у Ватанабе есть мечта — пересечь Советский Союз на мотоцикле.

— Это было бы здорово, да?

Я представил обтекаемую «Ямаху» («Сузуки», «Хонду»), шлем-скафандр, и Ватанабе, крепкий, широкий, шпарит через Сибирь... У него есть опыт. Нередко он делает на мотоцикле сотни километров, потому что живет в Кобе, к югу от Токио, на том же острове Хонсю. Он любит скорость...

И уж коли выплыла в разговоре Сибирь, то я рассказал им о бичах. Я сам работал в геологической партии, можно сказать, даже бичом, потому что для геологов «белой кости» все рабочие — бичи, включая и тех, кто действительно ими является, хотя сами бичи таковыми себя не считают. Я видел, как алкаши, забулдыги в тайге превращаются в умелых людей, способных жить и трудиться в экстремальных условиях. И каждый имеет внутренний мир, и это подчас очень приличные люди. Все они хотят заработать, чтобы вырваться, но для начала их обманывает начальник партии: «Ел не ел, Блевалов,— распишись!.. И распишись», — как говорил один так называемый бич. — Вычеты и приписки, мертвые души и воровство начальничков — там обычное явление. А затем глубокой осенью возвращение в город, скажем, в Иркутск, где тебя никто не ждет, где ты никому не нужен — ни профсоюзу той же геологической экспедиции, хотя с зарплаты сезонных рабочих они берут профсоюзные взносы, ни городским, ни тем более областными властями с «людьми в кабинетах из кожи» (как поет «Наутилус»), которых проблемы тысяч и тысяч подобных людей как бы и не касаются... И вот возвращается в подобную

обстановку человек с клеймом «бич», и что ему остается? Водка, самогонка, одеколон; деньги пропил, или обокрали, и опять старая история: жди весны, ночуя по чердакам, подвалам или там, где трубы теплоцентрали. А в Иркутске хо-лод-но!..

Ватанабе с сотоварищи слегка приуныл от жалости, и тогда я решил им поведать что-нибудь повеселее. Были у нас в партии, например, относительно молодые Гена и Вася-Коля, то есть в один сезон он назвался Васей, а на другой сделался Колей, но это не важно, у него даже медицинская справка была поддельная. В межсезонье они вдвоем проживали в квартире Гены, в Иркутске. Устроились грузчиками, один на мясокомбинат, другой на ликеро-водочный завод. Понятное дело, что всегда у них в доме были пиво, водка, вино, закусок. Потом одного выперли за воровство, а там и второго. И что они сделали? Они просто поменялись местами, и снова жизнь, как в раю: пиво, водка, вино, закусок...

— Но интересно, да? — спрашивал Ватанабе у Макико, у ее подружек Юко и Чиеки, с которыми она училась на одном курсе, у аспиранта из Южной Кореи, и еще одного скромного парня в клетчатом пиджаке, насколько помню, его звали Джотаро Хонда, и у мисс Юрико Накамы, которая вносила в общество сугубо женскую линию — взглядами, жестами, сигаретой неотлет.

Мы много курили. Девушки сбегали то ли в магазин, то ли к автомату и вернулись с пивом...

— Как ты говоришь... бичи? Надо запомнить. А как это понять, этимологию слова, откуда оно?.. А-а, от английского «берег», так назывались моряки не у дел? И еще в нем слышится что-то: кнут, судьба?

Рассказывал я и о позорных тюрьмах для алкоголиков, про ЛТП. Однажды я с друзьями читал там свои рассказы.

— Прямо в тюрьме, да? — воскликнул Ватанабе.

— Прямо в тюрьме. Засовы, ворота, охрана, майор — замполит, который тоже пишет в газету «За честный труд». Он нас и пригласил. Заключение в застиранных робах с номерами, многие сидят ни за что.

Лекция для студентов началась в два часа, а вышли мы с кафедры в кромешную тьму. Шли по узеньким улочкам и опять через тихое кладбище, где лежит Акутагава Рюноске (или витаает, или витал его дух)... Глаза привыкли к темноте, я различал густые кроны, отдельные надгробия, со стоящими за ними высокими остроконечными как бы досками с буддийскими молитвами на одной стороне, а на другой — с именем для жизни иной; синеватое от зарева городских огней небо.

Знакомство

Через Джонни я познакомился с русским, живущим в Токио.

Георгий Борисович содержит кафе в районе Эбису. Я ел у него винегрет, цыпленка, икру, красную рыбу. Он научил меня наливать пиво в кружку из аппарата. Оказывается, чтобы было меньше пены, ее нужно под струей держать не прямо, а наклонно.

— А какое пиво в России? — спросил он.

— Отвратительное, — ответил я. — Его там не умеют делать и не хотят делать хорошо. А в пивбарах к тому же разбавляют то водой, то газом. Даже стиральным порошком разбавляли, когда он был. Травят людей, сволочи.

— Но это же просто обман, — удивился Георгий Борисович.

— Конечно, — ответил я, — и у нас к этому привыкли.

Он перевел двум-трем завсегдатаям, японцам, и те закачали головами: «Ах, соо дес ка?» Выражая удивление такой дикостью.

Я не говорил, конечно, где конкретно разбавляют и кто является в этом смысле чемпионом мира: московский пивной ресторан «Саяны» или эстонский «Карьякельдер», например. Нельзя же все секреты выдавать — этому нас и в школе учили, и в армии, и продолжают учить «писатели-патриоты». Тем более что рядом со мной сидел Джон Ланкастер, редактор переводческой фирмы, родом из Америки, и с ним его приятельница-японка, спортивного роста и сложения, и еще одна девчонка — то ли из Сан-Франциско, то ли из Лос-Анджелеса (оба города через черточку, немудрено спутать), которая все гордилась своей страной, и у нее что ни слово, то «наша Америка», «у нас в Америке», «в нашей Америке»...

По внешнему виду она была похожа на филиппинку, но видно, что в Штатах люди всех рас и национальностей могут чувствовать себя комфортно. Можно позавидовать...

— Но вообще-то... — сказал Георгий Борисович. — У него лысый череп (он его бреет), прямой нос, тонкие губы; крепкая фигура. Он говорит, а сам работает точно и споро, и в его руках кружка пива хорошо и комфортно, как в Америке, и он ее любезно подает, и, принимая, чувствуешь двойной аппетит, и подливает польскую водку, и виски, кто хочет...

— Но вообще-то, — говорит он, — бабушка мне рассказывала о России много хорошего.

Его бабушка была вынуждена бежать с мужем от наступавшей большевистской армии. Георгий Борисович — внук колчаковского генерала. Более того, его дедушка служил в штабе Колчака. Семья сначала оказалась в Харбине, затем в Шанхае, затем в Японии. Он рассказал, что многие их знакомые в пятидесятые годы вернулись в Россию, было такое движение, но он знает только одного, кому удалось устроиться. Тот стал жить в Москве, нашел работу на радио.

Георгий Борисович никогда не видел Россию. Он родился в Японии. Женился на японке. Они работают в баре вдвоем. Он жил одно время в Америке, а потом решил, что в Японии все же лучше, и вернулся. «Мне все-таки кажется, что Япония лучше... здесь мои друзья детства, здесь я получил образование, здесь мои родители... Пока он это говорил, американка назвала какого-то своего университетского преподавателя. То ли Петровского, то ли Павловского. «Да я его знаю, — сказал Георгий Борисович, — ты спроси у него, скажи: «Джорж привет передает». Он вспомнит... Был еще тот орел. Чего мы не творили только в молодые годы!.. Я знаю все западное побережье, и меня там многие знают... Когда же он переходил на японский, то моя жена восхищалась его чистейшим японским. В том маленьком гриль-баре говорили тогда на трех языках, иногда одновременно и путано, и какие-то темы терялись и возникали снова. И вот, когда он сказал, что в России много хорошего, я ответил:

— Конечно, это как посмотреть. Пейзажи, Питер, кое-что в Москве. Приезжайте, я вам покажу, разумеется, все самое хорошее. Покажу Суздаль, Загорск, съездим в Ясную Поляну. Конечно, в России есть места... Познакомлю вас с моими друзьями: поэтами, писателями, художниками, рабочими и безработными, кооператорами, учеными...

Через неделю примерно он пригласил меня к себе домой, туда же, в район станции Эбису. Дом, в котором он живет, недалеко от его кафе. У него хорошая, довольно просторная квартира. У его жены большая коллекция колокольчиков со всего мира. Судя по коллекциям и фотографиям, они любят путешество-

вать и объездили почти весь мир. Они познакомились, когда им было лет двадцать, и с тех пор всегда вместе. Он показал мне фотографию 37-го года.

— Вот этот пупсик, с соской, сидит у мамы на руках, таращит глазенки — это мой родной брат. Он сейчас в Штатах, генерал зеленых беретов...

— Если бы вы в то время были в России, — немного подумав, сказал я, — вас бы расстреляли, Георгий Борисович. И вас, и вашего брата, и маму, и бабушку, и дедушку.

Он рассказал, что многие годы хотел увидеть Россию. Не раз даже собирался, но мама его всякий раз отговаривала: «Не едь, кегебисты возьмут тебя заложником и потребуют что-нибудь от правительства США, какого-нибудь своего шпиона, ведь у тебя брат слишком важная персона»...

— Но я думаю, — отражает он своей голой головой яркий свет люстры, — у вас там многое изменилось, и если я поеду, то они не посмеют, а?..

Акция «Серп и молот»

Позвонил мой турецкий друг, актер по профессии, и спросил, не могу ли я сниматься в кино — на студии «Никкацу», оказывается, нужен человек со знанием русского языка. Конечно, я согласился. Тогда он дал телефон агента. Им оказалась девушка. Она поинтересовалась, какой у меня рост. «О, отлично, — сказала она, — это нам подходит, а то я, честно говоря, волновалась, думала, что вы слишком высокий!... Мы тут же договорились встретиться с ней в ее доме, в районе Роппонги. Я знал уже этот район — как-то мы обедали там с женой в индийском ресторане «Моти». В Роппонги много консульств, посольств, есть магазины, специально рассчитанные на иностранцев, в которых можно купить «родные» продукты, например, австралийское, новозеландское, американское, французское, китайское, финское и т. д. пиво в банках... Много баров, дискотек, магазинов одежды, в которых наряду с обычными и слишком смелые образцы — тоже для иностранцев, потому что японцы хоть и любят хорошую, дорогую одежду, но предпочитают одеваться неброско.

Я ехал на встречу и думал о том, что хотя я и не снимался ни разу в настоящем кино, но опыт у меня кое-какой все же имеется. Раза три я читал свои рассказы на радио, много раз выступал перед публикой (за вечер 6 руб. 50 коп. — о, это были деньги!). Кроме того, дублировал кинофильм — тридцать сеансов проговорил за всех актеров все их слова. Это, помнится, был болгарский приключенческий фильм «Афера»...

У выхода из метро ко мне подошел некий парень, проводил к автомобилю, и по узкой улочке мы съехали к ее дому (одновременно офису) — опять мне напомнила эта улица Ялты... Я оставил, как принято здесь, ботинки в прихожей и прошел по мягким коврам в холл с ампишной мебелью и старинными вазами по углам, двумя фортепиано «Ямаха», около которых пюпитры, микрофоны на высоких стойках, мощный двухкаскаетник, еще какая-то записывающая аппаратура. Я уселся на дорогой диван, отразился в зеркальной стене напротив... Отражался минуты три. Пришла девушка-агент, принесла чай, дала заполнить бумажки — контракт, поговорили. Она сказала, что хотела бы поучиться годик в Московской консерватории, но советские власти дают разрешение только на три месяца, а этого, конечно, недостаточно. Она обмерила меня, записала данные, я выпил чайку, договорились, когда и куда я приеду на пробу. Прощаясь, она вышла прямо на середину улочки и поклонилась мне несколько раз.

Через три дня в условленный час на станции Чоофу в подземном переходе ко мне направился высокий молодой индус. «Вы мистер такой-то, да? Очень приятно. А я Дэвид», — представился он. Что он индус, сомнений быть не могло, потому что он был в чалме.

На пробе я познакомился с режиссером Шууске Канеко. Оказалось, что он автор сценария. Оказалось, что он знает и об Эстонии, где я прописан, что есть такое местечко на земле, и даже знает одного эстонского режиссера, Марка Соосара, с которым он познакомился в Соединенных Штатах, и написал о его творчестве статью в японском журнале...

Русский космонавт, по сценарию безымянный, а в жизни, может быть, полковник Соколов, или подполковник Волобуев, или майор Колотушкин — не важно, жил себе на космической станции, летал вокруг шарика, фотографировал чего надо и не надо, питался из тюбика, для солидности даже, может быть, в газетах сообщалось, что он «выращивает в невесомости монокристалл окиси цинка», но вот что-то случилось. И чтобы разобраться, в чем дело, он вылезает из люка, выплывает в своем скафандре в открытый космос и видит неполадку: может, там обивку раздуло, или задело чем, или отвалилось чего — неполадка, одним словом.

— С этого и начинается твоя роль. И ты восклицаешь: «О, мой Бог!», выражая тем самым удивление. Как это будет звучать по-русски?..

Я спросил:

— Ситуация комическая? Фильм комедийный?

— Да-да, — подтвердил Канеко.

— Ну тогда, — ответил я, — лучше будет сказать: «Бог ты мой! Ну и дела-а...» Или просто с удивлением: «Бог ты мой!»

— Хорошо, — согласился Канеко по-японски, а Дэвид перевел мне на английский. — Следующий эпизод: ты начинаешь устранять неисправность, стучишь методично молотом по станции и в один из моментов роняешь его из рук. Ты пытаешься поймать его, делаешь движение рукой, подаешься телом, но не тут-то было... Молот медленно, но верно уходит все дальше, отделяется в сторону нашей голубой планеты. «Он же специальный!» — сдавленно кричишь ты... с чувством... А потом собственно само действие фильма: молот попадает в поле зрения следящей системы, естественно, американской, потому что они пока только такую имеют, срабатывает компьютер, разворачиваются события, а в конце, когда все, несмотря ни на что, благополучно завершается, опять появляется на экране наш упорный космонавт, то есть ты. Но на этот раз у тебя в руках уже не молот, а серп...

— И, конечно, он роняет серп, — рассмеялся я, — второй советский символ!

— «Опять я напутал!» — кричит космонавт, когда он уронил серп, и видит, что тот, как и молот, улетает к земле. «Опять я напутал! Что со мной?!» Как ты думаешь, — спросил Канеко, — лучше оставить эти слова по тексту, как есть, или, может быть, что-нибудь другое придумать, что-нибудь ударное?

— Может быть, что-нибудь про Горбачева? — наемкнул Дэвид. — Потому что многие люди знают его имя, тогда они и без перевода поймут, будет интересно. Понимаешь, он ошибся и беспокоится...

— «Что я скажу Горбачеву?!» — осенило меня. — Вот мировая фраза, ребята! Вот слова, которые он должен орать!

Я перевел на английский, Дэвид — на японский.

— Отлично! — улыбнулся Канеко. — Оставим эти слова.

На другой день ровно в час дня мы приступили к съемкам. Из специального ящика достали мой комбинезон, почти полную имитацию космического:

с трубками, кнопками, ранцем за спиной, со скафандром и перчатками. Надевать его мне помогали Дэвид и еще двое молодых ребят и девушка, которая, видимо, была ответственная за костюм, и она же прикрепляла ко мне липкие эмблемы «СССР», герб и т. п. Мы уже хотели попробовать скафандр, но тут появился пожилой поддатый мужик, принес им изготовленный пояс. Пришлось снова разоблачаться и, пропустив одни лямки между ног, другими охватить бока. Сквозь костюм вывели кольцо, за которое меня собирались цеплять... Затем мы вышли в павильон. Я увидел космическую станцию, нависшую над съёмочной группой. Операторы, осветители, там же был и режиссер Канеко и какой-то стройный мужчина в прекрасном костюме песочного цвета — он сидел на стуле, нога на ногу, острый ботинок — может, продюсер?..

Меня представили съёмочной группе, я улыбнулся, поклонился честной компании и полез на станцию. Сверху свисала проволока. «Не слишком ли тонкая?» — показал я. «Ничего, — махнул поддатый мужик. — Выдержит». Он, видимо, заведует всякими подобными поделками. Как-то в районе Коктебеля, в Крыму, я видел точно такого же пиротехника — там Ялтинская киностудия снимала фильм. В таких же зачуханных штанах и в такой же ковбойской шляпе. И в одном американском фильме про каскадеров тоже... Они все, кажется, на одно лицо: независимые, сосредоточенные, со своей, что называется, рабочей гордостью, уверенные в себе, — я бы сказал, даже слишком... «Ну ладно, цепляйте, что ли»...

Вскоре я понял, что быть актером нелегко. Проекторы, жара. На меня надевают скафандр, в котором еще теплее. В нем, как и положено, встроенный микрофон, так что все, что я ору, сразу записывается на пленку. Меня поднимают над станцией. Как в цирке: рабочие тянут веревки, лязгают блоки, напрягаются тросы. Несколько раз я удивляюсь обнаруженной неполадке: «Бог ты мой!»... Начинаю работать молотом. Меня просят задрать повыше левую ногу, чтобы усилить впечатление невесомости, просят не держаться за станцию рукой, не хвататься за нее, а я делаю это, потому что меня то разворачивает, то слишком выносит вперед... Я опять начинаю махать молотом, я плаваю в воздухе, держу равновесие телом, мягко дотрагиваюсь иногда левой до станции (как бы невесомость), а при помощи правой продолжаю орудовать своим кувалдометром. Слышу команды режиссера: «Камера!» И поехала по рельсам камера. Я работаю, не обращая внимания, но внутренне я готовлюсь... Громкий крик: «Акшен!», то есть акция... «Раз... два... три...» Четвертый удар, и я неосторожно упускаю молот. Пытаюсь его схватить (не очень резко, все-таки невесомость, и когда вижу, что это невозможно — молот улетает от меня все дальше и дальше, в сторону родимой земли... — в сердцах восклицаю: «Он же специа-альный!») Я сделал так раз три-четыре и думал, что уже все, о'кэй, переходим к следующему эпизоду, но вот смотрю: мне несут другой молот — серебристый. Несет женщина, ответственная за него, преисполненная заботы о нем. Оказывается, что все предыдущее было просто-напросто дублями и настоящая работа только начинается...

Я висел, опускался, летал, кричал, размахивал руками, пот струился градом... Когда с меня снимали скафандр, то все, кто находился рядом, обдували меня: кто картонкой, кто текстом сценария, кто фанерой, кто помогал мне вытирать лицо полотенцем... Кстати, я не просил их об этом, и это не входило в их обязанности, но тем не менее... Иногда я, стоя так, старательно обдуваемый со всех сторон, удивлялся не по сценарию, а сам себе: я — в косми-

ческом одеянии на фанерной станции, а вокруг японцы, в основном молодые интеллигентные лица, все воодушевленные работой, а там напротив, внизу, еще один очень важный, в дорогом костюме, в дорогом галстуке, красавец тонкий, нога на ногу; у режиссера и его помощников в руках видеомагнитофоны размером с толстые книжицы, на приборах антенны с флажками. Режиссер иногда подходит ко мне (точнее: взбирается), прокручивает назад пленку на портативном видео, и я вижу настоящее кино: космическую станцию в черном космосе, космонавта, который на ней трудится, роняет молот... Режиссер Канеко указывает на ошибки — где-то сделать естественнее и т. п. ...Удивляюсь: говорю по-английски, индус в чалме переводит... Я снова взлетаю, я снова кричу, пот ручьями. Теперь у меня уже в руках серп. Меня просят, чтобы я держал его так, чтобы он отблескивал в кадре... И вот, когда в очередной раз я кричал «Что я скажу Горбачеву?!», я оборвался...

Я успел крикнуть только «Что я скажу!...» и со страшным грохотом рухнул на станцию. Хорошо еще на нее, а не на бетонный пол в павильоне... Все перепугались. «Ничего-ничего, не волнуйтесь, все нормально. Советские космонавты не сдаются... Ну грохнулся, ну синяк набил»... Проволока, кстати, порвалась не сама по себе, а в месте соединения ее с кольцом, так что поддаты отчасти был прав, когда говорил, что вес она выдержит.

Устроили небольшой перерыв. Ребята сбегали, купили и принесли мне горячий кофе (в специальной баночке), бутерброды, я выкурил сигарету... Решили заменить пояс, и когда его меняли, то многие увидели, что бока у меня растерты и кровоточат. Страшно удивились.

Затем мой космонавт снова летал, орудовал серпом, подчищая, может быть, ржавчину, или, может быть, заусеницы, или он счищал наросты неизвестных еще науке космических ракушек, и он ронял серп, и он орал в ужасе от встречи с Горбачевым, который, весьма возможно, за все эти «подвиги», всех привилегий и званий лишит: «Что я скажу Горбачеву?! Теперь мне белого света не видать!» Последнюю строчку я добавил во время съемок, когда образовалась маленькая пауза и надо было ее заполнить, и думаю, что

она вполне логичная и вполне в русском духе, чем и горжусь.

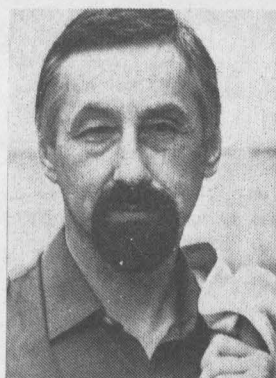
Закончили весь этот хепенинг часов в семь вечера. Дэвид рассчитался со мной в такси, я расписался... За один день я заработал одну восьмую или десятую часть заработка среднего японского служащего, скажем так. ...Стало быть, я заработал столько за один день. Будто кинозвезда.

Я возвращался домой. Усталый, с избитыми, окровавленными боками, с гудящими мышцами и влажными зачесанными волосами, с деньгами в кармане, которые я решил отдать жене.

Я вышел из метро в своем районе Сугинами на станции Синкоэнджи. Теплый вечер, каждый дом, каждый угол расцвечен рекламой; зажигаются, гаснут, зажигаются иероглифы или буквы хираганы, или катаканы, или латинские; вращаются стеклянные цилиндры с бегущей по ним сине-красной спиралью — рекламы парикмахерских; яркая рябь — обложки цветных журналов, часть из них выставлена прямо на улице, россыпи, штабеля комиксов; один за одним магазины косметики, фото, магазин-пекарня, видео, где за витринными стеклами винегрет боевиков, шедевров, поделок мирового киноискусства, бары с бумажными фонарями у входа, полтротуара занимают бесконечные стоянки велосипедов; мелькают, пульсируют лампочки; несутся полированные авто, отражая картину, преломляют все эти краски, огни, превращают их полосы, уносят с собой.

Еще в метро захотелось пить, и еще в метро я решил, что заверну к своему пивному автомату. С глухим стуком выпала банка. Я шел, на ходу прикладываясь к прохладному пиву, и думал, что, в сущности, это мой первый приличный заработок... И почему я не мог зарабатывать нормально в родной стране? Или, может быть, я не работал, или не хотел работать?..

И вот я шел с деньгами в кармане, со своей первой приличной получкой, двадцать пять тысяч иен, я шел домой, где меня ждали, где я был нужен, туда, где меня любили, я шел по теперь родному мне городу Токио... Я был доволен, я гордился собой.



**Вадим
АНТОНОВ**

Возвращение

Чех-проводник возвратил мне билет, поезд втащился в Москву, — в город, в котором почти сорок лет я, хоть и редко, живу в доме, где темная арка сыра, а между гипсовых ваз посередине пустого двора спит доживающий вяз в шишках подагры на серой коре, с радикулитом от стен, замкнутых в гулкий колодец-каре, и в паутине антенн, с крыш, наблюдающих крону и ствол...

Ключ повернулся в замке.
Здравствуй, стулья и письменный стол,
приобретенный в «комке»,
книжные полки, двугорбый диван,
страж моих снов и бесед!
Здравствуй и ты, Тимофеев Иван,
мой незабвенный сосед!
Все-то ты куришь с такого ранья,
бьет тебя кашель до слез.
Но от болезни подарок я из-за границы привез —
дай только вот распакую портплед
да сполосну стаканы...

— Ну, так за встречу?
— За встречу, сосед!
Водка из братской страны освободителям слаще,
чем мед.
Что ж, золотая душа, рад тебя видеть! Погнали?
— Вперед!
— Х-ха!
— Хороша?
— Хороша!.. Значит, пошло сокращенье?
— Пошло.
— Ну, и куда ж ты теперь?
— Кто его знает, найду ремесло...
— Не дуранут, как тетерь?

Как-то уж сразу, быка за рога.
— Дембель, сосед, не расстрел.
— Слышал по телеку —
образ врага в ядерный век устарел?
— Слышать-то слышал, но бывший майор
вроде ненужной лузги?
— А! Я еще неплохой бутафор. Пудрили немцам мозги — ставили чурочки вместо ракет, дескать, вершим чудеса.
Если я запросто делал макет, что мне поставить леса?
— А Катеринушка, значит... Прости, — может, я зря?
— Ничего. Кинул по-русски на гроб три горсти...

Вздоргнем?
— Ты, Леха, того... Как-нибудь малость полегче тужи.
— Разум душе не судья.
— Это ты прав... Ну, тогда Расскажи, как сейчас Прага? Ведь я
сам в сорок пятом в нее на броне въехал по майским цветам!.. И костыли мои выдали мне
после ранения — там.
— Прага стоит.
— Ну, а чехи? Опять плохи им наши рули?

— Может, и правильно, — что им с нас взять?
Переводные рубли?
Им наша братская дружба — вот тут!
Славно, конечно, дружить,
только когда эта дружба — хомут,
кто ж будет ей дорожить?
СЭВ наш, как бык, и могуч и весом,
а голова — без царя.
— Что же тогда, в шестьдесят-то восьмом,
мы помогли им зря?
— Ты помогай, а как жить, не вели.

Что им — молиться на нас?
Если б мы танки тогда не ввели, может, тогда и сейчас
воду мутили бы лишь пацаны...
Если б мы были умней — не было бы ни берлинской
стены и ни уродов-парней, что возвратил благодарный
Кабул, — тут очевидная связь.
— Это ты, Леха, не слишком загнул?

Знаю, политика — грязь,
а все равно растравил потроха!
— Ну, так давай свой аршин... Вздогнули?
— За сокращение!.. Х-ха!..
— Как, дядя Ваня, твой сын?
Мы же с ним вроде погодки?

Слыхал, нынче большой человек?
— Юрка-то? Ну, не дурак, не нахал — гладкий, пре-
стижный. Как чек: поверху «фирма», а снизу — цена...
Вроде неплохо растил, только нет-нет и прищучит
вина — где я его упустил?
— Слишком ты строг, Ерофеич.

Престиж — это достоинство.
— О-о!
— Только под вывеской.
— Нет, брат, шалишь! Вывеска — это одно,
а вот достоинство...

Помнишь Сашка?
— Юркина сына? Еще б!
— Юрка, конечно, большая башка...
— Да и внучок, небось, лоб?
Помню, как важно сидел на горшке!
— Сын, говорю, не дурак...
— А вспоминаю-то я о Сашке — нету Сашка-то ведь!
— Как?!
— Умер. Давай помаленечку... Х-ха!...

Умер полгода назад.
Без уваженья престиж — чепуха.
Вроде как орден на зад
после позорной афганской возни —
где здесь достоинство? В чем?

Сам обверзался — себя и казini!
— Ну, а Сашок-то при чем? Не понимаю.
— А что понимать? Скурились мы, старики!
Все в Парке Горького, в лоб нашу мать,

ищем родные полки,
все утираем скупую слезу, воины-богатыри!
Вот и застряли у мира в глазу, как динозавры в двери,
а перед внуками от похвальбы слюни пускаем с губы!
С детства втемяшили: «Мы — не рабы!»,
а оказалось — рабы!

Сталин шушукался с Гитлером? Факт!
Значит, куда дали крен?
Разве поляки забудут нам пакт тридцать девятого? Хрен!
Тот не разинул до времени рот, этот проспал,
как в гробу...

Что мы не знали, что каждый народ
сам волен выбрать судьбу?
Только теперь просветлело в башке?
«Жертвы великих побед!»

Что же тогда говорить о Сашке?
Первый пример ему — дед!
Если мы сны принимали за явь, это его ли долги?
Он возвратился от духов, представь,
тоже без правой ноги!
С тою же Красной Звездой на груди!

Это преемственность? Бред!
Я бил фашиста, меня и суди, «жертву великих побед»!
— Зря не клепай на себя, старина.

Ваше прощенье — война.
Если надела ярмо вся страна — это и наша вина. Все
виноваты. Кровавых концов в частной вине не найдешь.
Всем нам нужна была слава отцов, как от онколога ложь.
Видимо, этим болел и Сашок... Как он погиб?

— За дружка.

Васька Еремин, его корешок, спас под Кундузом Сашка, ну и сдружились — ведь тот, кто нас спас, чаще роднее родни. Не расставались в Москве ни на час

и «доросли» до фигни: стали на пушку выкручивать дань с миллионеров-дельцов.

— Да, робингудство не путь...

— Перестань!

Что же — стыдить подлецов,

нагло ограбивших весь СССР и проживающих флаг?

Есть хоть паршивенький миллионер,

вышедший из работяг, чтобы менял каждый год по авто? А из тузов? До черта! Стало быть, что-то в системе не то или идея не та!

— Ты хоть какую идею возьми — все они дочери лжи, если мы сами не будем людьми...

— Нет, дорогой, не скажи, — прежде чем люди швыряли в людей

камень, ядро и фугас, разве не шло столкновенье идей? — Выбор зависит от нас.

— Если бы! Завтра спустись божество,

чтобы спасти этот мир, как мы поступим с ним? Как Божество!

Вот наш верховный кумир!..

Ты говорил о достоинстве, — мы были его лишены, раз не схватились со зла за лопаты. Трусили! А пацаны взяли и создали группу КАМО¹ при

интерклубе ПАТРОН². Мы от Сашки получили письмо после его похорон.

Юрка в Европах, сноха с того дня

здесь не бывает почти... В общем, осталось письмо у меня.

Но, если хочешь, прочти — может, подскажешь, где я сплывал.

— Я не судебный эксперт.

Но Тимофеев уже доставал сложенный вдвое конверт.

«Здравствуйте, мамочка, дед и отец!

Видимо, это письмо будет последним — подкрался капец, и выяснилось само то, что так трудно искал я в себе, переживая Кундуз, давший мне два костыля в Душанбе,

горечь стыда за Союз, а заодно за себя и за вас, — каждый был честен в уме, а между тем по макушку завяз в самом вонючем дерьме! Я не озлобился, это не бред, дело совсем не в ноге — пусть о ней думает велосипед! —

но у художника Ге есть полотно, на котором Христос и Прокуратор-свинья как бы без слов задают нам вопрос:

кто из двоих твое «я»? Может, не очень хороший пример

взвесить поступки свои, но по поступкам я — легионер.

В войске той самой свиньи. Я убивал, и, увы, не за страх, мне незнакомых людей. Что позабыл я в афганских горах? Если во имя идей «дружбы народов могучий оплот»

косит нас, вместо травы, то почему Иенг-Сари и Пол Пот были тогда не правы? Словом прикроется каждый злодей,

братством клянется и вор. Не существует на свете идей,

чтоб оправдать мой позор — Что если б тот же несчастный душман

влез бы в Россию, скорбя о положении в ней мусульман, и застрелил, дед, тебя? Мне бы понравилось это? Отнюдь.

Я неспроста одинок и неспроста не цепляю на грудь выданный мне орден, если невесты глядят, как враги,

ратный наш подвиг кляня: Танька сбежала не из-за ноги, а от стыда за меня —

я «воевал не за тот идеал», и оправдания пусты! Что ей, что я там колодцы копал,

строил больницы, мосты, — я убивал, а не кто-то другой, вот и турнули взащей!

Дед заплатил за свободу ногой, я же отделался ей

за неумение думать — уму

нужно служить, как Стране!

Лучше мне сесть на три года в тюрьму,

чем замараться в дерьме?

Лучше б я спас динамитом Байкал,

местный взорвав комбинат!

Раз я себя не в Отчизне искал, кто же теперь виноват?

Ищет виновников только, слабак,

чтоб не сознаться в вине.

Кто обвинит неизвестных собак, что виноваты в войне?

Их оправданье — Приказ и Устав,

наше — Устав и Приказ.

Кто ж виноватей из нас — комсостав или я сам,

грешный аз?

Без искупленья признание вины не принимают в расчет.

Бравым участникам этой войны

выписан правильный счет.

Только в отличие от тысяч ребят,

мертвых и в госпиталях,

взрослые дяди платить не хотят планками на кителях.

Значит, в ответе за все только мы.

Кто португальский народ

вырвал из мрака фашистской тюрьмы?

Армия!

Старый урод

не превратил ее в черную рать, Родина — вот ее боль!

Всякая армия будет играть только жандармскую роль,

если она не следит за своим дряхлым диктатором

и,

ежели тот пропивается в дым,

в крепкие руки свои не забирает до времени власть!

Сталин свихнулся с ума?

Брежнев и тот накуражился всласть —

вычистил все закрома,

взял всю страну на семейный подряд!

Если у Армии есть, как вдохновители нам говорят,

сила, достоинство, честь,

если она в самом деле — народ,

только с оружием в руках,

что бы и ей не сказать в свой черед веского слова?

Шарах! —

и будь здоров, дорогой демагог, Родина — не сирота,

дескать, у Армии много дорог, а за границу — не та!

Ан не сказали... И въехал наш полк

в непокоренный Кундуз.

Я до конца не исполнил свой долг

и возвратился в Союз

с тем, чтоб исполнить его до конца.

Армия наша, увы, все еще в цепких руках мертвеца,

спящего в центре Москва

под крепостного Кремлевской стеной.

Три поколения сирот,

не постоявших за страшной ценой, —

вот наш «могучий оплот»,

честно желающий взять себе в толк,

в чем его истинный долг,

но позабывший, что истинный долг —

жить у народа не в долг.

С этой высоты яснее видна общая наша вина.

Армия в нынешнем виде вредна,

ибо сегодня она беспрекословный душитель свобод!

Армию должен иметь

каждый свободный советский народ!

Родине надо уметь

вкладывать силу не только в слова громокипящих натур,

а в защищенные силой права всех без изъятья культур, —

вот куда клонит естественный ход логики нашей вины,

экипированный в дальний поход

правдой афганской войны!..

Лучший мой друг, к сожалению, усек

все это раньше меня.

Он был убит торгашом.

Но Васёк

вынес меня из огня, стало быть, я его вечный должник.

Вывод из этого прост:

прятал торгаш бриллианты в нужник,

нынче пускает их в рост,

значит, мой лозунг «Война — торгашам!»

только для них негатив,

ибо мешает подпольным пашам

через кооператив быстро отмыть воровскую деньгу

и закупить ею власть!

¹ — коммунистическая армейская молодежная организация.

² — патриотическое объединение неформалов.

Вы что-то ждали, я ждать не могу,—

честные вправе украсть
у спекулянта его миллион на интернат и приют.
Раз спекулянту не писан Закон, я им попорчу уют!
Мафия смертна! Бессмертье — ничье!

Вечная мафия — ложь!
Вы с ней смирились, мое старичье, не такова молодежь.
Если при вас Генеральный Торгаш,

ведший советский народ,
выпил Арал, испоганил Балхаш и отравил кислород,
то молодежь его внукам не даст жить по указке старья,
в каждой республике скоро создаст на золотишко ворья
Национальные Экополки — там, где резвился ГУЛАГ,
скоро проникнет во все уголки

красно-зеленый наш флаг!..
Это, конечно, еще идеал. Он не «ку-ку» по часам.
То, что меня ждет печальный финал, это я знаю и сам.
Но за меня уже все решено: мы — поколение-звено,
нас закаляли, забыв, что оно слишком перекалено
и потому так слабо на разрыв...

Право казенного — казнь!
Мне просто снится, что я еще жив и презираю боязнь
без сожаленья признаться себе,

что предрешил свой конец.
Только вы зря не пеняйте судьбе, мамочка, дед и отец,—
танк не задаром, как свечка, сгорел,
сброшенный в горный мешок,
и не напрасно безногий прозрел...

Всех вас целую!
Сашок».
Я возвратил страшный текст старику,
ежась от взгляда в упор.

— М-да... Хоть беги и давишь на суку...

— Так-то вот, бывший майор.

Брызнул мне внук скипидару под хвост.

— Знаешь, когда я жену в семидесятом отнес на погост,
я себе ставил в вину,
что Катерину при родах убил мой восьмимесячный сын...
Служба, учения... То, что я был все это время один,
стоило мне дорогого, поверь,

жил, как в цементном мешке,
думал, свихнусь от вины... А теперь
ты вот замкнул на Сашке
все свои вины и мучишь себя.

— Правды стыдиться не след.

Без покаяния, мир возлюбя, мир не построишь, сосед.
Слишком мы холили веру свою

в тридцать шестом и седьмом,
слишком лелеяли в смертном бою
с фрицем, ворвавшимся в дом.

В сорок восьмом ей простили опять,
балуя средствами цель.

И потекли наши реченьки вспять,
внучки пошли на панель, а обозленные внуки — в рэкёт.

— Рэкёт.

— Не все ли равно!

Может, и можно спастись от ракет,
а от судьбы — мудрено.

Сам бы пошел потрошить торгашей,
вот, брат,

как жжется письмо!

— Если мы станем давить их, как вшей,
с помощью этих КАМО,

что ж это будет — отъем-коммунизм?

— Внуков винить не с руки:

их лжеромантика — наш оптимизм,
правде вокруг вопреки.

Это наш страх слепоглухонемых,
жегший в печах образа,

взял и за все отыгрался на них,
чуть приоткрывших глаза.

Нет нам с тобою прощенья, сосед!

Он закурил «Беломор»,
перешагнул через чешский портплед

и заскрипел в коридор
старым протезом в кривом башмаке,

с мятым конвертом в руке,
в серой, как будто в нечистой муке, перхоти на пиджаке,

спрятавшем острые кости спины,
как в мешковине безмен,

как неосознанный знак глубины
ждуших всех нас перемен...



ДМИТРИЙ
РАКОТИН

Дети и
Юности

☆☆☆

Мы сели с ней
у синего пруда.

И слезней
увидели тогда.

За дымной горкой
солнце в лебеде.

И дынной коркой
месяц на воде.

И были те мгновения светлы.
Чего же слезы капали с ветлы?

☆☆☆

По сему осени без хруста
Не перейти в холодной сини.
И вся соломенная пустошь
Подобна гаснущей осине.

На индевеющие грядки
Пришла пора, пора финаля.
А месяц заигрался в прятки,
Остробородая каналья.

То он запрыгает беспечно,
То в мертвой спрячется фасоли.
Но скоро он уйдет навечно
На голубые антресоли.

Церковный купол пахнет раем,
Горит заря в озерной крынке,
И мы заранее справляем
По ней веселые поминки.

☆☆☆

Мы дышим ветром ослабевшим,
Мы урагана ждем пьянящего.
Читаем книги о прошедшем,
Чтобы не видеть настоящего.
Давно не веря в невозможное,
От верных книг выходим на люди.
И храбрость наша осторожная —
Скользим по жизни, как по наледи.
Нам ураган необходим,
Ведь мы в невидимой, но клетке.
А ночью с ужасом глядим,
Как мечутся по стенам ветки.
Все вечно валится из рук.
И мы вскипаем, словно дрожжи.
А Русь несется во весь дух.
Из рук выскальзывают вожжи.

☆☆☆

Прозрачно светится белье,
кусты, дороги, арки.
Прозрачно даже воронье.
Прозрачны лесопарки.

Прозрачны листья у реки;
летят, встречая зиму,
как чьи-то смятые стихи
редактору в корзину.

г. Харьков

Александр ЕРЛАШОВ

ВРАЩАТЕЛЬ СОЛНЦА

Я запомнил напечатанные когда-то «Комсомолкой» восемь строк Геннадия Головатого не так, как запоминаешь восхищающий совершенством шедевр, а как запоминаешь кусок человеческой исповеди, вырвавшейся из чьего-то обугленного рта, искореженного болью от произнесения собственных слов. С Геннадием Головатым случилось несчастье: его искорежила не подвластная нам сила зла, существующего и в природе. Но любому злу можно противостоять — даже природному. А вот врачи, махнувшие рукой на больного, помогли этому злу, стали его подручными. Помощь злу — необязательно осознанное действие, достаточно не помочь человеку, сгибаемому болью. Многих жизнь корежит, сгибает в дугу не физически, а нравственно. Мы этого не замечаем — эти люди нам кажутся стройными, сильными, вызывают зависть своей спортивной выправкой. Сколько морально горбатых расхаживает по земле, снисходительно подавая унижающую милостыню жалости горбатым физически. Физического уродства вообще не существует — существует уродство лишь духовное. В нашем обществе, столь зазнавшемся подчас кичащемся своей гуманностью, нет порой элементарной человечности к инвалидам. А ведь каждый из нас мог бы родиться инвалидом или им стать, и еще может. Наша так называемая «нормальность» — всего лишь случайность природы или биографии. Но эта «нормальность» превращается в фашизм, когда мы ощущаем себя частью нормальной, то есть высшей расы по отношению к инвалидам.

Статья Ерлашова — пронзительный человеческий документ. Я хотел бы, чтобы у меня был бы такой же друг, как у тебя, Геннадий.

Евг. ЕВТУШЕНКО

Он вычитал в медицинском справочнике, что его случай — один на миллион. Прогрессивная спинальная амиотрофия Вердинга-Гоффмана. С такой болезнью долго не живут. Когда ему было 22, он спросил врача:

- Сколько мне осталось?
- Полтора-два года. Ну, может, три.
- Спасибо, — сказал, а самого придавило. Пытался убедить себя, что это много.

Сейчас ему 48, более 40 из них он не ходит. Уже многие годы все держится только на воле. Он поднимается по утрам потому, что надо подняться. Точнее, кто-нибудь его поднимает, он даже на бок повернуться не может без помощи. Самое привычное ощущение — смертельная усталость. Но никто из видевших его об этом не подозревает. Уходят заряженные энергией, преобразованные, покоренные могучим духом почти совсем обессиленного человека. В нем столько доброты и мудрости. С ним так хорошо и просто и так легко, хотя ты здоров и силен, а он с трудом поднимает телефонную трубку. «Вес взял! — говорит, будто штангу выжал. — А вчера, старичок, боролся я с трубкой, боролся. — она меня победила».

Четверть века назад я видел его рисунок, и до сих пор стоит перед глазами фигура человека, схватившего руками лучи солнца и в неудержимом порыве подавшегося вперед. Рисунок называется «Вращатель солнца».

Художником он не стал, слишком рано иссякли силы. Все его образование — две недели в первом классе. Он член Союза писателей СССР.

Уже несколько лет часть жизни он проводит в наглухо закрытом железном ящике, напоминающем по величине и форме шифоньер. Это защита от излучения соседских телевизоров, которое он чувствует на расстоянии двенадцати метров. Сердце не выдерживает, будто воткнули в него остро очиненный карандаш, тяжело дышать, ощущение такое, что вот-вот развалишься. Только поздней ночью, когда отойдут соседи ко сну, покидает он свое убежище.

«Люблю, — говорит, — пожить на этом свете! Особенно, старичок, когда ты меня за ноги вытягиваешь. Это самое мое большое физическое наслаждение. Ох и насиделся же я!»

Железный он, что ли?

Как хорошо, что читатели «Юности» узнают о нем! А многие вспомнят. Наверняка вспомнят. Геннадий Головатый. В 1963 году на поэтическом конкурсе «Комсомольской правды» он получил первую премию за стихотворение «Сила».

Слепые не могут смотреть гневно.
Немые не могут кричать яростно.
Безрукие не могут держать оружие.
Безногие не могут идти вперед.
Но немые могут смотреть гневно.
Но — слепые могут кричать яростно.
Но — безногие могут держать оружие.
Но — безрукие могут шагать вперед.

Столько человеку досталось — давно бы мог ожесточиться. А он пишет: «Оставить след, ведущий к добру, — вот задача сознательного существования». Лишь строчки стихов да короткие записи могут рассказать, каково бывает ему наедине с самим собой. «Как хорошо, что вещи не умеют плакать: ведь только они знают всю правду обо мне».

Судьба сказала: «Червем... Червем будь!»
И перебила ноги, руки, спину...

И все твердила: «Ты — гоним. Гоним!»
Светлица в доме стала мне темницей.
А в сердце у меня взмывали птицы —
Какие дали открывались им!

Но до стихов еще надо было дожить. Надо было не просто выжить, но воспитать в себе высокую душу, найти себя в этом мире, поступившем с ним так жестоко. Чувствовать себя «парусом в океане без берегов» и не поддаться отчаянию.

Родина Гены — поселок Аксеново-Зиловское Чернышевского района Читинской области. Это километров пятьсот северо-восточнее Читы, если по железной дороге. Отец — плотник, мать — домохозяйка. Жизнь их прошла в непрестанном труде. Отец с шести лет лошадей погонял на пашне, мать девчонкой батрачила у попа. Образование получили полтора класса, читали шепотом, по складам. Было в семье десять детей, четверо умерли еще до рождения Гены, остались он да пятеро сестер.

«Поражаюсь, как мать сводила концы с концами. Спичек купить не на что. Ты можешь такое представить? На третьем году я заболел корью. Прошла она, а я все хилый, спотыкаюсь, падаю. Врачи обнадежили, подрастет, мол, окрепнет. Но уже в школу пора, а я улицу не могу перейти самостоятельно. Учителя меня отдавать не хотели: какой смысл? Все равно работником, кормильцем не буду. Старшая сестра Катя уговорила родителей. Первый раз мать меня на руках отнесла в школу, это метров семьсот от нашего дома. Потом отец тележку сделал, стали ребятишки возить. На переменах я оставался в классе, а как-то во время урока попросился выйти, пошел вдоль стенки — и не могу идти. Так недели две проучился, а тут картошку в поле начали копать. Аврал, все в хлопотах. Матери не до меня, сама еле ноги таскает: «Некогда с тобой возиться. Картошка померзнет — что зимой есть будешь?» На этом мое образование и кончилось.

А скоро я совсем заболел. Бредил. Три недели не ел ни крошки. Когда выздоровел, ходить уже не мог. В четырнадцать лет перестал и ползать, просидев всю зиму на диване. Весной захотел на волю, сполз, руками упираюсь, а силы в них нет. Потыкался лицом в пол... Такая была жизнь. Чего только на мне не перепробовали!..»

Медицина оказалась бессильной. Это правда. Естественно дальше продолжать: врачи ничем не могли помочь. Но это, увы, не так. В 1955 году лежал он в Чите в диспансере.

Соседи по палате говорят: «Генка, ты криво сидишь, смотри, скобочишься. Скажи врачам, чтоб корсет сделали, ты ж растешь».

«Зашли на обходе в палату заведующая отделением Сусанна Насифоровна Соколова, лечащий врач Алла Акимовна Чернышова и еще двое. Я тогда просто идеален был по сравнению с теперешним. Алла Акимовна, говорю, спина искривляется. Все четверо улыбнулись, а Соколова: «Лишь бы голова не искривлялась!» Хохотнули и ушли. Знали, что я не жилец. Зачем же стараться? Но не дело судить, жить человеку или нет, дело помочь. Я эту мысль выстрадал».

Могли ведь помочь! Прямой же он был, и все вывернулось из-за этих... всю жизнь теперь мучится.

Ночью два-три раза Гена просыпается: если не перевернуть его — задохнется. Однажды на всю ночь он остался один. В поезде. Когда, раздраженная тем, что в ее вагон посадили инвалида, проводница зло захлопнула дверь купе, по телу пошли мурашки. Если уснет и завалится на спину — конец. Привалился на бок, перемаялся. А проводница в матери ему годилась. Утром зашла подметать: «Может, что надо?» — «Нет, спасибо». И мужик-пассажир, которого она вечером из этого купе в другое перевела, чтобы вид инвалид ему не портил, полубошкетствовал, проходя мимо: «Ну как доехали?» Внимание, вишь, проявил. Эх, люди!

Как вы прекрасны, люди! В городе Фрунзе так получилось, что некому было с Геной остаться на ночь в гостинице. В тот вечер к нему заглянул Осип Премингер, парень лет двадцати из молодежной газеты. Обзвонил он своих знакомых — никто не может прийти, а у него отец заболел, сердечник, и телефона дома нет. «Давай, — говорит, — я тебя спать положу. Ты сколько в таком положении можешь? Значит, я через три часа приду». А идти ему в одну сторону час. Так всю ночь и ходил. Утром поднял Гену, устроил поудобнее — и на работу.

Был еще такой парень в Магадане. Да сколько их, добрых и верных друзей встретилось на его пути!

Как не вспомнить Юру и Миру Астаховых! Это у них Гена нашел пристанище, когда оказался меж землей и небом. Юра — сам инвалид, парализованы ноги — двадцать пять лет из пятидесяти провел в больницах. Кто же выручит инвалида, если не брат его по судьбе? То, чему здоровые люди удивляются, как проявлению благородства и самоотверженности, инвалидское братство считает естественными человеческими отношениями. «Мои друзья восхищаются вами, Мирочка». — «Да что ты, Гена! Чем же?» — «Вы уже столько времени не смотрите из-за меня телевизор». — «Так ты думаешь, Геночка, мы не хотим? Мы просто терпим».

Так же, без лишних слов, терпела она, когда в их квартире собрался «съезд инвалидов»: кроме Головатого, жили еще Геннадий Гуськов и Михаил Карев, у обоих ноги парализованы. Гена перебрался тогда к Данилевским. Милые люди, они для него все равно что родные — Константин Николаевич, Лариса Васильевна, сын их Кирилл.

Когда у него выходит новая книга, он в большом затруднении: надо полтысячи экземпляров подписать, чтоб друзей не обидеть. Собрать бы всех вместе — какой получился бы праздник! И чтоб обязательно была на празднике одна женщина, врач. Он видел ее в Чите, в диспансере, четверть века назад и не знает даже ни имени, ни фамилии. «Нас в палате пятнадцать человек было, и каждому она успевала хоть слово сказать, улыбнуться. Когда она заходила в палату, жить хотелось. Такая доброта в улыбке! Кажется, скажи ей: умри за меня, чтоб я жил, и она умрет. Хотелось для нее умереть...»

Где вы, милая, кто вы, несущая свет? Как он нужен был, свет в душе, тому жутко одинокому, бесприютному мальчишке, на которого надвигалась не знающая пощады жизнь. Надежда на то, что сможет ходить, рухнула. Что впереди? В чем смысл его существования? Годы идут, кем он станет? Никем! Думал — писателем. Но прочел о Павке Корчагине, и книжка его убила. Вот что понял: Островский описал свою жизнь — борьба, революция, такие события! А ему что описывать? Как курит и пьет? Без курева уже не может. Сполз в больнице по ступеням в поисках папиросы, затянулся — ох как хорошо! Рабом становится. А вино... Кто тогда об алкоголизме понятие имел? Пили все — обычное дело. Но настало утро, когда проснулся дома на летней кухне от страшной жажды — выпить? (Накануне вечером дружки завалились.) Все силы собрал, чтоб достать из-под койки вчерашние бутылки, налил ложку — такое блаженство! Испугался: это же все, кранты! До чего допился. Кому он нужен? Мать как-то именно эти слова сказала. Сестры заве-

ли при ней разговор: Нине свадьбу сыграем, Мане... А Лидя говорит: «Сначала — Генке». — «Кому он нужен?»

«Сердце сжалось. Я всегда, старичок, хотел иметь много детей. Это самое мое сокровенное было, тайное. Не деньги, не богатство, не слава — дети! Но мне не дано, я «черный». Мы же видим себя глазами окружающих. Через много лет занесла меня судьба с другом моим Алексеем Мальцевым в Мелитополь. Двинули вечером поесть в ресторан, что при гостинице. Вход с улицы, идем к двери, как равноправные граждане Союза. То есть Леша меня катит, сам понимаешь. А в дверях — тетя с административной уверенностью с своей правоте: «Вы куда? Нельзя». — «Почему?» — Жест в мою сторону: что, мол, это за чудо морское. Подошла еще тетка чином постарше. «Вам нельзя! — осуждающе. — На вас смотреть будут». — «Пусть. Мы тоже будем на них смотреть». Не пустили. Алексей очень переживал. А я на такие вещи смотрел философски: начнешь разбираться, никто ведь не виноват. Так воспитаны. Это сейчас выяснилось, что у нас миллионы инвалидов и они, оказывается, тоже люди.

Когда на тебя смотрят сверху вниз, чувствуешь себя недочеловеком. Мне стоило немалого труда избавиться от этого. Но в ту пору я себя за человека не считал. Угнетало нахлебничество, в крестьянстве нахлебников не любили. Все в работе с утра до ночи. Стихи писать — кому надо? Смотрели, как на забаву. Мне родители за всю жизнь ни одной книжки не подарили. Так что для общества я бесполезен, семьи быть не может, места в жизни нет и не будет... Подумал я, понял — выхода нет. Выкарабкался в коридор — и на летнюю кухню. Абсолютное равнодушие было, жить не хотелось. Страху никакого: я ж ничего не теряю. Взял веревку, повесил на дверную ручку, всунул голову в петлю, готовлюсь свалиться с табуретки. И стучит знакомый мужик Иван Сохин: «Генка, ты че закрылся? Давай в шахматы сыграем». Спрятал я веревку. Он меня вынес, посадил на скамью, стали играть. В общем, грядет мне мат. Сдаюсь, говорю. И только сказал «сдаюсь» — увидел не просто спасение, выигрывающий ход. Но уже поздно. Тут как выстрелом мысль: сдамся, покончу с собой, а выход — вот он, рядом. Это меня ошеломило. На доске мат. Но если отдаст все... Понимаешь? Жертва ферзя! Спасанье от мата, а через несколько ходов ферзя проходит моя пешка, и я побеждаю. Много после этого было моментов, когда жить не хотелось, но я думал: никогда! Нет безвыходных положений! Есть трусость и слабость. Вопрос о самоубийстве был решен на всю жизнь. Никогда, как бы ни было, я не уйду добровольно.

Осенью 59-го я стал умирать. Болело сердце. Пошли холода, на прогулку меня не выносили. Круглые сутки в четырех стенах. Положат спать — начинаю обмирать, теряю чувствительность, вот-вот сердце остановится. Меня спасла песня Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь!». Если б философ, мудрец говорил то же самое, о чем в песне поется, он бы меня не убедил. А поэзия убедила. Вот представь: ночь, темно, все спят. Мне худо. Тихо-тихо включил приемник — и вдруг: «...музыка Колмановского, слова...» Песня только появилась тогда. Мне стало светло внутри, радостно. До этого я блуждал в темноте, а тут: иди туда! Вот это поэт! Я почувствовал в Ваншенкине единомышленника. После этой песни я захотел жить.

Теперь его уже ничто не могло сломить. Поэзия дала ему веру, надежду, любовь. И радость.

Что судьба ни сулила бы мне,
Я готовлю себя к неудачам,
Как готовят солдата к войне,
Чтобы не был врасплох он захвачен.

А когда неожиданно встречу
Вместо пропасти поле в цвету,
Лишь острее пойму красоту
И восторженной счастьем отвечу.

Жить ему помогали Пушкин, Лермонтов, Горький, Некрасов, Есенин... Для себя он сделал интересное открытие: громкие, с пафосом, жизнеутверждающие стихи его не волновали, а вот грустные помогали, поддерживали. Читая Есенина, понял: надо выражать себя с максимальной открытостью, поэзия в душе человека. Стал писать. В местной газете появилась первая подборка стихов. Духом воспрял, но физически становился все слабее. Ему было двадцать лет, когда он узнал, что такое борьба не на жизнь, а на смерть. Родители куда-то уехали, он остался дома с сестрой Лидой. Попросил, чтоб она его положила спать в летней кухне.

Взял с собой томик Пушкина. «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты нам дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена?» В четыре утра Лида встала выгнать в стадо корову, перевернула Гену на другой бок и ушла в дом досыпать. А он уже заснуть не мог. Тяжело дышать. Все тело холодеет. Почувствовал: если не повернется — умрет. Крикнул во всю силу несколько раз — нет, сестра не услышит. Тьма. Он один на один с подступающей смертью.

Надо сесть, но как это сделать: уже два года он сам не встает с постели, так ослабили руки. Надо сесть, и, значит, нужна опора для ног. Табурет! Он рядом с койкой, но рукой не дотянуться. Набросить петлю. Подтянуть табурет. Так, значит, надо вытащить из штанов веревочку, на которой они держатся. Взять газету со столика. Свернуть трубочкой. Привязать к ней веревку. Сделать петлю. Отдышаться. Сколько времени прошло? Час? Полтора? Остается накиннуть петлю. Теперь подтянуть... Наконец ему удается немного подняться, но сил не хватает, он падает на спину. Начинает задремывать. Тело немеет. Подняться! Собрать всю силу, всю, что есть в его теле! Напряжение титана, еще немного — и снова падает. Ночь. Никто не поможет. Он, который недавно сам едва не лишил себя жизни, теперь не отдаст ее без борьбы, пока жив. «Я, смертный, со смертью — в ножи!» — его слова, Головатого. Надо подняться!

Когда он сел, на столе у поссовета заиграло радио. В семь часов оно начинало играть. Каждой клеточкой тела ощущал он в тот миг абсолютное изнеможение. Больше отдавать было нечего. А душу заполнило ликование: «Я могу одолеть! Значит, я пойду дальше!»

Ты — Вращатель Солнца, братишка! Для других оно всходит каждое утро как вечный подарок, а тебе самому приходится выкатывать его на небо. Такая дана тебе сила.

Головатые в Читу перебрались. Здесь и вошла она в его жизнь, тоненькая, изящная, самоотверженная. Работала Люба освобожденным комсомольским секретарем в строительном управлении. Они поженлись. 28 ноября 1968 года у них родилась дочь Иванна.

Сбылась самая затаенная мечта. Он нашел счастье. И работал как проклятый, чтоб прокормить семью. Вышла в Иркутске книжка стихов «Не забыть и не вспомнить». Изнемогал от усталости: был литконсультантом в газете, писал статьи, рисовал, делал сувениры для предприятия художественных промыслов. Подрастала Ивушка. Радовала и пугала: грустная была, находили приступы тоски. Однажды он стал рассматривать групповую детсадовскую фотографию. То, что увидел, его потрясло. Он прочел на челе дочери отсутствие жизни и понял, что она обречена. Все остальные годы жил под бременем открывшейся ему тайны. В четыре годика дочь спрашивала: «Папа, а зачем люди живут? Зачем вся Вселенная существует?»

Когда Ивушка уже в первый класс ходила, заметили на шее припухлость, но значения не придали. В это время у Гены умерла мать.

«Вещь страшная для меня: никогда с мамой не было контакта. Я не чувствовал ее ласки. А когда она умирала и уходило дыхание, жизнь бы отдал с радостью за один ее вдох».

Потом он сидел над гробом и чуть ли не впервые в жизни держал ее за руку.

Скоро Люба уехала в Крым, в село Черноморское. Там жила сестра Гены Валя и можно было недорого купить дом. Решили перебраться к теплу. Меж тем опухоль у дочери стала больше, ее положили на обследование.

«Через неделю врач Ивы сказала мне по телефону: лимфосаркома. Что такое саркома, я знал — дикie боли, мучения. Неизлечимо. Надежды врач не оставила. Положил я трубку, поднял глаза и увидел в зеркале перед собой, как седеют волосы на голове. Озноб по спине. Крах. Весь мир, который выстроил, все, на что надеялся, рушится. Она мне единственной надеждой была. Чуть позже позвонила Ива. Щебет, я слушаю ее, утешаю, что все пройдет, скоро будет дома, а у самого слезы текут. Любе решил пока не сообщать, сказал только отцу. Два дня, две ночи не мог заснуть. Позвонил врачу: «Вы уверены?» — «Да». — «Но ведь может быть ошибка. Могли бы вы направить в Москву?» — «Только если б были сомнения».

Он решил лететь на свой страх и риск. Повез их, отпросившись с работы, журналист Коля Богданов. Было 28 декабря.

Сколько ж ты перенес, братишка! Я знаю твоё мужество и бесстрашие. Знаю, как в юности восемь месяцев ездил ты

сам по стране. Как закончилась крахом семейная жизнь и ушел ты из дома, чтобы жить, словно птица, меж землею и небом. Разве мог ты подумать, что будут еще и любовь, и семья, и дом? «Ушел»... Помню, как жил ты в Москве на квартире, целыми днями оставаясь один и порой даже вечером не зная еще, кто из друзей сможет приехать к тебе ночевать. Это трудно представить, и все-таки... Ты был сам по себе. Но здесь с тобой маленькая, больная дочурка. И вот наступает момент, когда Коля Богданов, оставив вас в гостинице, уезжает... А ты прикован. Ты ничем не можешь помочь бесконечно любимому существу. Ивушка забралась на стул, просунула ножки между сиденьем и спинкой — застряла и плачет. «Погоди, — утешаешь, — сейчас позвоню, тетя придет». И не можешь трубку поднять — нету силы. А дочка плачет. И ни шагу тебе не ступить. А Москва готовится встречать Новый год. «Успокойся, дочуля. Давай вместе подумаем, как тебе выбраться. Вот и все. Успокойся. Дай-ка мне трубку. Набирай номер...»

Выше голову, дочь, выше голову!
Только голову не опусти!

Он обзванивал всех, кого знал, слыша на том конце провода только «ахи» и «охи». Один раз сказали: можно устроить в районную больницу, но нужно две тысячи. Выручил журналист Валентин Свинников, земляк. Виделись с ним лет десять назад, знакомство шапочное. Но бросил человек работу, несколько часов просидел в Минздраве, а направление Иванне в онкологический центр достал. Месяц, пока дочь обследовали, Гена жил в гостинице. Очень помогла ему в этот период Люда Ярославцева, медсестра, давний, надежный друг. Иногда приезжала после дежурства ночью, а в шесть утра ей надо было вставать на работу.

Прилетела Люба, забрала Ивушку с собой в Черноморское. А он вернулся в Читу, чтобы решить все вопросы, связанные с переездом. Дочь прожила еще два с половиной года. И все это время жизнь его подчинена была одной цели: спасти! Найти лекарство. Он узнал об этой болезни все, что мог. Консультировался со светилами науки. Разыскивал знаменитых травников. Пробивался к тайнам тибетской медицины. И работал, работал над новыми книгами, непрестанно борясь с нуждой. Дочь на «отлично» окончила второй класс. Но вскоре ей стало плохо, почти не ела, ослабла совсем. Врачи говорили «Приготовьтесь к худшему». А он заставлял Любу: «Пои травками!»

И снова Ивушка пошла в школу.

«Она всегда искала какой-то потаенный смысл жизни, неизвестный мне. Когда лежала в больнице в Симферополе, сочинила вот эти стихи:

Пишу. Ищу.—
И все напрасно.
Лишь только вихрь кружит во сне.
А ты ушла —
И не придешь обратно.
Так грустно мне.

Но ты сказала мне: «Постой!»
Как будто — солнечно и ясно.
И ты открыла свет земной,
Который никогда не гаснет.

Через год она умерла у меня на глазах. «А ты ушла» — это о жизни. «И не придешь обратно».

Когда Ивушку привезли из роддома, он увидел у нее на правой ножке, чуть выше колена, родинку — на удивление четкую пятиконечную звездочку. Унеслась его земная звездочка на небеса. «И шуршит планета береговой галькой, как в муках раскаянья скрипят зубами».

Тебе не в чем раскаиваться, дорогой мой, любимый друг. Разве не сделал ты невозможное, чтобы спасти дочь?

Ива, Иванна, Ивушка, если я по тебе печалюсь, каково твоему отцу? Но не слышишь ты голос его страдающий:

О, зачем я остался, за что —
Одиноким, как мамонт оттаявший!

Геннадий Головатый. «Два мира — в мире». Это отсюда строчки, из новой книги. (Москва, издательство «Современник», 1987.) Она все время лежит на моем столе. Я всегда ее открываю на той странице, где напечатано крупно: «Памяти дочери».

С. КОРМИЛОВ

«...ОБОГАТИТЬ СВОЙ УМ И СЕРДЦЕ...»

Всякому, кто читал сочинения абитуриентов, особенно по советской литературе, трудно потом восстановить веру в человечество. «Это Барон, прозванный так за то, что когда-то был то ли купцом, то ли князем...», «Выбирая себе платье, она говорит, что оно должно быть непременно с эмблемой серпа и молота, так как без этого сейчас не выйдешь на улицу», «Вождь партии представляет собой ее лицо и правую руку. И по ней все равняются», «Писатели, следующие методу социалистического реализма, не только выносят свой приговор действительности, но и приводят его в исполнение»...

Очевидно, что выпускники школ просто не слышат современную литературную речь как литературную. Советская литература для них — это барабан, сплошные лозунги и бесконечное назидание. В сочинениях по ней надо лицемерить, как лицемерят старшие. Где? Да в учебнике «Русская советская литература» для 11-го класса средней школы под редакцией заслуженного деятеля науки РСФСР профессора В. А. Ковалева, написанном ленинградскими докторами филологических наук, утвержденном Министерством просвещения РСФСР и вышедшем в 1989 году в издательстве «Просвещение» 11-м изданием¹. «Желаем вам обогатить свой ум и сердце великими нравственными ценностями советской литературы, полнее и глубже понять ее становление и развитие, ее роль в идеологической жизни, развить художественный вкус...» — патетически гласит предисловие.

Может быть, тут и нет лицемерия, может быть, ученые авторы еще недавно свято верили во все, что писали. Но зачем это теперь переиздавать? Совсем без учебника было бы не просто лучше — лучше в тысячу раз.

Если ребята слышали хоть что-нибудь о противоречивости нашей истории, о ее трагизме, о том, что изуродовало, в частности, советскую литературу, погубило и искалечило судьбы многих ее представителей, то докторам наук остается только сдать свои аттестаты зрелости: они, оказывается, не слыхали ни о чем подобном. Оказывается, вся наша исто-

рия в XX веке — сплошные победы и ликование, народ в этой истории — «хозяин собственной судьбы», а наша страна — образец для всех остальных: «Освещая опыт социалистического строительства, наша литература открывает зарубежному читателю реальные пути борьбы за светлое будущее». Литература эта в целом стоит так высоко, что исторически ограниченной классике XIX столетия решительно никак до нее не дотянуться: «Советская литература продолжает традиции классики, но не повторяет их. Она идет дальше, к эстетическим открытиям...»

Единственное в учебнике упоминание о культе личности — констатация его преодоления. «Критика партий нарушений социалистической демократии в годы культа личности, усиление внимания к идеологическому воспитанию людей в духе советского патриотизма и интернационализма открыли новые возможности для развития литературы». Значит, были только какие-то нарушения демократии, но, стало быть, была и демократия, а недостатки были преодолены усилением идеологического воспитания (уж куда было его усиливать после годов культа!). Слово «репрессии» в учебнике, разумеется, отсутствует. Не знают авторы и слова «застой». Они считают, что с самого начала 50-х годов наступила современная эпоха, в которой ничего существенно не менялось. «Четыре десятилетия послевоенного литературного развития представляют целостную эпоху литературы развитого социализма...» То, что уже начало 50-х годов есть «развитый социализм», лихо даже для времен провозглашения этого новшества взамен отступившего вместе с горизонтом коммунизма.

Правда, почти вся достойная внимания литература по-прежнему осталась в пределах социализма недоразвитого. В монографических главах все те же классики: Горький, Блок, Есенин, Маяковский, Фадеев, Н. Островский, А. Толстой, Шолохов, Твардовский; обзорные главы — «Возникновение литературы социалистического реализма» (так определена вся литература конца XIX — начала XX веков, а что не втискивается в определение, то с негодованием порицается), «Октябрь и литература» (о 20-х годах), «Советская литература 30-х годов», «Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет (1941—1950)» и «Советская литература 50—80-х годов». Причем в отношении сего последнего периода бесполезно искать, например, сведения о Твардовском как авторе поэмы «По праву памяти» или хотя бы главы «Так это было» из поэмы «За далью — даль», как редакторе «Нового мира» (такого явления в литературной жизни 60-х годов, видно, не было). Нет ничего и о творческой и личной трагедии А. Фадеева. Если о Есенине сказано хотя бы то, что он «ушел из жизни трагически преждевременно», а о Маяковском: «14 апреля 1930 года он ушел из жизни. Не завершены были творческие замыслы, не осуществлены планы поездок и встреч с читателями...» — то Фадеев словно вовсе из жизни не уходил, будучи занят весьма плодотворной общественной и государственной деятельностью.

Не было никаких проблем и у Блока после революции. О том, что поэма «Двенадцать» за границей была издана под заглавием «Большевистские песни», говорится дважды через страницу, но не вспоминаются горькие слова Блока об исчезнувшей «музыке», то, что привело к его молчанию как поэта в последние годы жизни. Еще проще с Гумилевым, Мандельштамом, Цветаевой, Замятиным, Пильняком, Бабелем, не говоря уже о В. Гроссмане, В. Некрасове, А. Солженицыне, Ю. Домбровском и прочих личностях, которых авторы сочли за благо вовсе не упоминать в отличие, скажем, от Ф. Шкулева. Пастернак и Ахматова упомянуты как поэты, в 20-х годах превозмогавшие камерность (последняя еще как автор патриотических стихов в годы Великой Отечественной войны). Имена Булгакова и Платонова прозвучали один раз в общем списке советских писателей после имен Ф. Gladкова, Д. Бедного и других, вслед за чем о них обо всех сказано: «Творчество советских писателей отличают партийность позиции, сила правды, революционный пафос...» Упомянут «иронический сказ М. Зощенко»: Михаил Михайлович, а также Ильф и Петров «утверждали новое качество сатиры социалистического реализма, в своей критике воодушевленной идеалами эпохи». Естественно, за это их никто никогда не смел и подумать порицать. О знаменитых постановлениях ЦК ВКП(б) в книге говорится: «Для развития литературы послевоенных лет имели серьезное значение постановления ЦК КПСС (1946 и 1948 гг.) по вопросам литературы и искусства. В них была подчеркнута мысль о необходимости глубокого и правдивого изображения действительности». Вообще

¹ Авторский коллектив составили: доктор филологических наук В. В. Бузник; академик АН СССР А. С. Бушмин; доктор филологических наук Н. А. Грознова; доктор филологических наук П. С. Выходцев; доктор филологических наук Л. Ф. Ершов; заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук В. А. Ковалев; доктор филологических наук К. Д. Муратова; доктор филологических наук А. И. Павловский; доктор филологических наук В. В. Тимофеева; доктор филологических наук А. И. Хватов; доктор филологических наук В. А. Шошин. Но главная ответственность лежит, разумеется, на составителе — В. А. Ковалеве, на издательстве и республиканском министерстве.

если кто кого и критиковал, то только в 20-е годы, когда разные группировки разъедали здоровое тело литературы.

Вся литература была занята исключительно воспеванием исторических деяний и совершавших их людей, что и подняло ее на недостижимую высоту. В учебнике как будто специально подобраны из произведений такие цитаты, которые вызывают обиду за писателей, чьи надежды и сверхоптимистические прогнозы были столь жестоко скорректированы историей. Например, из «Матери» Горького: «Россия будет самой яркой демократией земли!» Когда она еще такой будет... Из «Хожения по мукам» А. Толстого: «Мир нами будет перестраиваться для добра...» Это, впрочем, уже не прогноз, это слова Рощина из благостного финала трилогии, создававшегося три-четыре года спустя после того, как подавляющее большинство Рощинных и Телегиных было поставлено к стенке. «Хорошую жизнь им построим, факт!» — так думает шолоховский Давыдов, глядя на детей. Но факты — упрямая вещь. «Маяковский, — сказано в учебнике, — сумел взглянуть на прошлое и настоящее с высоты будущего (что, по словам М. Горького, особенно характерно для советской литературы). Патриотическое гордостью и верой в будущее России пропизаны стихи поэта: «Отечество славою, которое есть, но трижды — которое будет». В 1927 году, при нэпе, это звучало соответственно замыслу Маяковского, и едва ли стоит удивляться последним строкам «Хорошо!». «Эти ликующие строки были написаны в ту пору, когда страна еще только готовилась к реализации плана первой пятилетки, когда еще не было у нас... коллективизированного сельского хозяйства...» Но то, к чему мы пришли к 80-м годам, Маяковский не стал бы трижды славить. Помню, как в недавнее застойное время абитуриенты с ехидцей цитировали: «В окнах продукты: вина, фрукты. От мух кисея. Сыры не засижены. Лампы сияют. «Цены снижены».

Кстати, Горький вовсе не считал уже характерным для советской литературы взгляд с высоты будущего, а призывал к такому взгляду. Значит, его как раз не хватало — отличие немаловажное.

Писатель прошлых времен вполне мог видеть что-то пугающее в своих героях, но не придавать этому должного значения. Это его беда, так и надо объяснять школьникам. Но в учебнике трактуются лишь как аскетизм и самопожертвование те качества Павла Власова, о которых Рыбин разговаривает с Ниловной:

«...— Мать на дороге ему ляг — перешагнул бы. Пошел бы, Ниловна, через тебя?»

— Пошел бы! — вздрогнув, сказала мать...

— Это — человек! — сказал он негромко и оглянул всех темными глазами».

Конечно же, Павел «пошел бы» на штыки, на каторгу, но ясно и то, что герой ради идеи готов жертвовать не только собой. И как важно было бы в учебнике подчеркнуть, что здесь у Горького восторгается Павлом мрачный Рыбин, человек с «темными глазами» (это, разумеется, не анкетные особые приметы, не цвет глаз, а их выражение), который прямо говорит: «И пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле! Вот. Умереть легко. Воскресли бы!» — а добрая и воистину самоотверженная Ниловна соглашается с такой характеристикой обожаемого сына «вздрогнув». Но школьникам просто предлагается обратить внимание на присутствие в характере Павла и других черт, на то, что ему «не чуждо все человеческое». Да кому оно, по правде говоря, чуждо?

Фанатическую веру в идеал, достигаемый любой ценой, а зачастую именно поэтому и не достигаемый, авторы учебника пытаются утвердить в сознании учащихся, пишут ли они о Горьком, Н. Островском или Шолохове, дают ли обзор литературы какого-то времени. «Современник К. Циолковского, свидетель грандиозного развития советской науки по ленинским предначертаниям, А. Беляев создал книги, проникнутые социальным оптимизмом, верой в могущество человеческого разума («Голова профессора Доуэля», 1925)». Читал ли кто-нибудь из авторов названный роман? Это там-то социальный оптимизм и вера в могущество разума? Самые знаменитые романы А. Беляева глубоко драматичны по содержанию, вскрывают острейшие конфликты между утонченным научным разумом, рационалистическим вмешательством в жизнь и нравственностью человека и общества. Хорошо, что школьники прочтывают Беляева до 11-го класса, а то после такой рекламы не стали бы читать.

Весьма серьезно и строго берутся в учебнике второстепенные персонажи романов Ильфа и Петрова. «Центральный же образ романов — Остап Бендер нарисован ими как

фигура трагикомичная. Писатели отмечают в этом герое и незаурядную жизненную энергию, и живой ум, и организаторский талант. Однако он исповедует мизерные и пошлые идеалы, что и приводит его к полному краху». Такое осерезивание комической стихии само по себе комично. Ни малейшего чувства слова, никакого представления о том, что даже про суровый социально-психологический роман недопустимо писать в таком дидактическом тоне, а уж тем более про брызжущую смехом прозу Ильфа и Петрова. Может быть, авторы, неоднократно декларирующие свою приверженность высоким целям патриотического воспитания школьников, не в состоянии простить сыну турецко-подданного фразы о городе Арбатове, хотя и сказанной с сожалением: «Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже».

В учебнике говорится, что в романах и повестях Л. Леонова, М. Шагинян, Ф. Гладкова, В. Катаева, А. Макаренко, Ю. Крымова, А. Малышкина «нашли широкое отражение социалистическое строительство в стране, героизм масс в борьбе за индустриализацию страны». Пусть широкое. Но всегда ли глубокое, полное и во всем правдивое? «Освоению ранее считавшихся непригодными для жизни районов посвящает свои повести «Кара-Бугаз» (1932) и «Колхида» (1934) К. Паустовский. Теперь-то мы знаем, что «освоение» многих районов как раз и сделало их со временем непригодными для жизни. В учебнике нет и намека на это. Наконец, все ли произведения об индустриализации выдерживают эстетический критерий оценки? «Энергия» Гладкова, слава богу, не характеризуется подробно, но в главе о 20-х годах «Цемент» выделен отдельным параграфом, хотя даже горьковской «Жизни Клима Самгина» отведено лишь два абзаца.

После «индустриального» параграфа читаем следующее: «Коллективизация индивидуальных крестьянских хозяйств была великим и небывалым в истории делом. Новая организация труда, новый быт меняли образ жизни, саму психологию крестьян».

Глубокое проникновение в духовный мир русского крестьянина, правдивый показ перемен и трудностей, переживаемых деревней, стремление к широким обобщениям отличают два крупнейших произведения 30-х годов о периоде коллективизации — роман «Поднятая целина» (книга первая, 1932) М. Шолохова и «Бруски» (1928—1937) Ф. Панфёрова».

Какого рода трудности имеются в виду, остается неизвестным. Вероятно, то, что несознательные крестьяне недостаточно резко побежали в колхоз. Оказывается, что и в несчастьях Григория Мелехова виноват он сам при всех своих хороших качествах: «В сложной обстановке гражданской войны Григорий не может найти верного пути в силу политической малограмотности, усвоенных предрассудков своей среды». Ах они несознательные! Ну никак не понимали своего счастья.

«Поднятую целину», сказано в книге, восторженно приняли читатели. Да, такое было, и эталоном литературы социалистического реализма ее объявили сразу же. Но сейчас невозможно спокойно читать: «Она была рождена жизнью великой эпохи и вошла в историю литературы как правдивая летопись времени великого перелома, неотразимо воздействующая на умы и сердца миллионов людей». Тут даже сталинская фразеология оставлена нетронутой. Но следующая фраза, пожалуй, совершенно справедлива: «Еще раз ярко подтвердилось известное суждение Н. Г. Чернышевского о том, что литература является учебником жизни...» Думается, «Поднятая целина» создавалась именно как учебник новой жизни, как ее образец, положительный пример. Поэтому даже в деревнях роман читали с упоением, отнюдь не отождествляя представленную картину с реальной. Впоследствии и «Кубанские казаки» воспринимались голодными колхозниками и особенно колхозницами с восторгом: хоть в кино посмотришь на нее — светлую жизнь... Но авторы учебника вовсе не склонны винить в особенностях исторической психологии и уверены, что есть только одно воспитательное средство: показ положительного примера и полнейшее молчание о том, что существует или существовало нечто нехорошее. Если какие-нибудь остатки нехорошего еще и оставались после революции, то уж после коллективизации точно ничего не осталось: «Гуманизм социалистического преобразования жизни проявляется в преодолении патриархальной замкнутости, взаимного недоверия, определявших в прошлом отношения людей хутора». Недаром в «Поднятой целине» выведен новый, сменивший «хромавшего на правую ножку», секретарь райкома Нестеренко. «Это новый тип руководителя, которому свойственны мужество и чело-

вечность, интеллигентность и умение критически воплощать в жизнь высокие идеалы, твердая принципиальность и участливое внимание к каждому человеку». Шолоховский Нестеренко действительно говорит: «А ведь человек — тонкая штука, с ним надо ох как аккуратно обходиться!» Но Шолоховым-то это написано уже в 50-е годы, а каков оказался «новый тип руководителя», пришедший во всех звеньях на смену старому именно в начале 30-х годов, и как «аккуратно» эти руководители относились «к каждому человеку», достаточно хорошо известно.

В последней главе учебника есть параграф «Произведения об историческом развитии советской деревни». Здесь туманно упоминается о трагической судьбе Степана Чаузова, раскулаченного (слово «раскулачивание» ни под каким соусом в учебнике не фигурирует) труженика и умельца из повести С. Залыгина «На Иртыше», а также о каких-то экономических и социальных трудностях в деревне, затронутых в «Привычном деле» В. Белова, но в общем произведения о деревне берутся в нравственном аспекте как более безопасном. Ровным счётом ничего не сказано о жизненном материале тетралогии Ф. Абрамова, дважды ошибочно именуемой «Пряслины» (вместо «Братья и сестры»), а ведь там не только «трудности» есть, там и тип районного руководителя настоящий. Несколько строчек уделено только «Дому», становлению характера Михаила. И уж само собой, ни словом не упомянуты романы и повести о коллективизации, которые раньше не могли дойти до читателя. До читателя журналов дошли, а до читателя учебника, надеются авторы, не дойдут.

В заключительном разделе книги после длинного перечня давно умерших писателей идет ряд их современных преемников: «Их традиции (Гладкова, Булгакова и т. д. — С. К.) продолжают в наши дни Бондарев, Г. Марков, Распутин, Астафьев, Белов, А. Иванов, А. Калинин, Залыгин, Коновалов, Михалков, Исаев, Р. Рождественский, Кожевников, Чаковский и многие другие талантливые писатели». Тут уж кое-кого надо переводить в первый список, но показательно это устойчивое приравнивание действительно талантливых художников и толстописцев, не имеющих понятия о том, что такое художественное слово. В талантливость всех упоминаемых лиц должно верить на слово, поскольку «анализ» даже прекрасных стихов, например, Есенина, в учебнике выглядит так: «Лирическое стихотворение имеет философский план. Его содержание составляют раздумья поэта о жизни». Не менее ценная информация дается о произведении Фадеева: «Роман «Молодая гвардия» справедливо называют поэмой о подвиге юных патриотов социалистического Отечества, об их нравственной красоте, героической смерти и бессмертной славе». Патетическая банальность хуже простой банальности, она снижает, а не возвышает предмет разговора. Что же касается, допустим, молдавского поэта Е. Букова, то о нем приводятся некоторые биографические данные и затем следующая характеристика творчества: «После присоединения Бессарабии к советской Молдавии поэт создает ряд значительных произведений, посвященных жизни советских людей, воспеваает дружбу народов». Помнится, пушкинский исправник искал Дубровского по куда более ярким приметам: роста среднего, лицом чист, бороду бреет...

Вся советская литература, по убеждению авторов учебника, — это литература социалистического реализма. Что это такое, ничего конкретного, разумеется, не говорится, тут все те же высокопарные фразы. И Блок с Есениным, и Кочетов с В. Кожевниковым и М. Колесниковым — все социалистические реалисты. Просто и ясно, и думать не надо.

Бессмысленно множить примеры. Каждая страница учебника пропитана догмами даже не брежневского, а еще сталинского времени, и каждая страница — яркое свидетельство полной гармонии целей и исполнения, содержания и формы.

Таков учебник для 11-го класса, написанный 11-ю докторами наук и выпущенный 11-м изданием за 11 лет до конца нашего много чем знаменитого века. Пусть любители кабалистики ищут в этом оккультный смысл. Мне это упорное повторение единицы напоминает лишь об одном — о школьной оценке, которую тут только и можно поставить.

Геннадий ЮШКО

Первая скульптура

Врезается в холодный глинозем
тепло ладоней формою кувшина...
И пальцы продолжают вершиной,
а кисти начинают оком...

Припав к кувшину,
пил я молоко.
Как скульптор, глину
поднял высоко!

Глубокая звезда

Звезда дрожала в зеркале колодца;
раскручивалась цепь, звеня ведром.
Звезда, звезда!

Похоже, разобьется
зеркальный мир твой,
твой глубокий дом.

Ведро набрало света и прохлады,
и не разбилось зеркало воды.
Что ж все печальней ищут листопада
высокий свет

глубокой той звезды?

Баллада о янтаре

I
Стояли в соснах карие зрачки
и вместе со смолой в волну стекали,
к ним не прилипли рыбные фекалии,
не умыкнули их моллюски и рачки:
сочился взгляд — живица янтара, —
и встало солнце в нем на якоря.

II
Мне говорили:
в сорок шестом
в стылые ночи и дни февраля
печки топились сплошь янтарем,
и согревал он не хуже угля.
Кто-то,
подбросив пригоршню камней,
грелся
у ставшего пламенем взора.
Плавилась
давние солнца мгновенья —
чья-то минута
любви иль позора.
Без промедления
ухали в топку
выдохи,
вдохи,
смерти,
родины —
круговращеньем людского потока
шло
насыщение холодины.

Солнце, смола и тепло человецье!
Море скрепило вас ласками, карами.
В сорок шестом приходили вы в печи,
переливаясь взглядами карими.

III
Я смотрю сегодня на сосну —
будущую каплю янтара —
может, в чью-то восхищенную весну
этот взгляд придет из сентября.
Может, станут брошью или перстнем
души этих вот негромких строк
и через озабоченный им срок
из камней
перельются в песню.

КРАТКИЙ КУРС

истории «Зеленого портфеля»,
созданный по рассказам очевидцев,
с мемуарами сотрудников, приложением
их ранее неопубликованных произведений,
редкой архивной фотографии,
а также дружеских шаржей,
любовно выполненных художником В. Лосевым

Давным-давно в «Юности» не было юмористического раздела вообще. Он впервые появился в № 1 за 1956 год и получил при крещении имя «Пылесос». Название придумал мастер сатирической графики Иосиф Оффенгенден (он, кстати, и сейчас находится в боевом строю), а курировал чувство юмора тогда сотрудник отдела рукописей Исидор Винокуров. Правда, первое время выпуск «Пылесоса» появлялись не в каждом номере, через пень колоду. Поэтому тираж журнала составлял всего 150 тысяч экземпляров.

Долго ли, коротко ли, бразды юмористического правления перешли в профессиональные руки Леонида Ленча. Он занимался отделом, можно сказать, на общественных началах, то есть бесплатно. А поскольку всякая работа на общественных началах выполняться до бесконечности не может, в 1961 году перед редакцией со всей остротой возник вопрос о привлечении для руководства «Пылесосом» штатного сотрудника, каковым после придирчивого рассмотрения кандидатур стал

Марк РОЗОВСКИЙ

Столько времени прошло, что уже и не верится, было ли все это на самом деле... Старый флигель бывшей дворянской усадьбы, в коем разместилась наша «Юность» — одна из первых ласточек нынешней перестройки... Аристократ при большевиках Валентин Катаев, который уже на что-то или на кого-то обиделся (потому что обидели?) и из-за того переставший ходить на работу по своей должности главного редактора, но все-таки державший под контролем основные рукописи... Сотрудники редакции с полуименами-полукличками: Исидор, Эс-Эн, Лёпа, Мэри, Оська и среди них некто самый горбоносый и импозантный (особенно в профиль) с доброй фамилией — Овсянников... Нет-нет, то была не только служба, но и дружба.

С регулярными вечерними чаепитиями, перераставшими в домашние выпивоны по случаю какого-нибудь дня рождения или чьей-либо публикации. А поскольку подобные события в ежемесячном журнале происходили довольно часто, КЛУБНАЯ атмосфера тогдашней «Юности» имела массу возможностей, чтобы, так сказать, легко и свободно утвердить себя. В этом единении и общем переживании друг за друга ощутилась новая психология поколения 60-х, которое генерировалось из как бы случайно возникших, неожиданно появившихся талантов.

Сегодня мало кто помнит, что Аркадий Арканов, прежде чем стать тем, кем он есть, играл на трубе в капустнике 1-го медицинского института. Я помню. И помню, как Гриша Горин был «найден» на волейбольной площадке того же заведения моим товарищем Аликом Аксельродом:

— Это ты написал смешную заметку в стенгазету?

— Ну, я...

— Приходи к нам в авторскую группу, попробуешь себя в юморе.

Горин пришел. Попробовал. И теперь мы имеем писателя, драматурга Григория Горина. А я вот думаю: стал бы он им, кабы не играл студентом в волейбол и не написал бы ту заметку в той стенгазетке?!

Помнится, наш «Пылесос» более всего дружил с отделом поэзии — может быть, потому, что стихотворение и сатирическая миниатюра схожи своим спринтерским расстоянием, одноударностью звука. Когда мы впервые съездили в Ленинград на цикл вечеров-встреч с читателями, многие удивились, что авторы «Пылесоса» имели успех ничуть не меньший, чем наши поэты, уже тогда проверенно собиравшие аудиторию во Дворце спорта и в Политехническом. Борис Слуцкий сказал мне тогда, внимательно послушав, что я читаю с эстрады:

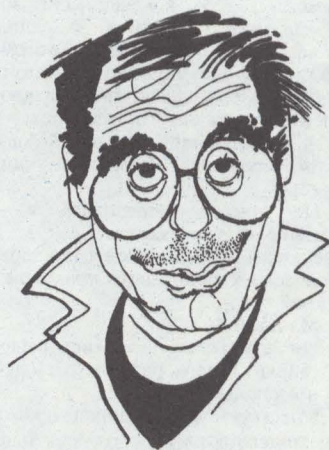
— Ты, верно, думаешь — у твоей головы две шеи.

— Почему?

— Рубить будут.

Как в воду глядел аксакал поэзии. В середине 60-х годов я опубликовал в «Юности» пародию «С кого вы пишете балеты?», которая защищала любимого мною Василия Аксенова от клеветы — письмо ялтинских таксистов, опубликованное перед тем в центральной газете, называлось «С кого вы пишете портреты?» и адресовалось самому знаменитому прозаику «Юности». Что тут началось! Сначала «Комсомольская правда» уничтожала меня фельетоном «Вовка Вовкин и другие», а затем и товарищ Павлов — тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ — в докладе на своем Пленуме вынес мне обвинительное заключение по поводу «очернения»... Что было дальше? Приговор. Перестали печатать. Представьте, и сама «Юность» поддавалась на это — хоть и храбрилась, бывало, остряла, дерзила, высказывала из скучного ряда, но и трусила иногда, что греха таить.

И все-таки кое-что удалось сказать и в нашем не самом уважаемом жанре. Если, скажем, такой патриарх литературы как Корней Чуковский однажды поддержал меня своей статьей «Баба Яга и урок словесности», можно быть спокойным — не зря все же мы тогда кувыркались и веселились, когда всюю, во всеуслышание пытались осмеять позор и стыд застойного сознания — «бабизм-язизм» наших дней.



Приложение

Марк
РОЗОВСКИЙ

УРАЛЕЦ

Недавно встречаю старого товарища. Он и спрашивает:

— Филимонов, хочешь возьму тебя в уральскую группу?

Никогда я не был на Урале, поэтому тут же согласился.

— Тогда приходи вечером в баню — мы там собираемся на тренировочный курс.

— А почему в баню?

— В бане акустика не та что в танке, — загадочно сказал товарищ. — Приходи. Заодно и помоемся.

Вечером я пришел в баню. Зал был украшен многочисленными лозунгами и транспарантами. Несколько голых человек старательно переписывали их в тетрадки. Затем, закинув головы, с остоленбелым видом шевелили губами.

— Да здравствует... это... ну, как его... тьфу ты... забыл, что же все же да здравствует... — обратился ко мне один парень. — Не можешь подсказать?

— Не-а, я новенький, — сказал я. — Еще не выучил.

В центре зала другая группа голых людей отработывала упражнение на одновременное вскакивание. При этом один поскользнулся и шмякнулся о кафельный пол. Я заметил, что вся грудь его, а также задница были в татуировке какого-то нескончаемого лозунга, прочесть который, конечно, можно, если бы воздух в бане не был такой мутный. У двери в парилку стояли на коленях человек десять. Перед каждым — тазик. Все были заняты полосканием горла какой-то рыжей жидкостью, отчего в гулком банном помещении из всех углов слышалось многоголосое урчание. Вдруг дверь парилки отворилась и из нее вышел президиум — несколько завернутых в простыни типов.

Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все повскакивали со своих скамеек и что-то заорали. Главный величественным жестом поднял руку, все замолчали. Я тут особенно заволновался, потому что узнал в главном своего товарища.

— А-а, Филимонов. Ну, давай смелее, не стесняйся. Рывкни-ка нам что-нибудь.

— Не понял, — признался я. — Зачем мне на вас рывкать?

— Да не на нас. Это не нам, а тебе нужно, если хочешь быть уральцем.

Я крикнул:

— Ма-а-а-ма!

— Ничего. Только в нижнем регистре хрипы. Теперь рывкни со смыслом, но какой-нибудь бред.

Я поднатужился и заорал прямо в ухо товарищу:

— Ве-е-е-ерка! Брось ключи-и-и!.. Ты меня слышишь?

— Слышу, — отпрянул от меня товарищ, схватившись за ухо. — Какая я тебе Верка?!

— Верка — моя соседка с девятого этажа. Когда я ключи забываю, она мне их во двор выбрасывает.

— А умнее ты ничего не мог придумать?

— Ты же сам глупость просил.

— Ну, ты дурак, — сказал товарищ. — Подходишь нам по всем параметрам. Записываю тебя в уральскую группу номер пять.

— А что я там должен делать?

— Как что? «Ура» кричать. Больше ничего от тебя не требуется.

— Как это кричать «ура»? Я что — сумасшедший?

— Ты комсомолец. И мы взяли тебя в уральскую группу, которая участвует во всех конференциях, слетах, отчетно-перевыборных собраниях и даже съездах. И везде делает одно и то же: в нужном месте, в определенный момент вскакивает с мест и кричит хором: «Ура-а-а!»

— И что, всё? — спросил я. — А на Урал, значит, не поедем?

— Почему не поедем? Поедем обязательно. Осенью там как раз выездная сессия.

С того дня я начал заниматься в уральской группе регулярно. И, надо сказать, не жалею. Голос у меня прекрасный. Как гаркну — стены дрожат. В том числе и кремлевские. Это когда мы во Дворце съездов кричим. Правда, однажды меня оттуда чуть было не выгнали.

Промочил я перед мартовским пленумом ноги. И голос мой от простуды пропал. Чего я только ночью с собой не делал: и молоко кипяченое с содой употребил, и ингаляции, и таблетки «Мэйд ин Австралия» (не знаю от чего, на позапрошлом торжественном заседании у одной делегатки из номера гостиницы стащил — им мешками давали) проглотил двенадцать штук, авось, думаю, поможет... Не помогло. Нет голоса, хоть ты тресни. Нет его, подлого, хоть кричи не кричи. А кричать надо. Попробуй приди на работу и не закричи. Это что же будет? Все закричат, а я только рот раскрываю? Нет, тут не скроешься. Я наших чертей знаю. У них это дело не пройдет. И куда я потом? Прощай, пыжики да дубленки. Пропал, Филимонов, твой кормилец-голос. Не участвую я теперь в нашем всеобщем дружном голосовании.

С этими мыслями проворочался я в постели остаток ночи. Наутро явился к старшему с повинной.

— Так и так, — шепчу ему, — что хотите со мной делайте, а только сегодня кричать «ура» не могу.

— Ладно, — сказал старшой, — на первый раз тебе прощается. К тому же сегодня на пленум вызвана хорошая капелла из филармонии. «Интернационал» петь. У меня там знакомый бас. Попрошу, чтобы он вместо тебя крикнул.

Ох и волновался я в тот раз. Сиджу среди делегатов на своем обычном месте, жду. После доклада рассеянные по всему залу хористы запели «Интернационал». Я тоже встал, рот раскрываю. Сейчас последний аккорд, и мне надо вступать. Ну?

— Уррр-а-а! — как закричит кто-то рядом. У меня сразу отлегло. Все, думаю, не уволют теперь меня с любимой работы. Спасибо старшему — выручил.

В антракте я подошел к нему и решил отблагодарить.

— Возьми, — говорю, — в подарок таблетки «Мэйд ин Австралия». Может, пригодятся.

Он стрел их все — полный карман.

— Знаю я эти таблетки, — говорит. — Известное противозачаточное средство. Конечно, пригодятся.

И крепко так, по-партийному, от души пожал мне руку.

1972 г.

Несмотря на поддержку К. Чуковского, в 1964 году М. Розовский покинул большую сатиру и ушел в большой театр. А его кресло заняли два известных юмориста. Точнее, на довольствие был зачислен один из них. Но поскольку они в те годы творили в соавторстве, то практически «Пылесосом» начал руководить тандем

Аркадий АРКАНОВ
Григорий ГОРИН

(Редкая архивная фотография приложена на стр. 63).

Надо признать, «Юность» всегда любила отмечать свои дни рождения, празднуя при этом не только дату создания журнала, но и отдаленные возможной даты его закрытия... В общем, поводов для мрачного веселья было больше чем достаточно. Поэтому Галка Галкина (в миру — Аркаша-Гриша) откладывала все срочные редакционные дела и приступала к сочинению очередного выступления. Занятие, прямо скажем, по-своему небескорыстное, ибо оно оплачивалось радостным ощущением бесцензурной свободы. По нынешним временам это ощущение, конечно, выглядит наивным. Полное иносказаний и намеков, вызванных тайным желанием, чтоб, с одной стороны, все, кто надо, поняли, о чем речь, а с другой — чтобы те, кто не надо, не догадывались. Сегодня, когда правду-матку режут, что называется, с кровью, шутки семидесятых кажутся лишь раздражающими припарками.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают», — точно отметил А. Кушнер. Вернемся мысленно в семидесятые. Мы жили, как умели, работали, как умели, и шутили, как умели, стараясь сохранить человеческое выражение лиц. А это выражение требовало прежде всего улыбки. И вот по случаю пятинадцатилетия журнала собрались все его авторы, друзья и почитатели, на сцену вышла Галка Галкина и начала зачитывать свое очередное послание:

Дорогие друзья! Дорогие коллеги! С пятинадцатилетием!

Впрочем, как говорит один наш известный юрист: «Пятнадцать лет это, конечно, возраст, но это еще не срок!» В этом возрасте еще не дают наград, но и не берут на учет; не убавляют годы, но и не прибавляют зарплату; не выпускают полного собрания сочинений и... в капиталистические страны! Потому что все — впереди!

Бросим же и мы свой ретроспективный взгляд вперед, скажем, в 2005 год, когда наш журнал будет (дай-то Бог!) отмечать свое славное пятидесятилетие... Полувековой юбилей! Это звучит! И его надо готовить уже сейчас. Поэтому по заданию редколлегии мы подготовили отчет, посвященный этому знаменательному событию. Готовы передать его всем средствам массовой информации, которые на это согласятся. Отчет называется:

ПОЛВЕКА — В ДУШУ ЧЕЛОВЕКА!

Нашей «Юности» — 50 лет. Редкому в этом возрасте удается сохранить юношеский задор, девичью честь и главного редактора! «Юность» все это имеет, и именно поэтому ее юбилей — праздник всей планеты. Еще бы — ведь сегодня тираж нашего издания вырос до двух миллиардов! Это дает нам право сказать, что каждый встречный является читателем «Юности», а каждый Поперечный — ее автором. Сегодня на нашей планете нельзя найти ни одного отдаленного уголка, где бы не лежал этот журнал. В эскимосских чумах и в сейфах швейцарского банка, в безводной пустыне и в животе кашалота...

Интересно в связи с этим высказывание вождя африканского племени кобу-абу, неожиданно возникшего в результате последнего демографического взрыва: «Несмотря на то, что в языке племени кобу-абу всего семь слов, мы регулярно читаем журнал «Юность» и испытываем от этого большое эстетическое наслаждение».

Но, конечно, основной потребитель журнала — наш требовательный невзыскательный читатель.

В прошлые годы была привычной картина, когда люди читали «Юность» в метро и трамваях, троллейбусах и электричках. Теперь повсеместно можно видеть читающего журнал «Юность» за рулем собственного автомобиля. В ГАИ нам сообщали, что в связи с этим обстоятельством количество автокатастроф увеличилось в 12 раз! Это ли не показатель популярности?!

Сегодня «Юность» заменила в школе букварь, в армии — устав, а в наиболее развитых колхозах с будущего года колхозники станут получать до пяти килограммов любимого журнала в оплату на трудодень.

И вот мы идем в гости к юбиляру. Площадь Маяковского, знакомый подъезд. Мемориальная доска: «Здесь с 1970 по 1989 год не печатался Василий Аксенов».

В редакции — привычная рабочая обстановка: все ушли на обед. Только в кабинете ответственного секретаря сомнительный шум — это, как всегда, в чем-то сомневается, готовя очередной номер, Леопольд Абрамович Железнов. Просим рассказать о его планах и перспективах.

— Правлю юбилейный номер, — говорит он, таинственно улыбаясь. — Как всегда, идут наши корифеи. Отдел поэзии открывается музыкой Пахмутовой на стихи Роберта Рождественского. Здесь же новая поэма Вознесенского в переводе на русский Наума Гребнева. Завершают отдел 452 стихотворения Евтушенко, написанные им позавчера... Украшением прозаического отдела является, конечно, новая повесть Б. Васильева, посвященная нашему главному редактору Б. Полевому, которая так и называется «А Боря здесь тихий».

А вот и сам герой повести — Борис Николаевич Полевой. Он только что вернулся из-за

границы и потому осведомлен о нашей внутренней жизни больше других.

— Ну, други мои, — улыбаясь, говорит Полевой, — а у меня для всех сюрприз. Есть решение Моссовета о расширении редакции и постепенном объединении ее с рестораном «София». Так что теперь мы наконец имеем комплексный, общественно-диетический, политико-питательный журнал... Что говорил Николай Островский? Помните?

— Нет, — отвечаем мы.

— Вот именно, — говорит Полевой. — Я тоже. А Островский говорил: «Юность» дается человеку один раз в месяц, и читать ее надо так, чтоб не было мучительно больно за бесцельно потраченное время». Так вот теперь, когда в стоимость журнала входит и бесплатный обед в ресторане «София», мы наконец достигнем того, о чем мечтал классик социализма. Спешите видеть!

Мы спешим. Мы обходим редакционные кабинеты. Сотрудники испуганно смотрят друг на друга.

Пахнет жареным...

Незаметно пролетели в шутках-прибаутках три года, и наступил момент, когда большую сатиру ради большой драматургии дружно покинули и А. Арканов с Г. Гориним, после чего, кстати, в их союзе задолго до перестройки произошел раскол — каждый разработал собственную творческую платформу. Если помните, их знакомый юрист говорил, что пятнадцать лет — еще не срок. Интересно, что бы он сказал про человека, который руководил отделом сатиры семнадцать лет. А именно столько проработал в «Юности»

Виктор СЛАВКИН



Ни одно редакционное событие, ни один праздник или юбилей не обходился в «Юности» без капустника, юмористической стенгазеты или еще какой-нибудь смеховой затеи. Б. Н. Полевой терпеть не мог высокопарных речей и парадного стиля. Все свои юбилеи он справил в редакции, ни разу не пошел на то, чтобы стать предметом торжественного чествования. Но если анализировать взаимоотношения Полевого с сатирой и юмором, то без рассказа о его

многолетнем «романе» с Галкой Галкиной не обойтись.

Галка Галкина родилась в начале шестидесятых годов, когда редактором «Пылесоса» был Марк Розовский. Борис Николаевич поставил перед ним задачу — пусть в журнале будет постоянный комический персонаж. И Марк придумал — девочка, зовут Галка Галкина. Иосиф Оффенгенден изобразил ее, Полевому понравилось, и Галка начала жить.

Первые же открытые письма Галки Галкиной, опубликованные под рубрикой «Я к вам пишу», быстро сделали ее популярной. С Галкой Галкиной трудно было совладать. Не будет же серьезный критик полемизировать с наивной девчонкой! Тем более что эта девчонка не ругает его, а как бы хвалит, понятно, в шутливой, довольно едкой манере. Ответить на это можно было, только перебив ее иронией. Но критики, нападавшие на «Юность», иронией как раз и не владели.

Бывали случаи, когда раскрытие псевдонима могло не только нарушить условия литературной игры, но и грозить реальной опасностью. Об одной такой истории уже можно рассказать. Речь идет об открытом письме Галки Галкиной автору романа «Во имя отца и сына» Ивану Шевцову. Этот автор был уже известен своей антиинтеллигентской книгой «Тля». В новом романе, вышедшем в 1968 году, он продолжил свою линию. И, естественно, не мог Шевцов своим вниманием обойти журнал «Юность». На одной из страниц молодой оболтус Димка Братишка подсовывает неопытной девушке Ладе не только рюмку коньяка, но и «последний сногшибательный номер «Юности». И тут Лада сдалась. «Она, — пишет автор, — не то что хотела дать волю инстинктам, а просто с тайным любопытством желала новых, неизведанных ощущений, о которых читала в популярном молодежном журнале». Но И. Шевцов на этом не остановился. Разглядев, видимо, с помощью лупы, что у обыкновенного типографского значка, отделявшего в нашем журнале стихи друг от друга, не пять, а шесть углов, он делает далеко идущий политический вывод: «Каждому светят свои звезды». Уж это было определено для Галки Галкиной!

«Расхвалив» во все корки произведение Шевцова, обозначив его жанр словечком, выкованным самим автором в его творческой лаборатории, — «роман-звонь», восхитившись, как органически в этом выражении соединились звук и запах, Галка Галкина переходит к вопросу о шестиугольных звездочках. Острый, мол, глаз бдительного романиста, проницательный глаз. Но если пойти по этой логике дальше, следует обратить внимание на то обстоятельство, что книжка «Во имя отца и сына» выпущена в коричневой обложке, «а ведь все знают, символом чего был коричневый цвет».

Удар сильный, рискованный, мы выступали по поводу этого романа первыми, и можно было предположить активные действия автора. Тем

более что ходили слухи о существовании у И. Шевцова какого-то высокопоставленного покровителя. Говорили, что это был сам Д. С. Полянский. Когда журнал с письмом вышел в свет, Полевой вызвал к себе в кабинет его авторов. «Други мои, вы многого не знаете, и я не буду вам ничего объяснять, хочу лишь предупредить — никому не признавайтесь, кто скрывается за псевдонимом Галка Галкина. В крайнем случае говорите — Полевой. Я выдержу, а вам могут испортить жизнь». Борис Николаевич позаботился даже о том, чтобы фамилии авторов не фигурировали в бухгалтерской ведомости. Гонорар был выписан на его имя, и в день выплаты в своем кабинете он вручил нам с Г. Гориним по пятьдесят рублей...

Приложение

Виктор СЛАВКИН

300

С ним мы учились в институте. Вместе на практику ездили. Там и поружились. Потом он получил одно назначение, я другое, так и разъехались.

И вот дела служебные занесли меня в городок, где он проживал. Пошел я по адресу, нашел не сразу, но, наконец, звоню в нужную дверь. Открывают, пока не вижу, кто... Делаю шаг в темноту и чувствую, как на плечо мне что-то ляпается — мягкое, но когтистое. А на шляпу опускается легкое и шуршащее. И по ноге ползет теплое и пушистое. Тут же в лицо дышит влажное и хрипящее. Впечатление, будто попал в лапы домовому-многостаночнику.

Тут щелкнул выключатель — и домовый исчез. Что, собственно, он и должен делать при появлении света. Правда, кое-кто на мне все же остался. При свете видно. Кошка — на плече, голубь — на шляпе, белка по штанам до пиджака доползла, овчарка лапами в грудь уперлась.

— Да ты проходи, проходи, не бойся! — раздался голос моего институтского приятеля.

— У тебя тут целый зоопарк!.. — сказал я вместо приветствия.

— Слона нет, — вздохнул приятель. — Эх, слона бы!.. Слушай, у тебя нет знакомого слоновщика?

— Кого-кого?

— Ну, чтоб слонов продавал. Я всех знаю — кошатников, голубятников, крольчатников, а вот со слоновщиками не знаком... Ладно, пойдем в хату.

Так — с кошкой на плече, голубем на шляпе, белкой на штанах — двинулся я в комнату. Собаку мой приятель отогнал. «Кыш, Куртка!» — прикрикнул он на нее.

Шуганув маленькую обезьянку, приятель поднул мне стул. Я снял шляпу и забегал глазами, ища место, куда бы ее положить.

— Клади сюда, здесь почти чисто, — сказал приятель, турнув со стола развалившуюся там лисицу. «Брысь, Оторочка!» — крикнул он лисе. Лиса мягко прыгнула на пол, и я положил на ее место шляпу.

— Ну, рассказывай... Да тихо вы, Подушки! — приструнил приятель двух гаг, которые именно в этот момент решили выяснять свои отношения путем длинных полукарканий, полукружений. Гаги послушно спрятали головы в свой мягкий пух.

— Теперь давай!.. — подмигнул мне приятель. — И все по порядку.

Подошел леопард и какнул мне на ботинок.

— Ах ты, Сапоги проклятые! — Мой приятель шлепнул леопарда по пятнистому задку. — Пойдем в ванную ботинок помоем.

В ванной под душем лежал большой крокодил. Он уставился на меня своими неподвижными печальными очами, отчего мне стало прохладно.

— Ты что, Портфеля испугался? — воскликнул мой приятель. — Ты глян, какой он нежный! Портфельчик, милый, поплачь дорожному гостю, покажи, как ты ему рад.

Две стеклянные слезы скатились в ванную.

— Спасибо, Портфельюга! — сказал приятель и бросил крокодилу старую галашу, которую тот зажевал с неприятным резиновым скрипом.

Мы вернулись в комнату, и, столкнув со стула свернувшуюся там очковую змею, мой приятель стал отвечать на немой вопрос, давно стоявший в моих глазах.

— Удивляешься, да? Ведь я раньше не любил животных... Приехал я в этот город после распределения, зима на носу, а у меня зимней шапки нет. И не только у меня — в магазинах тоже. Такое совпадение... Появились однажды кроликовые, да не мой размер. Иду я из магазина убитый, и вдруг подходит ко мне пацан и говорит: «Дядя, купите кроликов». Я сначала отмахнулся, но тут мне в голову идея стукнула: «Что, если я куплю крольчат, выращу, а потом шапку из них сделаю?» Купил кроликов.

Жена видит, что я выращиваю себе шапку. «Хочу беличье манто», — говорит. Пришлось белок завести. Дальше — больше... Во вкус вошли. Мне до страсти захотелось портфель крокодиловой кожи, а ты же знаешь, у нас таких даже не делают. Не выписывать же какой-то жалкий портфель из Африки!.. Гораздо проще было связаться с зоопарком и купить у них крокодиленочку якобы для научных целей. Мне на работе такую бумагу сделали. Крокодилчика я в ванную запустил, ты видел, назвал Портфелем в честь будущего моего шикарного портфеля. Потом гаг завел для подушек из гагачьего пуха... Божественно мягко, говорят. Леопарда для зимних сапог — очень модно сейчас леопардовые сапоги, — ну и так далее...

И вот растет у меня все это обмундирование, приближается постепенно к нашим с женой размерам. Я за ростом слежу. Кролики до шапки 56-го размера выросли, потом вижу, из них уже малахай 58-го размера сшить можно... 58-й — это моя шапка. Казалось бы, шапка в руках... И тут происходит со мной нечто неожиданное. Я вдруг понимаю, что не могу из них шапку сделать. Не то чтобы сшить не могу — не могу кроликов для этого шитья приготовить. Понимаешь, о чем я? Привык к зверюшкам. Они только-только на клички стали откликаться... Кричишь: «Уши!» — прискакивает тот, который на уши предназначен; зовешь: «Передок!» — пушистый передок прибегает. Понимают меня и верят; если зову я их, то затем, чтобы морковку дать. Язык не поворачивается для другой цели их позвать. В общем, здоровье у меня без шапки проходить. Только я успокоился, жена начинает теревить: белки уже на шубу тянут, она скорняка нашла, дело за мной... А с белками к этому времени я такую забаву придумал! Их тридцать штук, и все тридцать круглые сутки в своих колесах вертятся. Научил я моих белок по особым знакам с разными скоростями крутиться, а сами колеса подобрал так, что они от разных скоростей поразному звучат. Короче, получился у меня музыкальный инструмент беллофон, а сам я стал заправским беломаном. Баха исполняют и Пахмутову наигрывают... Мог ли я из-за какой-то шубы лишиться своего мира интеллигентного человека?..

Приятель мой смолк и вдруг пригорюнился.

Я еще раз осмотрел комнату и только сейчас заметил в углу стайку бобров, суетящихся вокруг эмалированного таза.

— А этих бедолаг, что, на воротник завел? — спросил я.

— Нет, — приятель погрузнел еще больше. — Тут жена от меня ушла. «Не могу, — говорит, — в зоопарке жить. И шуба беличья мне не нужна — из моды вышла». Пришлось срочно бобров завести. Я за ними ухаживаю, а они мне за это белье стирают...

В своих элегических воспоминаниях В. Славкин скромно умолчал об одном своем достижении: именно он придумал новое название сатирическому разделу — «Зеленый портфель». Правда, для подобной скромности имеется причина — бывший редактор сам до сих пор не в состоянии объяснить, что означает это выражение. Но дело не в названии. За время многолетнего правления В. Славкина в журнале все настолько привыкли к отделу сатиры под любым названием, что уже в принципе не мыслили без него существования. Дабы не прерывались его выпуски, на вакантное место быстро была принята восходящая звезда сатиры

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ



Приложение

Михаил
ЗАДОРНОВ

КОНЕЦ СВЕТА

Свой первый рассказ я принес в «Юность». Несмотря на то, что мне было уже почти тридцать, я считал себя вполне юным, поскольку в нашей стране рамки творческой юности сильно сдвинуты в сторону зрелой старости.

Заведующий «Зеленым портфелем» Виктор Славкин сидел с тоской напротив кипы читательских писем, пытаясь заставить себя прочитать хотя бы одно из них. В знак благодарности за то, что я отвлек его от столь будничного занятия, он тут же прочитал мой рассказ, после чего у него стало такое выражение лица, будто перед ним положили еще одну кипу писем. И он грустно подвел итог: «Смешно». Я дал ему второй рассказ. Прочитав его, он погрузился сильнее и добавил: «А этот еще смешнее. Будем печатать».

Так из начинающих я перешел в подающие надежды. Однажды В. Славкин предложил:

— Хотите понять, как не надо писать?

— Очень хочу! — ответил я с пылом Павки Корчагина, идущего на войну.

— Тогда прочитайте часть писем и ответьте их авторам.

Позже я узнал, что подобные предложения он сделал и другим подающим надежды. Так со временем образовалась студия «Зеленая лампа». Все больше времени у В. Славкина отнимала его «Взрослая дочь молодого человека». И, наконец, он понял, что кипу писем не разгрести ему никогда. Почему к ней приговорили меня? Наверное, потому, что к тому времени я уже перестал быть инженером, но еще не стал писателем, то есть мог стать идеальным служащим. Главный редактор Андрей Дмитриевич Дементьев очень точно понял это... И гора писем перешла по наследству ко мне.

Студия у меня не было. Поэтому я продержался перед ежедневно растущей горой всего пять месяцев. Но благодаря тому, что недолго проработал в журнале, я сохранил прекрасные отношения не только со всеми сотрудниками, но даже с главным редактором.

И несмотря на то, что эти месяцы работы редактором отдела сатиры и юмора прошли незаметно не только для меня, но и для читателей журнала, я всегда буду вспоминать о них, как о своей «Юности».

Что за глупость: спорить, как лучше жить — при капитализме или при социализме, — если при социализме еще никто не жил! И сколько можно удивляться, почему мы великая слаборазвитая держава? Пора уже ответить прямо на этот вопрос. Потому что коммунистическая партия не справляется со своими коммунистическими обязанностями. Со своими справляется, а с коммунистическими у нее не получается. И это понятно! Во-первых, далеко не все члены партии — коммунисты. Членов партии гораздо больше. Во-вторых, коммунизм — это мировоззрение. Ни в одной стране мира, где есть демократия, мировоззрение не является поводом для получения зарплаты. А если мировоззрение повод для получения зарплаты, то надо присваивать звания: старший коммунист, ведущий коммунист, временно исполняющий обязанности коммуниста...

— Ты кто по профессии?

— Слесарь. По убеждениям — коммунист.

— Понятно. А ты?

— Учитель. Тоже коммунист.

— Тоже понятно. А ты?

— А я вообще коммунист.

— То есть как вообще? А что ты умеешь делать конкретно?

— Я? Это... как его... Ну... в общем... если... то... Вот и все.

И вот таких в стране пятнадцать миллионов человек по министерствам, ведомствам, обкомам, горкомам и прочим «комам». До сокращения штатов было тринадцать миллионов. А после сокращения стало пятнадцать.

И не надо винить в наших бедах советскую власть. Нельзя винить то, чего нет. И не надо разочаровываться в социализме. Тот строй, при котором мы живем, вообще не имеет названия. Говорят, кто-то предсказал скорый конец света. И теперь все ждут, когда он наступит. Чего ждать? Он уже наступил. Просто никто не предполагал, что возможно построение конца света в одной, отдельно взятой стране.

Казалось бы, все очень просто — восстановить советскую власть, оставить в партийном аппарате только коммунистов, то есть человек 57. Но как? Их ведь тоже жалко. У них семья, дети... Токаря сократи — он пойдет работать слесарем. Учитель всегда останется учителем. А кем пойдет работать инструктор обкома партии, который всю жизнь указывал рабочему человеку, как должен крутиться шпиндель в свете исторических решений? Он пойдет работать руководителем на конкретное предприятие. В результате мы получим еще больше лезвий, которые бреют

вместе с кожей, обоев, глядя на которые страшно засыпать, и женских сумочек на колесиках от «КамАЗов». Хлеб и соль станут дефицитом. Сыр будет продаваться по паспорту с предписанием есть строго по месту прописки. Кефир пойдет с аукциона, как антиквариат. Горячая вода будет выдаваться в домоуправлении по два ведра на месяц, мыло — по одному куску в одни руки, а зубная паста — по одному тюбику в одни зубы. И все это будет преподнесено нам как очередная забота партии о народе. Что, видимо, следует понимать так: сахар, соль, мясо, масло — продукты вредные. Поэтому партия их народу и не дает. Съедает сама.

Что же получается? Сократить их опасно, но оставить на местах еще опаснее. Тогда и тайгу продадут Японии. И атомные электростанции будут возводить только в районах особо сильных землетрясений. И радиоактивные отходы будут хоронить в парках культуры и отдыха. И сибирские реки потекут в Среднюю Азию. И верблюдов вывезут на Чукотку для охоты на оленей. А сенокосилки — в Мозамбик, джунгли косить. И окончательно обострится дружба народов...

И как забота партии о народе по всем этим вопросам будут сформированы комиссии, которые будут работать до следующего съезда, где будут сформированы новые комиссии по проверке работы старых. И так до тех пор, пока народ в очередях не забудет, о чем он спрашивал...

Нет, если бы я был депутатом, то предложил бы образовать одно такое учреждение... Только большое... Типа бывшего агропрома. Собрать их всех туда. И пусть они там внутри ордена друг другу раздадут, лозунги вывешивают, стенгазеты. Доски почета. Каждому дать по доске! Только чтобы не работали. Не мешали. Да и народный контроль чтобы за ними следил, что они не работают!

А то кто-то из депутатов предложил образовать вторую партию. Еще второй нам не хватало! Это что же тогда будет? Второй ЦК, вторые горкомы, вторые райкомы... Вся страна в «комах» будет. Короче, правильно люди говорят: «Вторую партию народ не прокормит!» Иначе на смену концу света очень скоро придет новый этап — развитый конец света.

После скоропалительного ухода М. Задорнова по собственному желанию редакция решила подойти к выбору нового редактора отдела сатиры более осмотрительно. Какому коллективу охота терпеть текучесть кадров?! Выбирать было из кого — многие сатирики мечтали о такой завидной работе. В результате многомесячных колебаний руководство журнала решило остановить свой выбор на одном сотруднике «Литературной России», который частенько писал прозаические пародии, в том числе и на членов редколлегии «Юности», — пародировал произведения И. Андроникова, В. Розова, В. Аксенова, А. Алексина, С. Есина, на Ф. Искандера — страшно сказать —

опубликовал даже две пародии... Как раз в это время в моду входил плюрализм взглядов. Поэтому в редакции рассудили так — примем того типа в свои ряды и тем самым убьем сразу двух зайцев. Во-первых, продемонстрируем терпимость к инакомыслию. Во-вторых, работая бок о бок с членами нашей редколлегии, он, бог даст, уgomонится... Разумеется, действующему редактору здесь не пристало вспоминать о работе в «Зеленом портфеле», как о чем-то прошедшем. Однако, судя по тому, с какой страстью он продолжает нападать на творчество членов редколлегии «Юности», время, когда вместо пародий ему придется писать мемуары, уже не за горами.



Пародия

Александр
ХОРТ

ШЕКСПИР РАЙОННОГО ПОШИБА

(Юрий ПОЛЯКОВ)

После армии Валера Придатский вернулся в родной Эльсинорский райком партии, где был назначен секретарем по идеологии. Это произошло потому, что ему благоволил первый секретарь Призраков.

Скоре после устройства молодого «целевика» состоялось бюро райкома, на котором неожиданно для всех присутствующих первым секретарем был избран Кладиков. Больше всего в этой ситуации Придатского удивило то, что кладиковскую кандидатуру охотно поддержала второй секретарь Королева, раньше горой стоявшая за бывшего лидера, который помог ей получить звание Гертруда.

Встретившись ночью на кладбище

с Призраковым, Валера узнал от опального хозяина, как коварно подсел его одноклассник по Высшей партийной школе.

— Ты уж, будь добр, отомсти за меня, — с плохо скрытой непримиримостью инструктировал персональный благодетель.

— Гм... — пообещал государственного заботливого Валера.

Полонский референтствовал в райкоме по оргвопросам. После одной из обалденных спецподдач в спецсауне при спецавтохозяйстве Валера установил спецконтакт с его едва достигшей политической зрелости дочерью Офигенией, сотрудницей сектора учета райкома. Наутро она рассказала отцу как представителю руководящей силы общества, что Придатский ведет себя в койке, словно сумасшедший. Коварный аппаратчик не замедлил наказать о Валерином сумасшествии первому и второму.

Неожиданно в Эльсинорск прибыл на гастроли рабоче-крестьянский театр с берегов туманного Альбиона. Утверждая их застойный репертуар, Валера как секретарь по идеологии сделал в одной из трагедий Шекспира поправки текста в сторону улучшения, которые с головой выдавали грязную закулисную игру Кладикова и Королевой.

На первое представление, должное продемонстрировать полное единение эльсинорского лидера с широкими народными массами, собралась вся клика халявных аппаратчиков. Обычно пустой драмтеатр заполнился по разнарядке настолько, что зрители сидели даже стоя. Краем глаза Придатский следил за реакцией притулившегося на царском откидном месте Кладикова.

На празднично оформленной сцене актеры врубили пантомиму о том, как третий секретарь некоего райкома вступил в коварный сговор со вторым, чтобы совместными усилиями отравить жизнь первого, скоропостижно отправив его на пенсию в связи с преклонным возрастом и пошатнувшимся здоровьем.

Кладиков отсмотрел спектакль с гулко бьющимся в груди партбилетом. Он до такой степени обиделся на шекспировский намек, что решил, пользуясь связями в икорно-ветчинном обкоме, перевести сумасшедшего Придатского в селедочный район секретарем луковой первички или редактором картофельной молодежи.

За сто дней до приказа Королева вызвала Валеру к себе на прием. Кривовато ухмыляясь тщательно подведенными бровями, Гертруда напрямик сообщила Придатскому аппаратным матерком о готовящемся номенклатурном перемещении. В ответ диссидент так размахался санкционированной цитатой, что задел явившегося в кабинет с анонимным компроматом Полонского. Тот, охнув, свалился с очередным инфарктом, из-за чего пропустил внеочередной пленум. Его дочь чуть не обезумела, когда ей на специальном заседании бюро райкома вклеили строгача за аморалку. В ответ на это брат Офигении завел на Придатского персоналку.

В НОМЕРЕ:

Проза

Татьяна ТАЙГАНОВА. Красное сафари на желтого льва. (6).
Владимир ВОЙНОВИЧ. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга вторая — Претендент на престол. Роман. Начало. (31)
Петр КОЖЕВНИКОВ. Личная неосторожность. Повесть. Окончание (50)

Поэзия

Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ (29), Галина ГРИДИНА (49), Андрес ЭХИН (49), Вадим АНТОНОВ (82), Дмитрий РАКОТИН (84), Геннадий ЮШКО (90)

Публицистика

У нас два вопроса. Анкета «Юности» (2, 24)

Это было, было, было...

«Юность» 1955—1990 (62)

20-я комната. Заседание тридцать пятое (66)

Юрий ЯКИМАЙНЕН. Острова восходящего пива (72)

Александр ЕРЛАШОВ. Вращатель солнца (85)

Спорт

Владимир ЛУКЬЯЕВ. Вверх по южной стене (64)

Критика

С. КОРМИЛОВ. «...Обогатить свой ум и сердце...» (88)

Зеленый портфель

Краткий курс истории... (91)

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление 1-й стр. обложки
Владислава и Ваима Игониных
Оформление рекламы на 4-й стр. обложки
Сергей Капранова
Главный художник Олег Кокин
Художник Юрий Цишевский
Технический редактор Ольга Трененок

Сдано в набор 19.03.90. Подп. к печ. 26.04.90.
А 09957. Формат 84×60½. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 17,75. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2088.
Цена 70 коп.

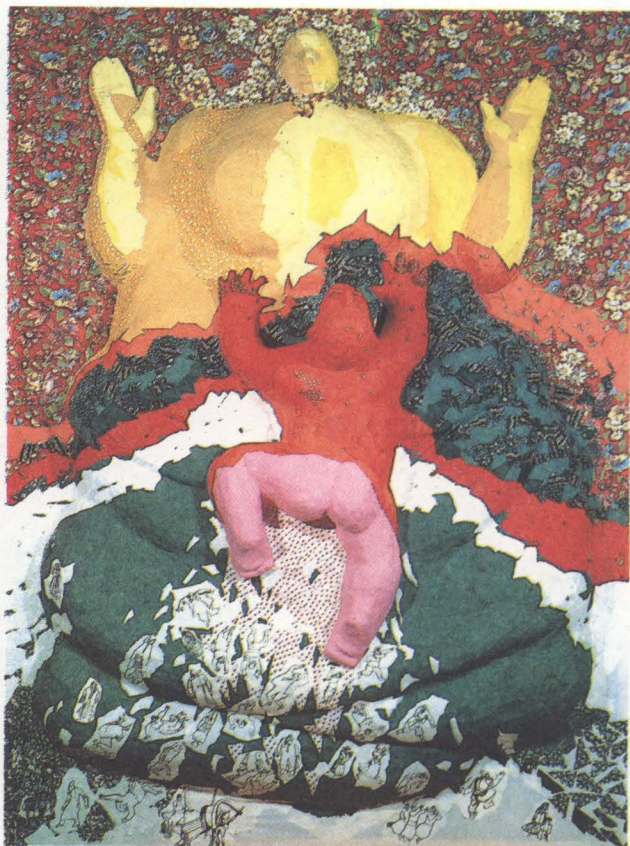
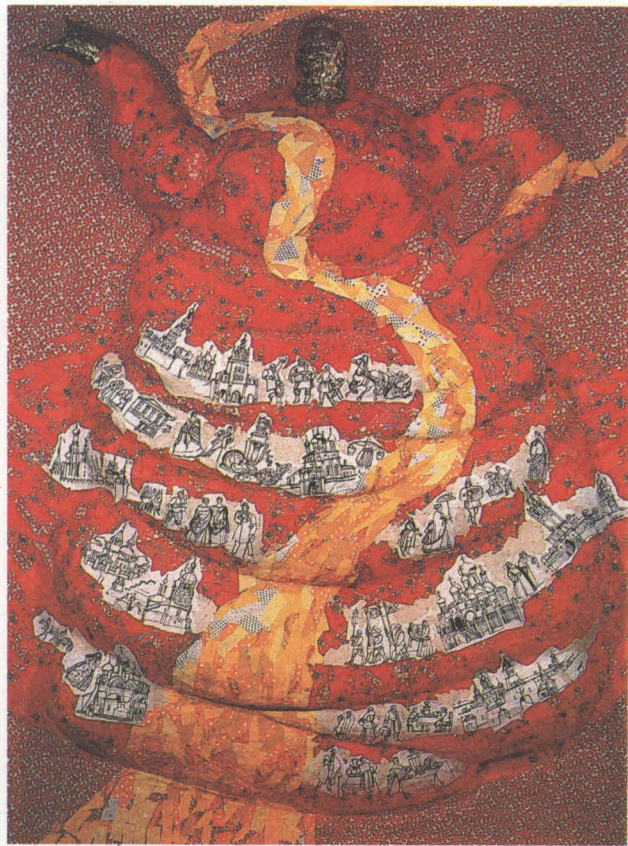
Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1990 г.

Елена МУХАНОВА. Москва.

Из серии «История Государства» на тему произведений Е. Замятина.



Елена Муханова много лет усердно рисовала иллюстрации для нашего журнала и для книг различных советских классиков областного и республиканского масштаба. И надо сказать, это у нее до того хорошо получалось, что издательство «Советский писатель» поручило ей сделать картинки к шикарному сборнику Е. Замятина. И тут Лена нашла себя.

А ведь к этому времени она уже баювалась чистым искусством. Так что, в конце концов, из иллюстраций к Замятину и большого опыта в кройке, шитье, а также лепке пирогов получились композиции, которые я бы сравнил с «Расеей» плохого известного на родине знаменитого русского художника Бориса Григорьева. И теперь Лениной «Советской Расеей» из папье-маше и ситца рукоплещет Париж.



Друг художника
Е. Мухановой

Владимир Сальников



ВНИМАНИЕ — РЕКЛАМА!

КОМИКС
СТУДИЯ



ПРЕДЛАГАЕМ
разместить вашу рекламу на страницах
первых советских сборников-комиксов;

ГАРАНТИРУЕМ, что информация о вашей деятельности
запомнится на всю жизнь, если она находится
в одном переплете с веселыми или жуткими,
детективными или фантастическими, детскими или
взрослыми, а в общем, совершенно невероятными
историями в картинках, рассказанными нашими художниками;

ОБРАЩАЙТЕСЬ
по телефону 135-45-22
или по адресу: 125422, Москва, а/я № 969.

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
услугами единственной в СССР
комикс-студии «КОМ»!!!

ВНИМАНИЕ — РЕКЛАМА!